



РОССИИ
РОДИ ВОЛНОВА

КОНСТАНТИН
МАСАЛЬСКИЙ

РЕГЕНТСТВО
БИРОНА

Константин Петрович Масальский

Регентство Бирона (Государя Руси Великой)

Книги Константина Масальского, талантливое историческое романиста первой половины XIX в., пользовались неизменным успехом; по свидетельствам современников, их хранил в личной библиотеке А.С. Пушкин. Публикуемые произведения воссоздают два переломных момента начала правления династии Романовых. В романе «Стрельцы» показано драматическое утверждение на троне Петра I, сопровождавшееся интригами сестры — царевны Софьи, боярским заговором, стрелецкими бунтами, церковной смутой. В повести «Регентство Бирона» ярко передан кратковременный, но значимый для русской истории эпизод борьбы за право наследования престола цесаревной Елизаветой, воцарением своим прекратившей десятилетие немецкого засилья.

Содержание

| | |
|-----------------------------|------|
| СТРЕЛЬЦЫ | 0005 |
| #1 | 0005 |
| ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | 0019 |
| ЧАСТЬ ВТОРАЯ | 0128 |
| ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ | 0266 |
| ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ | 0465 |
| РЕГЕНТСТВО БИРОНА | 0527 |
| I | 0527 |
| II | 0532 |
| III | 0537 |
| IV | 0550 |
| V | 0560 |
| VI | 0585 |
| VII | 0612 |
| VIII | 0638 |
| IX | 0667 |
| X | 0691 |
| XI | 0699 |
| XII | 0707 |
| XIII | 0714 |
| XIV | 0725 |
| XV | 0732 |
| XVI | 0742 |

Регентство Бирона

СТРЕЛЬЦЫ

*Должно знать, как искони мятежные
страсти волновали гражданское
общество и какими способами
благотворная власть ума обуздывала
их бурное стремление, чтобы учре-
дить порядок,
согласить выгоды людей и даровать
им
возможное на земле счастье.
Карамзин.*

Действие в сём романе начинается со вступления на престол Петра Великого и продолжается до заключения в монастырь царевны Софии Алексеевны (1682-1689). Время сие представляет ряд событий, принадлежащих, без сомнения, к числу самых занимательных в истории нашего отечества.

Сочинитель хотел в форме романа представить сии события со всею возможною подробностью и верностью, держась не столько

повествовательного, сколько драматического способа изложения. В повествовании, сколько бы оно ни было совершенно, мы слышим рассказ автора, разделяем с ним его мысли и чувства. В драме мы видим самые лица, действовавшие во время события, узнаем характер их и страсти, намерения и желания, добродетели и пороки не из рассказа, а из слов и поступков их. Мы становимся сами свидетелями минувшего, живее желаем успеха добродетельному, сильнее чувствуем отвращение к злодею, яснее усматриваем странности, предрассудки и слабости прошедшего века, сильнее ужасаемся преступлений и удивляемся подвигам, одним словом, сами переносимся в прошедшее и живём с нашими предками. История сделалась бы ещё занимательнее, если б драматический способ изложения был для неё возможен. Но историк может только влагать в уста своих героев такие слова, которые сохранились в летописях или в других исторических актах, хотя часто слова сии принадлежат летописцу, а не герою; должен соображать исторические материалы, часто одни другим противоречащие, и,

освещающая мрак прошедшего светильником исторической критики, говорить читателю: так было или так долженствовало быть. Для него необходим слог повествовательный, коего главные достоинства суть сила и краткость. Чем более расскажет он важных и замечательных происшествий и чем короче будет рассказ его, тем большую он окажет услугу читателю. Представляя картину целых веков и тысячелетий, он по необходимости должен упускать подробности, часто весьма занимательные и любопытные, дабы не быть принуждённым написать вместо одного тома десять. Подробности сии суть сокровища для исторического романиста. В четырёх томах историк опишет четыре века, а романист — четыре года или даже месяца, и никто ему слова не скажет, если только книга его приятна и заманчива. Историк, имеющий цель высшую, а не одно удовольствие читателей, часто обязан описывать события, мало занимательные, но важные по своим последствиям. Романист имеет полное право умолчать об оных и рассказать подробно только то, что может приятно занять читателя. Историк от-

крывает истину в прошедшем, вечные законы, управляющие миром, и созерцает события, как философ, заботясь не столько об удовольствии, сколько о поучении читающих. Исторический романист старается представить прошедшее в заманчивом и привлекательном виде и заботится преимущественно об удовольствии читателей, не выставляя слишком явно философическую или поучительную цель, которая должна быть и в романе. Однако ж романист не должен отступать от истины в происшествиях важных. Выводимые им на сцену исторические лица должны говорить и действовать сообразно с их истинными характерами. Слова и поступки их не должны нисколько противоречить истории. Одежда, нравы, обычаи и обряды, состояние религии, нравственности и умственного образования, дух законодательства должны быть романистом представлены в верной картине, которая не отвлекала бы однако ж внимания от хода происшествий. В происшествиях сих должно действовать преимущественно одно главное лицо. Оно может быть вымышленное или историческое. В последнем случае всего

лучше избирать такое лицо, которого судьба достаточно не объяснена историею, дабы читателю не была наперёд известна развязка романа. В вымыслах, необходимых для завязки и развязки, должно строго соблюдать правдоподобие и дух времени, которое описывается, и стараться все вымышленные происшествия представлять в связи с истинными, как последствия оных, как подробности, дополняющие и объясняющие повествование истории или, по крайней мере, ей не противоречащие. Вот мысли, которые сочинитель имел в виду, принявшись за роман. Справедливы ли они и исполнил ли сочинитель все, самому себе предписанное, — решат критики и просвещённые читатели. Сочинитель слишком далёк от того, чтобы мнения свои считать безошибочными и опыты совершенными. Он искренно будет признателен благонамеренной критике, если она укажет ему ошибки в его мнении об исторических романах и недостатки в его сочинении.

Нравственная цель сего романа состоит в том, чтобы представить в верной картине ужасы мятежей и безначалия, вредные по-

следствия насильственных переворотов в государстве, правосудие Провидения, не оставляющего без наказания виновников возмущений, и достойные подражания примеры преданности церкви, престолу и Отечеству.

Дабы не развлекать внимания читателя при чтении романа так называемыми историческими примечаниями, сочинитель ограничился весьма немногими, которые были необходимы для пояснения некоторых мест и старинных выражений в сей книге, и поместил в конце четвёртой части указание источников, на коих каждая глава основана, не выписывая однако ж ничего из оных и не показывая своих изысканий и соображений. Для критика легко будет по сим указаниям решить: с достаточным ли старанием и успехом сочинитель употреблял исторические материалы. Но дабы читатели прежде сего решения могли хотя несколько удостовериться, что он не жалел труда и не упускал из вида даже мелочей, достаточно будет привести несколько примеров.

«Деяний Петра Великого» в I части на странице 158[1] сказано, что в первый бунт

стрельцов, начавшийся 15 мая 1682 года и продолжавшийся три дня, убит был в числе прочих бояр князь Михаил Алегукович Черкасский. Сумароков в Описании означенного бунта пишет на странице 31, что князь сей защищал от стрельцов боярина Матвеева, но о смерти его ничего не говорит. А «Древней Российской Вивлиофики» в части VII на страницах 481 и 482 сказано, что 8 июля 1682 года участвовал князь в церковном ходе из Успенского собора к церкви Казанской Божией Матери и сопровождал 13 июля царей Иоанна и Петра Алексеевичей в Троицко-Сергиевский монастырь. Из этого видно, что показание в «Деяниях Петра Великого» о смерти князя неосновательно и что он, вероятно, был только легко ранен: ибо менее, нежели через два месяца после бунта участвовал уже в церковном ходе.

Сумароков в Описании бунта на странице 22, исчисляя заговорщиков, способствовавших боярину Милославскому к произведению мятежа, называет между прочим Ивана и Петра Андреевичей Толстых, не означая звания их. «В Деяниях знаменитых полковод-

цев и министров, служивших в царствование Петра Великого», во II части на странице 61 сказано, что Пётр Толстой служил стольником при царе Феодоре Алексеевиче, а потом комнатным стольником при царе Иоанне Алексеевиче. Так как заговор Милославского произведён в действие после смерти Феодора и до возведения на престол Иоанна, то и видно из сего, что Пётр Толстой был в то время стольником. Сверх того «Древней Российской Вивлиофики» в VII части на странице 397 в списках лиц, которые дневали и ночевали в церкви Архангела Михаила при гробнице царя Феодора Алексеевича, показаны в числе стольников Иван и Пётр Андреевичи Толстые.

«Древней Российской Вивлиофики» в VII части на странице 386 видно, что 28 апреля в 5 часу дня начался обряд погребения царя Феодора Алексеевича, скончавшегося 27 апреля 1682 года. По свидетельству Маржерета (с. 24), Кемпфера (с. 361) и других иностранцев, писавших о России, предки наши погребали мёртвых до истечения 24 часов после смерти, не исключая из сего правила и государей. По-

сему можно было полагать, что царь Феодор Алексеевич умер 27 апреля, вскоре после 5 часа дня[2]. Но в томе III «Дополнения к деяниям Петра Великого» на странице 197 напечатана надпись, начертанная на образе, поставленном у гробницы Феодора.

Из сей надписи видно, что он умер в 13 часу дня в 1-й четверг». В Объявлении же, напечатанном в «Полном Собрании Законов Российской Империи», в томе II на странице 384 сказано, что царь скончался в 12 часу дня[3]. Сочинитель предпочёл последовать сказанному в вышеозначенной надписи.

В XIV части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 109 помещено в стихах царю Феодору Алексеевичу надгробное слово, из коего видно, что он умер в четверток. Посему можно было узнать, что 14 мая, день, назначенный заговорщиками для бунта, был понедельник. Таким образом можно было рассчитать, где было сие в романе нужно, какие дни были в известные числа, замечательные по каким-нибудь событиям.

В VII части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 375 и следующих помеще-

ны два различных известия о вступлении Петра I на престол. Сочинитель сей статьи говорит: «Читателю благоразумному оставляется из обеих сих известий выбирать то, что им вернее, или оба согласить, сколько обстоятельства то дозволят». Сам же он ничего не решает. Известия сии содержатся в записках Разрядного и Посольского архивов. В записках первого сказано, что по смерти царя Феодора Алексеевича патриарх и Государственная Дума совещались о наследовании престола и положили избрать царя общим согласием людей всех чинов Московского государства; что избран был царём Петер Алексеевич; что Дума согласилась с сим избранием и патриарх благословил Петра на царство. В записках же Посольского архива не упоминается ничего о сём избрании, а сказано, что царевич Иоанн уступил престол брату потому, что у него здравствует его мать, царица Наталья Кирилловна; и что по просьбе духовенства, Думы и народа Пётр Алексеевич принял царский венец. Голиков на странице 151 «Деяний Петра Великого», в I части, старается согласить сии записки, полагая, что после отрече-

ния Иоанна Алексеевича от престола патриарх и бояре из осторожности рассудили предоставить избрание царя на волю всех чинов и народа. Галем в *Leben Peters des Grossen*, в I части, на стр. 31 и 32 последовал запискам Разрядного архива, а на странице 281, приводя оба известия, замечает странность причины, побудившей царевича Иоанна уступить престол брату, и сомневается в отречении его. Вероятно, говорит он, слабый царевич сам выдумал сию причину для прикрытия настоящей. А Бергман, в сочинении своём *Peter der Grosse als Mensch und Regent*, в I части, на странице 106, заметив также противоречие в помянутых записках двух архивов, пишет, что царевич Иоанн из вопроса патриарха «кому из них престол наследовать?» заметил желание предпочесть ему младшего брата и решился добровольно уступить ему корону; ибо (сказал он) родительница его Наталья Кирилловна, жива; и что патриарх объявил о сём отречении царевича народу, который воскликнул: «Да будет царём нашим царевич Пётр Алексеевич!». Далее, говорит Бергман, следуя Голикову, что все присягали царю Пет-

ру 10 мая 1682 года. Но из объявления (Манифеста) напечатанного во II томе «Полного Собрания Законов Российской Империи» на странице 384, видно, что все, сказанное в записках Разрядного архива, справедливо; что Пётр был избран народом и что все присягали ему 27 апреля (а не 10 мая), не исключая и стрельцов, о которых Сумароков пишет, что они не признали общенародного избрания и не присягали Петру. Записки Разрядного архива очевидно заимствованы из означенного Объявления, изданного 27 апреля, а записки Посольского согласны с актом, изданным 26 мая 1682 года после переворота, произведённого царевною Софиею. В акте сём объявлено о совокупном вступлении на престол Иоанна и Петра и о поручении ей управления государством. (См. II том «Полного Собрания Законов Российской Империи», стр. 398). После сего понятно, почему в сём акте умолчано об избрании Петра на царство и о присяге стрельцов; почему причиною уступки престола Иоанном брату выставлено только то, что мать Петра, царица Наталья Кирилловна, здравствует, и почему, наконец, не сходны

официальные записки двух архивов.

Таким образом сочинителю легко было бы увеличить историческими примечаниями вес своего сочинения; но он боялся, чтобы этот вес не подействовал на одни весы почта и чтобы сочинение его не сделалось вместе с тем легче на весах критики, ибо она могла бы укорить автора за нанесение читателям скуки множеством примечаний, которые послужили бы только к тому, чтобы показать труды его в изыскании и соображении материалов.

Места в романе, напечатанные косыми буквами, заключают в себе выписки, без всякой перемены слога, из исторических источников или для показания, как у нас в описанное в романе время выражались и писали, или для приведения подлинных слов и письменных актов, почему-нибудь любопытных и замечательных.

Сон, описанный в I части романа, вымышлен. Сочинитель в сём случае воспользовался правом романиста, не обязанного все без исключения основывать на исторических источниках. Может быть, станут его осуждать

за несоблюдение правдоподобия; ибо многие считают, что сны не могут предсказывать будущего. Но сочинитель оправдывается свидетельством новейших германских психологов, которых нельзя укорить в суеверии или в неосновательности. Основываясь на опытах, они пишут, что деятельность души во время сна совершенно отличается от её деятельности во время бодрствования, подлежа чудесным, непостижимым законам, и что сны, хотя и редко, могут предсказывать будущее, равно как и возобновлять в душе такие представления, которые у человека в состоянии бодрствования давно уже изгладились из памяти.

Длинное предисловие, вероятно, навело уже скуку на почтенных читателей. Сочинитель почтёт себя счастливым и вознаграждённым за труды, если роман его успеет произвести на них противное действие.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

*Где стол был яств, там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались лики,
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит,
Глядит на всех, — и на царей,
Кому в державу тесны миры,
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и серебре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И точит лезвие косы.
Державин.*

Лучи заходившего солнца играли на золотых главах церквей кремлёвских. Улицы и площади пустели. На лице каждого прохожего можно было заметить задумчивость, уныние и беспокойство.

— Прогневали мы, грешные, Господа Бога! — сказал купец Гостиной сотни Лаптев[4], подходя к дому своему с приятелем, пятиде-

сятником Сухаревского стрелецкого полка Борисовым. — Царь, говорят, очень плох! Уж изволил приобщиться и собороваться. Того и жди, что... да нет! И выговорить страшно!

— Бог милостив, Андрей Матвеевич! — сказал пятидесятник. — К чему наперёд унывать и печалиться. Авось царь и выздоровеет.

— Дай Господи! да куда же ты торопишься, Иван Борисович. Шли мы далеко, устали. Неужто не зайдёшь ко мне отдохнуть? Жена бы поднесла вишнёвки. Не упрямясь же, потешь приятеля. Этаким неговорчивый! Слово подъячий. Судного приказа!

С этим словом купец, схватив одною рукою пятидесятника за рукав, другою взялся за кольцо и застучал в калитку. На дворе раздался лай собаки, и через минуту приказчик Лаптева, сбежав, поспешно с лестницы, отворил калитку.

— Ванюха! Беги в светлицу к хозяйке и скажи, чтоб принесла нам фляжку вишнёвки да что-нибудь для закуски. Слышь ты, мигом! Его милости не время дожидаться.

Вслед за побежавшим приказчиком хозяин повёл гостя на лестницу. Потом через сте-

кольчатые стены и тёмный чулан, где лежало несколько груд выделанной кожи и сафьяна, вошли они в чистую горницу. Два небольшие окна её были обращены на Язу. В одном углу горела серебряная лампада перед образами старинной живописи, в богатых окладах. Другой угол занимала пёстрая изразцовая печь с лежанкой. Подле дверей, в шкафе со стёклами, блестели серебряные ковши и чарки, оловянные кружки и другая посуда. Перед одним из окон стоял большой дубовый стол, накрытый чистою скатертью, и придвинутая к нему скамейка, покрытая пёстрым ковром с красною бахромою. В этом состояли все украшения комнаты. Помолясь образам и посадив гостя к столу, хозяин, потирая руки, в молчании ожидал вишнёвки. Наконец дверь отворилась. Приказчик поклонился низко гостю и, поставив перед хозяином пирог на оловянном блюде и фляжку с двумя серебряными чарками, вышел.

— Милости просим выкушать! — сказал Лаптев, налив чарку.

— А ты-то что же, Андрей Матвеевич? Разве я один пить стану?

— И себя не обнесём! — отвечал хозяин, наливая другую чарку. — Ох, Иван Борисович! — продолжал он, вздохнув. — Сердце у меня замирает! Что-то будет с нашими головками, как батюшки-царя у нас не станет!

— Опять ты загоревал, Андрей Матвеевич. Что будет, то будет! Что унывай, то хуже! Ну, если б даже — от чего сохрани Господи! — и скончался царь; святое место не будет пусто! Взойдёт на престол наследник.

— Вот то-то и горе, Иван Борисович, что наследников-то у нас двое: царевич Иван Алексеевич да царевич Пётр Алексеевич. Знакомый мне из Холопьяго приказа подьячий вчера у меня ужинал. Человек нужный. Я его, ты знаешь, угостил. Он, Бог с ним, выкушал целую фляжку настойки да и поразговорился о разных важных делах. Сначала мне любо было его слушать, а напоследки таково стало страшно, что меня дрожь проняла. Я было его унимать, а он пуще задорится. Так настрадал, проклятый, что я целую ночь глаз не смыкал!

— Да что ж он тебе говорил такое?

— Говорил-то он мне много! Всего и не

вспомнишь! — отвечал Лаптев, понизив голос и поглядывая на дверь с некоторым беспокойством, желая удостовериться, плотно ли она затворена. — Да ты, Иван Борисович, я чай, сам всё знаешь!

— Ничего я не знаю. Уж если заговорил, так договаривай. Ведь из избы сору не вынесу. Неужто меня опасаясь?

— Чего тебя опасаться, Иван Борисович! Ведь ты не сыщик Тайного приказа, прости Господи, а мой старинный приятель и кум. Выпьем-ка ещё по чарке, так авось и порасхрабрюсь. Твоя милость и без чарки нетрусливого десятка, а я так нет! Мы люди робкие, смиренные! Пуганая ворона и куста боится. За твоё здоровье, друг любезный!

Осушив чарку, Лаптев продолжал: — Ну так изволишь видеть, куманёк. Подьячий, — типун бы ему на язык! — говорил вот что. Царь-де очень плох, того и смотри, что Богу душу отдаст. — Дай Господи ему царство небесное! Тьфу пропасть! Многие лета! — А коли он скончается, то будет худо, очень худо! Я, слышь ты, рассказывать-то не мастер. Покойный крестный батюка часто за это меня

бранивал и твердил: — Не умеешь говорить, так больше кланяйся! — Да не в этом дело! Что ни говори, а уж беды нам не миновать.

— Да растолкуй мне, Андрей Матвеевич, какой беды?

— То-то и беда, что я рассказывать не мастер. Подьячий, — провал его возьми! — сказывал, что, если царь, слышь ты, скончается, так и пойдёт потеха! Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, когда был ещё жив, хотел царевича Петра назначить по себе наследником, да царица Софья Алексеевна помешала. Всем известно, что Иван Алексеевич слабенеет здоровьем. Вот, слышь ты, нынешний царь Феодор Алексеевич также объявил желание и написал грамоту, чтобы престол достался после него. Петру Алексеевичу. А Софья-то Алексеевна опять помешала. Подьячий болтал, что ей самой хочется царствовать и что она прочит на престол Ивана Алексеевича. Царица-де думает: он будет хворать, а я делами управлять. Многие бояре ей помогают. Не в обиду твоей милости будь сказано, они подговаривают и стрельцов. Уж быть потехе!

— Ты, кажется, Андрей Матвеевич, человек разумный, а веришь бредням пьяного подьячего. Желал бы я знать: кто бы меня мог подговорить! Сам сатана не прельстит твоего кума, хоть золотые горы сули!

— Дай Господи, как бы все стрельцы так думали; да ведь не все похожи на твою милость. В семье не без урода! Притом, если какой-нибудь боярин втай станет подговаривать, давать рублики; уговорит, умаслит, скажет, что царь приказал. Долго ли, куманёк, вдаться в обман.

— Нет, Андрей Матвеевич! Трудно обмануть того, кто Бога помнит, царя почитает и ближнего любит, как следует православному христианину.

— Разумные речи, Иван Борисович, разумные речи! И Писание всё это повелевает. Подьячий меня напугал, а ты утешил. Выпьем же за здоровье нашего батюшки-царя Феодора Алексеевича!

С этими словами Лаптев наполнил снова чарки вишнёвкой. Приятели встали, обнялись, поцеловались и лишь только хотели взяться за чарки, как вдруг раздался в Кремле

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН.

— Что это значит? — сказал Борисов. — Кажется, набат?

— Нет, куманёк. Что-то больно заунывно звонят, да и всё в большие колокола. Ох, Иван Борисович! Что-нибудь да неладно! Посмотри-ка, посмотри, как народ бежит по улице.

Лаптев открыл окно и, увидев знакомого купца, закричал: — Иван Иванович! Иван Иванович! Куда ты бежишь? Аль на пожар?

— Худо, Андрей Матвеевич! Очень худо! — отвечал купец, остановись и запыхавшись. — Меня едва ноги несут.

— Да скажи, не мучь! Что наделалось?

— Нашего батюшки-царя не стало! — отвечал купец и побежал далее.

Как громом поражённый, Лаптев отскочил от окна, сплеснув руками. Стрелец, изменяясь в лице, перекрестился. Долго оба не прерывали молчания. Наконец, Лаптев, после нескольких земных поклонов пред образом Спасителя, закрыл лицо руками, и слёзы потекли по бледным щекам его. «Упокой, Господи, душу его во царствии небесном!» — сказал он. Борисов, крепко обняв хозяина, в

мрачной задумчивости вышел из его дома, поспешая явиться в полк, а Лаптев взял под образами лежавший свиток бумаги, на котором написаны были святцы, и дрожащею рукою отметил на стороне подле имени св. Симеона: «Лета 190[5] Апреля в 27 день, в четверток, в 13 часу дня, преставился православный государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич».

II

*Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.
Ломоносов.*

Часы на Фроловской башне пробили 14-й час дня. Во дворце собралась Тайная Государственная Дума. В правой стороне обширной залы со сводами, поддерживаемыми по середине колонною, между двух окошек стоял сияющий золотом престол с залощёнными столбиками по сторонам и с остроконечною крышею. Над нею блестел двуглавый орёл.

Под крышею, на задней стенке престола видна была икона Божией Матери, над царскими креслами. С правой стороны, на невысокой серебряной пирамиде, накрытой золотою тканью, лежала осыпанная драгоценными камнями держава. По всему полу залы пестрели персидские ковры, а около стен возвышались, четырьмя ступенями от пола, обитые красным сукном скамьи. Голубые штофные занавесы, висевшие на окнах, препятствовали лучам солнца проникать в залу. Стены были украшены иконами, древними картинами и серебряными подсвечниками, в равном расстоянии один от другого прикреплёнными. Горевшие в них восковые свечи разливали по зале тусклый свет и освещали сидевших на скамьях патриарха, митрополитов[6], архиепископов, бояр, окольных и думных дворян. Думные дьяки стояли в некотором отдалении. В зале царствовала глубокая тишина, и взоры всех устремлены были на патриарха Иоакима. Наконец он встал и, благословив собрание, сказал:

— По воле Бога Вышнего, сотворшаго небо и землю, в Его же Деснице судьба всех царств

земных и народов, православный государь наш, царь и великий князь Феодор Алексеевич прешёл из сея временная жизни в вечную. Да совершается святая воля Его и да будет благословенно имя Его. В сокрушении сердца вознесём мольбы о упокоении души преставльшагося царя и о даровании сиротствующему граду сему и всей России царя нового. Благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу подобает вступить на престол прародительский; но он изрёк волю свою нам, зовущим его на царство. Он вручает державу брату своему, благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Сего ради, по воле благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны, мерность наша[7] призывает собрание сие: да помолимся Господу Богу, направляющему сердца праведных ко благу, и да изберём царя и государя всея России.

В продолжение речи, каждый раз, когда патриарх произносил имя Божие, присутствующие, снимая свои высокие собольи и чёрные лисьи шапки, крестились. Когда патриарх сел на место, встал боярин Милославский и сказал:

— Не нам, рабам и верным слугам царским, решать: кому из царевичей престол наследовать. Искони велось, чтобы старший сын царя был наследником престола. Какое имеем мы право мимо старшего брата звать на царство младшего? Царевичу Иоанну следует принять державу.

— Разве ты не слыхал, Иван Михайлович, что говорил святейший патриарх? — возразил брат царицы, боярин Нарышкин. — Разве можно принудить царевича Иоанна вступить на престол, когда он того не хочет?

— Так, Иван Кириллович! — сказал Милославский. — Принуждать нельзя, а просить можно. Может быть, он и переменит своё намерение.

— Царевича уже просили, он отказался, так в другой раз просить непригоже! — возразил Нарышкин.

— Полно, так ли, Иван Кириллович? Хоть здесь, в собрании, и не следовало бы говорить, какие по Москве слухи носят, — однако ж и скрыть грешно. Многие думают, что царевича Иоанна принудили отказаться от престола.

— Да кто ж бы его мог принудить? — спросил начальник Стрелецкого приказа, князь Михаил Юрьевич Долгорукой.

— Почему мне знать? Я этому и сам не верю, а говорю только, что слухи носятя!

— Не всякому слуху верь, Иван Михайлович! — продолжал Долгорукой. — Можно спросить самого царевича. Стыдно тогда тебе будет, когда все увидят, что ты напрасно наводишь на ближнего подозрение. Я вижу, на кого ты метишь.

— Неужто ты думаешь, что я говорю о царице Наталье Кирилловне? Сохрани меня, Господи! Царица так беспристрастна и справедлива, что никогда не предпочтёт даже родного сына пасынку.

Последние слова Милославский произнёс с иронической улыбкой, которая явно открывала его настоящие мысли. Бояре разгорячились. Начался между ними жаркий спор, в котором постепенно и всё собрание приняло участие. Наконец Дума решила: *«Быть Избранию на царство общим согласием всех чинов Московского государства людей»*. Дьяки записали решение Думы. Между тем на площади

перед дворцом собрались стольники, стряпчие, московские дворяне, дьяки, жильцы, городовые дворяне, дети боярские, гости, купцы и других званий люди[8]. Стрельцы, предводимые своими полковниками, явились на площади и построились в ряды. Некоторые полки были в тёмно-зелёных, другие в светло-зелёных кафтанах, застёгнутых на груди золотыми тесьмами. Каждый был вооружён саблею, ружьём и блестящею секирой, имевшею вид полумесяца. Стрельцы воткнули перед собою секиры в землю и подняли ружья на плечо. Над рядами их развевалось множество знамён белых, красных и чёрных, с изображением Страшного Суда, Архангела Михаила и других предметов, заимствованных из священной истории. На некоторых видны были жёлтые и красные львы. Ко дворцу примыкал Сухаревский полк; на крае правого крыла стоял пятидесятник Борисов.

Князь Долгорукой, выйдя из дворца, сел на белого персидского коня, на котором блистал шитый золотом чепрак из алого бархата. Объехав ряды стрельцов, он приказал стоять вольно. Полковники, подполковники, пятисо-

тенные, сотники и пятидесятники вложили сабли в ножны, а стрельцы составили ружья в пирамиды и, не сходя с мест своих, начали разговаривать между собою и с толпящимся на площади народом.

— Вот и я здесь, Иван Борисович! — сказал купец Лаптев, увидев Борисова и подойдя к нему. — Хотел было остаться дома: сынишка маленький очень что-то прихворнул. Да сердце не утерпело! Хочется проститься с батюшкой-царём. Мне сказали, что всех пускать будут.

— Да, всех. Царица Марфа Матвеевич приказала, Я думаю, скоро пустят. Теперь патриарх служит панихиду. Служба уж довольно давно началась. Завтра в пятом часу дня назначено погребение в Соборной Церкви Архангела Божия Михаила.

— Дай, Господи, усопшему царство небесное. Добрый и милостивый был царь!... Чай, плачет царица?

— Плачет, что река льётся! Легко ли, Андрей Матвеевич, через два месяца после венца овдоветь!

— Утешь её, Господи, и помилуй нас, греш-

ных! А кто наследник-то по царе?

— Да Бог весть. Говорят разно.

— Хорошо было бы, как бы Пётр Алексеевич! Недавно видел я обоих царевичей в селе Коломенском, на соколиной охоте. Старший-то такой бледный и задумчивый. Глазки всё в землю потуплять изволит. А младший — настоящий сокол! На обоих я вдоволь насмотрелся. Я, слышь ты, узнал, что в Коломенском будет соколиная охота, встал до заутрени и поехал с приятелями в село, к знакомому подсокольнику. Он сказал мне, что охота будет на поле, неподалёку от Коломенского, подле берёзовой рощи. Мы туда! Вошли в рощу, и лишь только принялись за пирог, который я взял на дорогу, как вдруг затрубили в рога и послышался конский топот. Мы все бегом на край рощи и влезли на высокие берёзы. Ты ведь знаешь, что никому не велено смотреть на соколиную охоту. Царевичи остановились неподалёку от берёзы, на которой я сидел. Подсокольничие пустили журавля. Длинноногий полетел! Выше, выше, выше! Чуть из глаз не ушёл. Тогда сокольничий спустил кречета. Взвился словно стрела! Мигом нагнал

журавля; начал над ним кружиться, кружиться и вдруг сверху как налетит на него да как ударит! Ах, ты, Господи! Только перья полетели. Потом ещё, ещё! Так и бьёт! Длинноногий ринулся вниз, словно камень. Тотчас подскочил к нему сокольничий, поднял журавля и затрубил в серебряный рог. Кречет спустился и сел на рукавицу сокольничего, а тот с добычею к царевичам. Потом спускали ещё несколько кречетов. Напоследок оба царевича поехали. Гляжу: прямо к берёзе, на которой я сидел. Я свету Божьего невзвидел! Притаился на суку, словно тетерев от охотника. Царевичи подъехали под самое дерево. Покажи-ка мне «Урядник», сказал Пётр Алексеевич сокольничему. Тот вынул книгу из алой бархатной сумки, висевшей у него сбоку на золотой тесьме, и подал царевичу. У меня, куманёк, книга-то эта вся переписана. Знакомый подсокольничий меня снабдил. Я её почти всю наизусть знаю. Куда красно написана! Вот, слышь ты, царевич и начал книгу рассматривать, да и засмеялся, а потом, обратись к братцу своему, начал читать вслух из книги «Новопожалованный Начальный принимает

кречета образцовато, красовато, бережно; и держит честно, смело, весело, подправительно, подъявительно, к видению человеческого, и ко красоте кречатьей; и стоит урядно, радостно, уповательно, удивительно». — Из всего «Урядника», сказал Пётр Алексеевич, мне всего лучше нравится приписка покойного батюшки: «Правды же и суда и милостивыя любви и ратнаго строя николи же не позабывайте: делу время, и потехе час». Если Бог привёл бы меня когда-нибудь быть царём, то я из всего «Урядника» оставил бы только приписку батюшки, а всё бы прочее отменил. Царю грешно терять время на соколиную охоту. Лучшая для него потеха; устроить благо своих подданных. — Каковы речи, куманёк? У меня слёзы навернулись! Дай Господи, чтобы Пётр Алексеевич был нашим царём!

— А почему так? — спросил, вслушавшись в последние слова, подошедший к ним человек в кафтане с длинными откидными рукавами, сзади связанными узлом, и в низкой бархатной шапке с меховой опушкой. Это был дворянин Сунбулов[9].

Лаптев смутился и не знал, что отвечать.

Но Борисов, смело глядя в глаза Сунбулову, сказал ему: — А какая статья твоей чести вмешиваться в наш разговор? Мы вольны говорить, что хотим, с приятелем, и никого не просили нас подслушивать. Что ты нам за указчик?

— Потихе, потихе, господин пятидесятник! Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами. Я подам на тебя челобитную в Стрелецкий приказ, так напляшешься!

— Подавай, пожалуй! А теперь советую: отойди подальше. Скажи ещё хоть одно слово, так я с тобой по-стрелецки разделаюсь! Суди меня Бог и государь! — воскликнул Борисов, ударив рукою по своей сабле.

— Слово и дело! — закричал Сунбулов.

— Перестань горланить! Я прикажу связать тебя!

— Меня связать? Да разве ты не видишь, что я дворянин? Слово и дело! Слово и дело!

— Что здесь за шум? — спросил пятисотенный Бурмистров, приблизясь к ссорившимся.

— Да вот, Василий Петрович, этот дворянин пристаёт ко мне и буянит. Кричит слово и дело, ни к пути, ни к делу. Норовит, чтоб ме-

ня с ним взяли в Тайный приказ. Видишь, что выдумал!

— *Бери мушкет! Стройся!* — закричал князь Долгорукой. Стрельцы бросились к ружьям, а Бурмистров и Борисов, оставив Сунбулова, поспешили на места свои. Лаптев между тем давно уже скрылся в толпе.

— *Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси дугой! Клади руку на мушкет!* — закричал Долгорукой, и ряды ружей, возвысясь из-за секир, воткнутых в землю, заблестали в воздухе. На Красном Крыльце явился патриарх Иоаким, предшествуемый священнослужителями со святыми иконами и хоругвями и сопровождаемый всею Государственною Думою. На площади водворилось глубокое молчание. Все сняли шапки, и патриарх начал следующую речь:

— Ведомо всем; что благословенное Богом царство российское, пребывая в непорочной христианской вере, по благодати Спасителя нашего Господа Бога Иисуса Христа, было в державе блаженныя памяти благочестивого великого государя, царя и великого князя Михаила Фёдоровича, всея России самодержца; а

по нём великом государе царский престол наследовал сын его, благочестивый великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец. По преставлении его восприемником был престола сын его, благочестивый и великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич. Ныне изволением и судьбами Божиими он, великий государь, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались братья его государевы благоверные царевичи и великие князья Иоанн Алексеевич и Пётр Алексеевич. Единодушным согласиём и единосердечною мыслию объявите: кому из них государей преемником быть царского скипетра и престола?

И подобно грому раздался со всех сторон крик: «Да будет царём нашим царевич Пётр Алексеевич!»

— Беззаконно обойти старшего царевича! — закричал после всех Сунбулов. — Надлежит быть на престоле Иоанну Алексеевичу!

— *Здравия и многия лета нашему царю-государю Петру Алексеевичу!* — закричали тысячи голосов. Земля, казалось, дрожала от шу-

ма и восклицаний.

Патриарх, обратясь к Государственной Думе, спросил: «Как поступить надлежит?» Все, кроме Милославского и других, немногих приверженцев царевны Софии, отвечали: «Да будет по избранию народа!» Патриарх в сопровождении Думы пошёл во дворец, где находился юный Пётр с матерью его, царицею Натальею Кирилловною, и благословил его на царство. После этого народ целовал со слезами горести холодную руку Феодора, и со слезами восторга державную руку Петра. Закатилось солнце, и граждане, не думая о сне, ещё плакали о царе умершем. Взошло солнце, и вся Москва произнесла уже клятву верности царю новому.

III

*Кто узрит нас? Под ризой ночи
Путями тайны мы пройдем,
И будет пир страстям роскошный.
Глинка.*

Благовест призывал православных к обедне, когда Сухаревского полка пятисотенный

Василий Бурмистров шёл в дом к начальнику Стрелецкого приказа князю Михаилу Юрьевичу Долгорукому. Проходя по берегу Москвы-реки и поравнявшись с одним низеньким домиком, увидел он под окнами сидевшую на скамье старушку, одетую в чёрный сарафан и повязанную платком того же цвета. Она горько плакала. Бурмистров решился подойти к ней и спросить о причине её горести. Долгорыдания мешали ей отвечать на вопрос прохожего. Наконец она, отняв от глаз платок и взглянув на Бурмистрова, на лице которого живыми красками изображалось сострадание, сказала ему:

— На что, батюшка, знать тебе про моё горе? Ты мне де поможешь.

— Почему знать, старушка! Может быть, я и найду средство помочь тебе.

— Мет, кормилец мой! Мне уж недолго осталось жить на свете. Скоро прикроет меня гробовая доска, тогда и горю конец! Ох, боярин, боярин! Будешь ты отвечать перед Богом, что обижаешь меня, бедную.

— Про какого боярина говоришь ты, бабушка?

— Бог ему судья! Я не хочу его осуждать и перед добрыми людьми порочить.

— Будь со мною откровенна: скажи, кто твой обидчик. Авось и помогу тебе. Меня знают многие знаменитые бояре. Я замолвлю за тебя слово перед ними. Самому царю ударю челом.

— Спасибо тебе, кормилец, что за меня, беззащитную» вдову, вступаешься. Бог заплатит тебе! Знаю, что ты мне не поможешь, но так и быть: я всё тебе расскажу. Вон видишь ли там, за крашеным забором, где ворота со львами на верях, большой сад и высокие хоромы? Там живёт сосед мой, боярин Милославский. Мой покойный сожитель Пётр Иванович, по прозванию Смирнов, здешней приходской церкви священник, оставил мне этот домишко с огородом. Он преставился накануне Крещенья незадолго до кончины царя Алексея Михайловича. Вот уж седьмой год, кормилец мой, как я вдовею. Сын мой Андрюша обучается в окодемьи, что в Андреевском монастыре. Не отдала бы я его туда ни за что, как бы не покойник муж завещал. Будущим летом, в день святых мученицы Аграфены-Ку-

пальницы, минет ему осьмнадцать лет; мог бы уж хлеб доставать да меня, старуху, кормить. А то бьёт только баклуши, прости Господи! Только и вижу его в праздники; а в будни всё в монастыре. Учится там какой-то *кредетской* грамоте, *алтынскому* языку и невесть чему! Как бы не помогала мне дочь Наташа, так давно бы я с голоду померла. Она одним годом помоложе брата, а какая разумная, какая добрая! Самоучкой выучилась золотом вышивать. Успеваает и шить, и за хозяйством ходить, а по вечерам читает мне Писание да Жития. И в книжном-то ремесле она, я чай, брату не уступит. В праздник только у нея, моей голубушки, и дела, что с ним за книгой да за грамотой сидеть. Пишет, словно приказный! И брат-то на неё только дивуется. Каково же мне, батюшка, расстаться с такою дочерью!

При этих словах старушка снова горько заплакала, но потом, скрепясь, продолжала:

— Был у меня, батюшка, знакомец, площадной подьячий, Сидор Терентьич Лысков [10]. Он часто навещал меня, ухаживал за мною, старухою, грамотки писал, по прика-

зам за меня хлопотал. Не могла я нахвалиться им. Думала, что он добрый человек, а он-то, злодей, и погубил меня! В прошлом году на моём огородишке всю капусту червь поел, да попущением. Божиим от грозы учинился в домишке пожар. Приехали объезжие с решёточными приказчиками[11], и с ними целая ватага мужиков с рогатинами, топорами и водоливными трубами. Огонь залили и поставили весь дом вверх дном. Иное перепортили, иное растащили. Наташа с испуга захворала. Пришлось хоть по миру идти! Я и сказала о своей несгоде подьячему. Он дня через два принёс мне десять рублей серебряных и сказал, что упросил крестного отца своего, боярина Милославского, помочь мне, бедной, и дать займы без роста и без срока. Принёс с собой писаную грамотку и велел в деньгах расписаться Наташе. Она было хотела грамотку прочитать: не дал, лукавец! Сказал, что она приказных дел не смыслит. Я и велела ей расписаться. А сегодня утром пришли ко мне подьячие из Холопьяго приказа и объявили, что Наташа должна у Милославского служить во дворе и что он завтра пришлёт за нею сво-

их холопов. Я свету Божьего невзвидела! Уж не за долг ли, подумала я, берет боярин к себе Наташу? Побежала к знакомым просить взаймы десяти рублей, чтобы отдать долг боярину. Бегала, бегала, кланялась в ноги: никто не дал! У всех один ответ: самим, бабушка, есть нечего. Не знаю, что и делать! Наташа с утра пошла навестить больную тётку. Я чай, скоро воротится. Ума не приложу: как сказать ей про моё горе и беду неминуемую! Погубила я, окаянная, мою Наташу!

Старуха залилась слезами. Бурмистров, не говоря ни слова, вынул из-под кафтана кожаный кошелёк, отдал вдове и, не дав ей опомниться, поспешными шагами удалился. С берега Москвы-реки, входя в улицу, в которой находился дом Долгорукого, увидел он вдали старуху перед её хижинкой. Она стояла на коленях, с воздетыми руками ко кресту, который по ту сторону реки сиял на главе церкви.

В кошельке было девять клеймённых ефимков[12], пять золотых и несколько серебряных копеек. Немедленно вдова побежала к Милославскому и, заплатив ефимок слуге, упростила его сказать боярину, что она при-

шла к нему для уплаты долга. Но через несколько минут слуга вышел к ней с ответом, что дело об её долге уже кончено и что боярин денег от неё не примет. «Пооди, пооди! — говорил он, выводя плачущую старуху со двора. — Хотя до завтра кланяйся, не пуцу к боярину! Не велено!»

Солнце давно уже закатилось, когда Бурмистров возвращался домой по опустевшим улицам. Пройдя переулком мимо длинного и низкого строения, вышел он на берег Москвы-реки и сел отдохнуть на скамью, стоявшую под окнами небольшого деревянного дома, от которого начинался забор Милославского. Густые облака покрывали небо и умножали вечернюю темноту. В окне, под которым сидел Василий, появился свет, и вскоре кто-то отворил окно, говоря сильным голосом:

— Угораздила же его нелёгкая истопить печь на ночь глядя! Я так угорел, что в глазах зелено. Сядем-ка сюда, к окошку, так угар скорее пройдёт.

— Боярин давно уж спит во всю Ивановскую! — сказал другой голос. — Можно, я чай, и выпить. Да вот этого не попробовать ли,

Миرونыч? Тайком у немца купил. Выкурим по трубке!

— Что это? Табак! Ах, ты, греховодник! Получше нас с тобой крестный сын боярина Сидор Терентьич, да и тому за эту поганую траву чуть было нос не отрезали. Как бы не крестное целованье, так не уцелеть бы его носу. Сидор-то Терентьич, прости Господи, давно продал душу *не нашему!* Поцелует крест во всякой неправде. А ведь мы с тобой православные! Коли поймают нас с табаком, так мы от кнута-то не отцелуемся[13].

— Ну, так выпьем винца.

— Да не корчёмное ли?

— Нет, с Отдаточного Двора[14].

— То-то, смотри. За твоё здравие, Антипыч!

— Допивай скорее; другую налью!

— Нет, будет. Боюсь проспать. Боярин приказал идти за три часа до рассвета с Ванькой да с Федькой за дочерью попадьи Смирновой.

— За какой дочерью?

— Да разве ты ничего не слыхал?

— От кого мне слышать! Расскажи, пожалуйста.

— Вот видишь, дело в чём. Боярин с год на-

зад или побольше, за обедней у Николы в Драчах, подметил молодую девку, слышь ты, красавицу! Я с ним был в церкви. Он и приказал мне проведать: кто эта девка? После обедни пошла она с молодым парнем домой, а я за ними следом. Гляжу: они вошли в избу, знаешь, там, подле нашего сада, а у ворот сидит мужик с рыжей бородой. Я к нему подсел и разговорился. Он мне рассказал, что эта девка — дочь вдовой попадьи Смирновой, а парень — её сын. Я и донёс обо всём боярину. Тут же случился Сидор Терентьич. Да, я давно знаком, молвил он, с этою старухою. Знаком? — спросил боярин. Покойник её муж учил меня грамоте, отвечал Сидор Терентьич. Боярин меня выслал вон, и начали они о чём-то шептаться. Долго шептались. В прошлом году... Смотри! Бороду сжёт! Эх дремлет! Качается, словно язык на Иване Великом! Не любо слушать, так поди спать.

— Нет, рассказывай. Невзначай вздремнулось.

— То-то невзначай. Коли ещё вздремнёшь, так лягу спать, а завтра слова от меня не добьёшься. Налей-ка ещё кружку; в горле пере-

сохло. Ну, так вот видишь: в прошлом году у попадьи невзначай дом загорелся, примером сказать, как твоя борода. Наехали объезжие с решёточными и старуху вконец разорили. А Сидор Терентьич и смекнул делом. Написал служилую кабалу. Я её переписывал. В кабале было сказано: *«Попадья Смирнова с дочерью заняла у боярина Милославского десять рублей на год без росту, а полягут деньги по сроке, то ей, дочери, у государя своего, боярина Милославского, служить за рост по вся дни во дворе; росту она высокого, лицом бела, волосы тёмно-русые, глаза голубые, 16-ти лет»*[15].

— Как так? Я что-то этого в толк не возьму.

— Всё дело в том, что дочь попадьи теперь отдана приказом в холопство нашему боярину. Понимаешь ли?

— Разумею. Сиречь она с нами стала одного поля ягода?

— Нет, брат, погоди! Боярин-то давно на неё зарился. Жениться он на ней не женится, а полубоярыней-то она будет. Понимаешь ли?

— Разумею. Сиречь она с нами, холопами, водиться не станет.

— Экой тетерев! Совсем не то. Ну, да что с

тобой теперь толковать! Сам её завтра увидишь. Боярин, слышь ты, велел привести её к нему в ночь, чтобы шуму и гаму на улице не наделать. Ведь станет плакать да вопить, окаянная. Она теперь в гостях у тётки, да не минует наших рук. Около дома на всю ночь поставлены сторожа с дубинами, да решёточный приказчик в соседней избе укрывается. Не уйдёт голубушка! Дом её тётки неподалёку... Тьфу пропасть! опять ты задремал. Нет, полно. Пора спать. Завтра ведь до петухов надо подняться.

Окно затворилось, и огонь погас. Выслушав весь разговор, Бурмистров встал со скамьи и поспешил возвратиться домой.

IV

*И смотрит вдаль, и ждёт с тоской...
«Приди, приди, спаситель!»
Но даль покрыта чёрной мглой:
Нейдёт, нейдёт спаситель!
Жуковский.*

— **В**ставай, Борисов! — сказал Василий, войдя в свою горницу, освещённую од-

ною лампадою, которая горела перед образом. — Как заспался! Ничего не слышит. Эй, товарищ! — С этими словами он потряс за плечо Борисова, который спал на скамье подле стола, положив под голову свёрнутый опашень[16].

Борисов потянулся, потёр глаза и сел на скамью. — Уж оттуда не вылезет! — пробормотал он.

— Что такое ты говоришь?

— Так и полетел в омут вниз головами!

— Ты бредишь, я вижу. Опомнись скорее да надевай саблю: нам надо идти.

— Идти? Куда идти?... Ах, это ты, Василий Петрович. Куда это запропастился? Я ждал, ждал тебя, да и вздремнул со скуки. Какой мне страшный и чудный сон привиделся!

— После расскажешь, а теперь поскорее пойдём!

— Ночью-то! Да куда нам идти? Домовых, что ли, пугать?

— Не хочешь, так я один пойду. Эй! Гришка!

Вошёл одетый в овчинный полушубок слуга с длиною бородою.

— Беги в первую съезжую избу и позови десятерых из моих молодцов. Скажи, чтоб взяли сабли и ружья с собою! Проворнее! Да вели Федьке заложить вороную в одноколку.

— Куда ты собираешься? — спросил удивлённый Борисов. — Вдруг вздумал ехать, да ещё и в одноколке! Разве ты забыл царский указ?[17]

— Не забыл, да в указе про ночь ничего не сказано, и притом никто меня не увидит. Немец Бауман подарил мне одноколку за два дня до указа, и я ни разу ещё в ней не ездal. Хочется хоть раз прокатиться.

— Ты, верно, шутишь, Василий Петрович!

Василий, в ожидании стрельцов ходя большими шагами взад и вперёд по горнице, рассказал Борисову цель своего ночного похода.

— И я с тобой! Куда ты, туда и я. В огонь и в воду готов! Только смотри, чтоб нам не досталось. С Милославским-то шутить не с своим братом.

— Если трусишь, так останься!

— Не к тому моё слово, Василий Петрович! Мне не своей головы, а твоей жаль. Я люблю тебя, как отца родного. Никогда твою хлеб-

соль не позабуду. Безродного ты приютил меня, словно брата родного, и вывел в люди.

— Ну полно! Что толковать об этом! Лучше расскажи что тебе приснилось? Ты говорил, что видел во сне что-то страшное?

— Да, чудный сон! Он что-нибудь да предвещает недоброе. Снилось мне, что мы с тобой стоим на высокой горе. С одной стороны видим долину, да такую долину, что вот так бы и спрыгнул туда! Рай эдемский! С другой стороны гора как ножом срезана. Крутизна — взглянуть страшно, а внизу такой омут, что дна не видать. Смотрим: летит из долины белая голубка. Она села к тебе на плечо. Вдруг с той стороны, где был виден омут, лезет на гору медведь, а за ним скачут, словно лягушки — наше место свято! — восемь бесов, ни дать ни взять, как на нашем главном знамени, на котором Страшный Суд изображён. Медведь прямо бросился на тебя, повалил на землю и потащил к омуту, а голубка вспорхнула, начала над тобой виться и жалобно заворковала. Ты с медведем барахтаешься. Я было бросился к тебе на подмогу, ан вдруг бесы схватили меня, да и не пускают. Мне так

стало горько, так душно, что и наяву, я чай, легче на петле висеть, а лукавые начали вокруг меня плясать и кричать: — Здравствуй, брат! Знаешь ли ты нас? Ступай к нам в гости! Давай пировать! — Я хотел было сотворить крестное знамение и молитву «Да воскреснет Бог!», но окаянные схватили меня за руку и зажали мне рот. Вдруг из долины бежит на гору лев, ну вот точь-в-точь такой, как на картинке, которую подарил тебе начальник наш, князь Михайло Юрьевич. Лев напал на медведя; но бесы завыли, как псы перед пожаром, кинулись на льва и бросили его в омут. Там кто-то громко захохотал совсем не человеческим голосом. Меня подрал мороз по коже. Вдруг в небе появилось над долиной белое облако, а из него лучи во все стороны так и сияют! Солнышко от них побледнело и стало похоже на серебряную тарелку, которую только что принесли в горницу из холодного погреба. Под белым облаком что-то зачернелось. Ближе, ближе! Глядим: летит орёл о двух головах. Над самой верхушкой горы остановился и начал спускаться. Крылья такие, что целый полк прикроет! Голубка села

опять к тебе на плечо, а медведь и бесы сбежались в кучку и смотрят на орла. И вдруг обернулись они в какого-то страшного зверя с семью головами. Орёл схватил его в когти, взвился и опустил в омут. В это самое время ты меня разбудил.

— Ну, а что сделалось с голубкой? — спросил Василий.

— Не знаю. Как бы ты не разбудил меня, так я бы посмотрел.

На лестнице слышался шум шагов. Двери отворились, и вошли десять вооружённых стрельцов.

— Ребята! — сказал Василий. — Есть у меня просьба до вас. Один боярин обманом закабалил бедную сироту, единственную дочь у старухи-матери. В нынешнюю ночь хочет он взять её силой к себе во двор. Надобно её отстоять. Каждому из вас будет по десяти серебряных копеек за работу.

— Благодарствуем твоей милости! — закричали стрельцы. — Рады тебе служить всегда верой и правдой!

— Только смотрите, ребята! Никому ни полслова.

— Не опасайся, Василий Петрович! И пыткой у нас слова не вымучат!

— Я полагаюсь на вас. За мной, ребята!

Василий, сойдя с лестницы, сел с Борисовым в одноколку и выехал со двора на улицу. — Если, кто меня спросит, Гришка, — сказал он слуге, — то говори, что меня потребовал к себе князь Долгорукой.

Он пошевелил вожжами и поехал шагом, для того, чтобы шедшие за ним стрельцы не отстали, В некотором расстоянии от дома Смирновой он остановился и вышел из одноколки, приказав Борису и стрельцам дожидаться его на этом месте. Подойдя к воротам, он постучался в калитку. Залаяла на дворе собака; но калитка не отпирается. Между тем при свете месяца заметил он, что из ворот дома Милославского вышли три человека в татарских полукафтанных и шапках. У каждого был за спиною колчан со стрелами, а в руке большой лук[18]. В нетерпении начал он стучать в калитку ножнами сабли.

— Кто там? — раздался на дворе, грубый голос.

— Отпирай.

— Не отопру. Скажи прежде, наш или не наш?

— Отпирай, говорят! Не то калитку вышибу!

— А я тебя дубиной по лбу, да с цепи собаку спущу. Много ли вас? Погодите! Вот ужо вас объезжие! Они сейчас только проехали и скоро вернутся! Вздумали разбойничать на Москве-реке! Шли бы в глухой переулок!

— Дурачина! Какой я разбойник! Я знакомец вдовы Смирновой. Мне до неё крайняя нужда.

— Не морочь, брат! Что за нужда ночью до старухи? Убирайся подобру-поздорову, покамест объезжие не наехали. Худо будет! Да и хозяйки нет дома.

— Скажи по крайней мере, где она?

— Не скажу-ста. Да чу! Никак объезжие едут. Улепётывай, пока цел!

В самом деле раздался вдали конский топот. Легко вообразить себе положение Бурмистрова. Не зная, где живёт тётка Натальи, он хотел спросить о том у вдовы Смирновой и сказать ей о своём намерении. А теперь он не знал, на что решиться. Выломить калитку и

принудить дворника сказать, где хозяйка или дочь её — невозможно; шум мог разбудить людей в доме Милославского и всё дело испортить. Притом угрожало приближение объезжих. Гнаться за вышедшими из ворот людьми Милославского — также невозможно; они давно уже переехали Москву-реку и оставили лодку у другого берега. Бежать к мосту — слишком далеко; потеряешь много времени, и притом как попасть на след этих людей? Оставалось возвратиться домой и успокоить себя тем, что употреблены были все средства для исполнения доброго, но невозможного намерения. Василий почти уже решился на последнее и пошёл поспешно к своей одноколке; но какой-то внутренний, тайный голос твердил ему: действуй! Лицо его пылало от сильного душевного волнения, и он дивился: почему он с таким усердием старается защитить от утеснителя девушку, никогда им не виданную и известную ему по одним только рассказам. Он сел в одноколку.

— Куда ты теперь? — спросил Борисов.

— Сам не знаю куда! — отвечал Василий. — Поеду, куда глаза глядят, а ты с наши-

ми молодцами перейди через мост да подожди меня у лодки, вон видишь, что стоит там, у того берега.

— Ладно! Однако ж не забудь, что скоро светать начнёт. А нам, я чаю, надо воротиться домой до рассвета. А то народ пойдёт по улицам. Тогда на берегу стоять будет неловко. Если спросят нас: что мы тут делаем? Не сказать же, что лодку или реку стережём. Для лодки-то одиннадцати сторожей много, а Москву-реку никто не украдёт.

— Разумеется, что должно возвратиться домой до рассвета. Ступай же на тот берег, а я поеду. Прощай!

Василий скоро скрылся из вида. Борисов и стрельцы переправились через мост, дошли до указанной лодки и сели на берегу. Прошёл час: нет Бурмистрова. Проходит другой: всё нет, а на безоблачном востоке уже появилась заря.

— Что это вы, добрые молодцы, тут делаете? — спросил вооружённый рогатиною решёточный приказчик, проходивший дозором по берегу Москвы-реки.

— Звёзды считаем, дядя! — отвечал Бори-

СОВ.

— Дело! А много ли насчитали?

— Тьмы тем, да и счёт потеряли, и потому собираемся идти домой.

— Дело! А какого полка и чина твоя милость и как прозвание?

— Я небывалого полка пятидесятник Архип Неотвечалов.

— Дело! А не с лихим ли каким умыслом пришли вы сюда, добрые молодцы — не в обиду вам буди сказано — и по чьему приказу?

— Не с лихим, а с добрым. А по чьему приказу — не скажу, да и сказать нельзя. Накрепко заказано. Э! да уж солнышко взошло. Пойдёмте, ребята, домой.

— Дело! А не пойти ли мне за вами следом?

— Пойдёшь, так в реку столкнём.

— Дело! Ступайте домой, добрые молодцы. Нет, чтобы вы на объезжих натолкнулись. С ними народу-то много, так с вами управятся. Шутками не отбояритесь! А мне одному, вестимо, с такою гурьбой не сладить.

— Дело! — сказал Борисов, передразнивая

приказчика, и пошёл скорым шагом со стрельцами по берегу Москвы-реки. Солнце уже высоко поднялось, когда они вошли в свою съезжую избу.

V

Наружность иногда обманчива бывает.

Дмитриев.

— Иди попроворнее, красная девица! — говорил дворецкий Милославского, Мironыч, Наталье, ведя её за руку по улице, к берегу Москвы-реки. — Нам ещё осталось пройти с полверсты. Боярин приказал привести тебя до рассвета, а гляди-ка, уж солнышко взошло. Ванька! Возьми её за другую руку, так ей полегче идти будет. Видишь, больно устала. А ты, Федька, ступай вперёд да посмотри, чтоб кто нашу лодку не увёл. Теперь уж скоро народ пойдёт по улицам.

Федька побежал вперёд.

— Оставь меня! — сказала Наталья другому слуге, который хотел взять её за руку. — Я могу ещё идти и без твоей помощи.

— Видишь, какая спесь напала! Не хочет и руки дать нашему брату, холопу. Не бойсь, матушка! Не замараю твоей белой ручки! А если бы и замарал, так завтра пошлют белье стирать или полы мыть, так руки-то вымоешь.

— Не ври пустого, Ванька! — закричал Мироныч. — Наталья будет ключница, а не прачка.

В это время послышался вдали голос плачущей женщины. Дувший с той стороны ветер (приносил невнятные слова, из которых можно было только расслышать: «Голубушка ты моя! Наташа ты моя!») Наталья оглянулась и увидела бежавшую за нею мать. Из дома тётки Наталья ушла тихонько с присланными за нею от Милославского людьми; она не хотела прервать сна своей престарелой матери, проведенной всю ночь в слезах и в утомлении уснувшей перед самым рассветом. Бедная девушка хотела к ней броситься, но, удержанная Миронычем, лишилась чувств. В то же время и мать, потеряв последние силы, упала в изнеможении на землю, далеко не добежав до дочери.

— Провал бы взял эту старую ведьму! — проворчал Мироныч, стараясь поднять Наталью с земли. — Ах, Господи! Да она совсем не дышит! Уж не умерла ли? Коли вместо живой принесём к боярину покойницу, да он нас со света стонит. Ахти, беда какая!

— Потащим её скорее, Мироныч! — сказал Ванька. — Вон кто-то едет в одноколке. Пожалуй, подумает, что мы её ухостили!

— Что вы делаете тут, бездельники? — закричал Бурмистров, остановив на всём скаку свою лошадь.

— Не твоё дело, господин честной! — отвечал Мироныч. — Мы холопы боярина Милославского и знаем, что делаем. Бери её за ноги, Ванька. Потащим!

— Не тронь! — закричал Василий, соскочив с одноколки и выхватив из-за пояса пистолет.

Мироныч и Ванька остолбенели от страха и вытаращили глаза на Бурмистрова. Он подошёл к Наталье, взял её осторожно за руку и с состраданием глядел на её лицо, покрытое смертною бледностью, но всё ещё прелестное.

— Принеси скорее воды! — сказал он слуге.

— А где я возьму? Река не близко отсюда!

— Сейчас принеси, бездельник! — продолжал Василий, наведя на него пистолет.

— Аль сходить, Мироныч? — пробормотал Ванька, прыгнув в сторону от пистолета.

— Не ходи! — крикнул дворецкий, неожиданно бросаясь на Бурмистрова и вырвав пистолет из руки его. — Слушаться всякого пробродяги! Садись-ка в свою одноколку да поезжай, не оглядываясь! Не то самому пулю в лоб, разбойник! — С этими словами навёл он пистолет на Бурмистрова.

Выхватив из ножен саблю, Василий бросился на дерзкого холопа. Тот выстрелил. Пуля свистнула, задела слегка левое плечо Василья и впилась в деревянный столб забора, отделявшего обширный огород от улицы.

— Разбой! — завопил дворецкий, раненный ударом сабли в ногу, и повалился на землю.

— Разбой! — заревел Ванька, бросаясь бежать и дрожащею рукою доставая стрелу из колчана.

В это самое время послышался вдали конский топот, и вскоре появились на улице, со

стороны Москвы-реки, скачущие во весь опор объезжие и несколько решётчных приказчиков.

Бурмистров, бросив саблю, поднял на руки бесчувственную девушку, вскочил в одноколку, левою рукою обхватил Наталью и, прислонив её к плечу, правую схватил вожжи и полетел, как стрела, преследуемый криком «держи!». Из улицы в улицу, из переулка в переулок гнав без отдыха лошадь, он скрылся наконец из вида преследователей и остановился у ворот своего дома.

— А! Василий Петрович! — воскликнул Борисов, вскочив со скамьи, на которой сидел у калитки, нетерпеливо ожидая его возвращения.

— Отвори скорее ворота.

Борисов отворил и, пропустив на двор одноколку снова запер ворота.

— Ба, ба, ба! Да ты не один! Ах, Боже мой! Что это? Она без чувств?

— Помоги мне внести её в горницу.

Они внесли Наталью и положили на постель Бурмистрова. Долго не могли они привести её в чувство. Наконец она открыла гла-

за и с удивлением посмотрела вокруг себя.

— Где я? — спросила она слабым голосом.

— В руках добрых людей! — отвечал Василий.

— А где моя бедная матушка? Что случилось с нею? Скажите, ради Бога, где она?

— Ты с нею сегодня же увидишься.

— Увижусь? Да не обманываешь ли ты меня?

— Непременно увидишься. Будь только спокойна. Прежде надобно, чтоб силы твои подкрепились несколько.

— Отведи меня, ради Бога, скорее к матушке! — Наталья хотела встать, но в бессилии опять упала на постель; в глазах её потемнело, голова закружилась, и бедная девушка впала в состояние, близкое к бесчувственности.

В это время кто-то постучал в калитку. Василий вздрогнул. Борисов подошёл к окну, отёрнул тафтяную занавеску и, взглянув на улицу, сказал шёпотом:

— Это наш приятель, купец Лаптев.

— Выйди к нему, сделай милость; скажи, что я нездоров и никого не велел пускать к се-

бе.

— Ладно.

Борисов вышел в сени и встретил там Лаптева, которому слуга Бурмистрова, Гришка, весьма походивший поворотливостью на медведя, в этот раз невпопад отличился и препроворно отворил калитку.

— Василий Петрович очень нездоров! — сказал Борисов, обнимаясь и целуясь с гостем.

— Ах, Господи! Я зашёл было пригласить его вместе идти к ранней обедне, а потом ко мне на пирог. Что с ним сделалось?

— Вдруг схватило!

— Пойдём скорее к нему! Ах, мои батюшки! Долго ли, подумаешь, до беды!

— Он не велел никого пускать к себе.

— Как не велел! Нет, Иван Борисович. Воля твоя! Сердце не терпит. Впусти меня на минутку: я его не потревожу. Писание велит навестить болящих!

— Приди лучше, Андрей Матвеевич, вечером, а теперь, право, нельзя. Меня даже не узнает. Совсем умирает!

— Умирает! Ах, Боже милостивый! Пусти хоть проститься с ним.

Сказав это, растревоженный Лаптев, не слушая возражений Борисова, поспешно пошёл к дверям. Борисов схватил его за полу кафтана, но он вырвался, вошёл прямо в спальню и, как истукан, остановился, увидев прелестную девушку, лежавшую на кровати, и стоявшего подле неё Василья. Одолеваемый и досадой, и стыдом, и смехом, Борисов начал ходить взад и вперёд по сеням, ожидая развязки этого неожиданного приключения и приговаривая тихонько: «Экой грех какой!»

Увидев Лаптева, Василий смутился и покраснел. Это совершенно удостиновило гостя в основательности подозрений, мелькнувших в голове его при входе в комнату. Он, как вкопанный, простоял несколько секунд в величайшем изумлении, смутился и чуть не сторел от стыда. Не вовремя же, думал он, навел я больного! Он поклонился низко Бурмистрову, желая тем показать, что просит прощения в своём промахе и в причинённом беспокойстве, и, не сказав ни слова, поспешно пошёл в сени. Борисов, услышав шум шагов Лаптева, из сеней скрылся на чердак.

— Куда ты торопишься, Андрей Матвеев-

вич? — сказал Бурмистров, нагнав Лаптева на лестнице. — Из гостей так скоро не уходят.

— Не в пору гость хуже татарина! Извини, отец мой, что я сдуру к тебе вошёл... Мне крайне совестно. На грех мастера нет. Я не знал... я думал... Извини, Василий Петрович!

— И, полно, Андрей Матвеевич, не в чём извиняться. Выслушай!

Василий, введя гостя в сени, объяснил ему всё дело.

— Вот что! — воскликнул Лаптев. — Согрешил я, грешный! Недаром Писание не велит осуждать ближнего. Ты защитил сироту, сделал богоугодное дело, а я подумал невесть что.

— Сделай, Андрей Матвеевич, и ты богоугодное дело. Я человек холостой: Наталье Петровне неприлично у меня оставаться; а ты женат: прими её в свой дом на несколько дней. Я сегодня же пойду к князю Долгорукому и стану просить, чтобы он замолвил за неё слово пред царицей Натальей Кирилловной. Она, верно, заступится за сироту.

— Ладно, Василий Петрович, ладно! Я сегодня же вечером приеду к тебе с женой, в ко-

лымаге, за Натальей Петровной. Жена её укроет в своей светлице; а домашним челядинцам скажем, что она, примером, хоть моя крестница, приехала, примером, хоть из Ярославля...

— И что зовут её: Ольга Васильевна Иванова.

— Ладно, ладно! Всё дело устроим, как быть надобно. А! да уж к обедне звонят. Пора в церковь. Счастливо оставаться, Василий Петрович!

— Теперь и мне выйти можно! — сказал Борисов, отворяя с чердака дверь в сени, у которой подслушал весь разговор Василья с гостем. — Больному нашему стало легче. Теперь, кажется, опасаться нечего.

— Ну, Иван Борисович, спасибо! Напугал ты меня. Я спроста всему поверил, да и попал впросак.

— Не взыщи, Андрей Матвеевич! Вперёд не ходи туда, куда приятель не пускает.

— Вестимо, не пойду! Однако ж, пора к обедне. Счастливо оставаться.

Лаптев ушёл. Василий возвратился в спальню и, подойдя к кровати, заметил, что

Наталья погрузилась в глубокий сон. Тихонько вышел он из горницы и затворил дверь. Поручив Борису быть в сенях на страже и попросить Наталью, если б она без него встала, подождать его возвращения, Бурмистров пошёл к князю Долгорукому. Через час он возвратился с необыкновенно весёлым лицом. Борисов тотчас после его ухода запер дверь спальни и, утомлённый ночным походом, сел на скамью, начал дремать и вскоре заснул. Едва Василий вошёл на лестницу и отворил дверь в сени, Борисов вскочил и со сна закричал во всё горло: «Кто идёт?».

— Тише, приятель! Ты, я думаю, разбудил Наталью. Она всё ещё спит?

— Не знаю. Я спальню запер и туда не заглядывал.

— Запер? Вот хорошо!

Василий тихонько отворил дверь и увидел, что Наталья сидит у стола и читает внимательно лежавшую на нём книгу, в которой переписаны были апостольские послания. Он вошёл с Борисовым в горницу, извинил его перед Натальей за содержание её под стражей и сказал:

— Князь Долгорукий сегодня же хотел говорить о тебе, Наталья Петровна, царице. Он уверен, что царица защитит тебя.

— Я возлагаю всю надежду на Бога. Да будет Его святая воля со мною! До гроба сохраню я в сердце благодарность к моему избавителю и благодетелю, хотя я и не знаю его имени. — Последние слова сказала Наталья вполголоса, потупив в землю свои прелестные глаза, наполненные слезами.

Бурмистров сказал ей своё имя. Разговор между ними продолжался до самого вечера. Восхищённый умом девушки, Василий и не заметил, как пролетело время. Лаптев сдержал слово и приехал вечером за Натальей. Проводив её до колымаги и уверив её, что она скоро увидится с матерью в своём новом убежище, Василий, всходя по лестнице с Борисовым, крепко сжал ему руку и с жаром сказал: «Какая прелестная девушка! Как рад я, что мне удалось сделать ей услугу».

VI

*Они условились в тиши
И собираются, как звери,*

*Хранимых Богом растерзать.
Глинка.*

Начинало смеркаться, когда боярин Мило-славский, возвратясь из дворца домой, ходил взад и вперёд по горнице, погруженный в размышления. На столе, стоявшем подле окна и покрытом красным сукном, блестела серебряная чернильница и разложено было в порядке множество свитков бумаг. У стола стояла небольшая скамейка с бархатною подушкою. Около стен были устроены скамьи, покрытые коврами. Серебряная лампада горела в углу пред старинным образом Спаса Нерукотворённого.

На боярине блистал кафтан из парчи, с широкими на груди застёжками, украшенными жемчугом и золотыми кисточками. На голове у него была высокая шапка из чёрной лисицы, похожая на клобук, расширяющийся кверху. В левой руке держал он маленькую серебряную секиру — знак своего достоинства. С правой руки спущенный рукав почти доставал до полу.

Сев наконец на скамейку, снял он с головы

шапку и положил на стол вместе с секирою. Засучив рукав и взяв один из свитков, боярин начал внимательно его читать, разглаживая левою рукою длинную свою бороду.

— Заступись, батюшка, за крестного сына твоего! — закричал, упав ему в ноги, вбежавший площадной подьячий Лысков.

Боярин вздрогнул, оборотился к нему и с удивлением спросил:

— Что с тобой сделалось, Сидор?

— За кабалу, которую написал я, по моей должности и в твою угодку, на дочь вдовой попадьи Смирновой, царица приказала поступить со мною по Уложению. Да дьяк Судного приказа поднял старое дело о табаке. Если не заступишься за меня, горемычного, то за лживую кабалу отрубят мне руку, а за табак отрежут нос. Помилосердуй, отец мой! Куда я буду годиться?

— Будь спокоен! Встань! Ручаюсь тебе, что останешься и с рукою, и с носом!

— Князь Долгорукий на меня наябедничал. Уж меня везде ищут; хотят схватить и посадить на тюремный двор до решения приказа.

При имени Долгорукого боярин изменился

в лице; губы его задрожали от злобы и досады.

— Останься в моём доме, Сидор. Посмотрим, кто осмелится взять тебя из дома Милославского! А я завтра же подам челобитную царевне Софье Алексеевне. Авось и Долгорукий язык прикусит!

— Вечно за тебя буду Бога молить, отец мой!

Лысков поклонился в ноги Милославскому и поцеловал полу его кафтана.

— Возьми вот этот ключ и поди в верхнюю светлицу, что в сад окошками. Запри за собою дверь, никому не показывайся и не подавай голоса. Один дворецкий будет знать, что ты у меня в доме. С ним буду я присылать тебе с моего стола кушанье. Полно кланяться, поди скорее.

Лысков ушёл. Солнце закатилось, и всё утихло в доме Милославского. Когда же наступила глубокая ночь, боярин, надев простой, тёмно-зелёного сукна кафтан и низкую шапку, похожую на скуфью, вышел в сад с потаённым фонарём в руке. Дойдя до небольшого домика, построенного в самом конце сада,

он три раза посту» чал в дверь. Она отворилась, и боярин вошёл в домик. Все его окна были закрыты ставнями. Около дубового стола, посредине довольно обширной горницы, освещённой одной свечою, сидели племянник боярина, комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, из новгородского дворянства кормовой иноземец Озеров [19], стольники Иван Андреевич и Пётр Андреевич Толстые, городской дворянин Сунбулов, стрелецкие полковники Петров и Одинцов, подполковник Циклер и пятисотенный Чермной.

При появлении Милославского все встали. Боярин занял первое место и, подумав немного, спросил:

— Ну что, любезные друзья, идёт ли дело на лад?

— Я отвечаю за весь свой полк! — отвечал Одинцов.

— И мы также за свои полки! — сказали Петров и Циклер.

— Ну, а ты, Чермной, что скажешь? — продолжал Милославский.

— Все мои пятьсот молодцев на нашей сто-

роне. За других же пятисотенных ручаться не могу. Может быть, я и наведу их на разум, кроме одного; с тем и говорить опасно.

— Кто же этот неговорчивый?

— Василий Бурмистров, любимец князя Долгорукого. Он нашим полком правит вместо полковника. Я за ним давно присматриваю. Дней за пять он ездил куда-то ночью и привёз с собой к утру какую-то девушку, а вечером отправил её неизвестно куда. Вероятно, к князю Долгорукому, к которому он ходил в тот же день.

А ты не узнал, как зовут эту девушку?

Не мог узнать. Один из моих лазутчиков рассказал мне, что этот негодяй в ту же ночь, как привёз к себе девушку, ходил с десятирями стрельцами и пятидесятником Борисовым к дому попадьи Смирновой, твоей соседки.

— Понимаю! — воскликнул Милославский. — Это его дело... Послушай, Чермной, я даю пятьдесят рублей за голову этого пятисотенного. Он может нам быть опасен.

— И конечно опасен. Его надобно непременно угомонить. Завтра я постараюсь уладить это Дело.

— Ну, а ты что скажешь, племянник?

— Я достал ключи от Ивановской колокольни, чтобы можно было ударить в набат.

— Мы с братом Петром, — сказал Иван Толстой, — неподалёку от стрелецких слобод, в полуразвалившемся домишке, припасли дюжину бочек с вином для попойки.

— А я шестерых московских дворян перетянул на нашу сторону, — сказал Сунбулов, — да распустил по Москве слух, что Нарышкины замышляют извести царевича Иоанна.

— А я распустил слух, — сказал Озеров, — что Нарышкины хотят всех стрельцов отравить и набрать вместо них войско из перекрёщённых татар.

— Итак, дело, кажется, идёт на лад! — продолжал Милославский. — Остаётся нам условиться и назначить день. Я придумал, — что всего лучше приступить к делу пятнадцатого мая. В этот день убит в Угличе царевич Дмитрий. Окажем, что в этот же день Нарышкины убили царевича Иоанна.

— Прекрасная мысль! — воскликнул Циклер. — Воспоминание о царевиче Димитрии расшевелит сердца даже самых робких

стрельцов.

— Перед начатием дела надобно будет их напоить хорошенько, — сказал Одинцов. — Это уж забота Ивана Андреевича с братцем: у них и вино готово. Зададим же мы пир Нарышкиным и всем их благоприятелям.

— Уж подлинно будет пир на весь мир! — промолвил Чермной, зверски улыбаясь. — Только вот в чём задача: пристанут ли к нам все полки? Четыре на нашей стороне, если считать и Сухаревский, а пять полков ещё ни шьют ни порют. Полковники-то их совсем не туда смотрят. Одно твердят: присяга да присяга! Чтоб не помешали нам, проклятые!

— Велико дело пять полковников! — воскликнул Одинцов. — Сжить их с рук, да и только! Пяти голов жалеть нечего, коли дело идёт о счастье целого русского царства.

— Справедливо, — сказал Милославский.

— Ну, а если полки-то и без полковников своих, — спросил Сунбулов, — захотят на своём поставить и пойдут против нас? Тогда что мы станем делать?

— Тогда приняться за сабли! — отвечал Одинцов.

— Нет, не за сабли, — возразил Озеров, — а за молоток. Недаром сказано в пословице, что серебряный молоток пробьёт и железный потолок. Царевна Софья Алексеевна, я чаю, серебреца-то не пожалеет?

— Разумеется, — сказал Милославский. — Я у неё ещё сегодня выпросил на всякий случай казну всех монастырей на Двине. Пошлём нарочного, так и привезёт серебряный молоток. Да впрочем, у меня, по милости царевны, есть чем пробить железный потолок и без монастырской казны.

— Нечего сказать, мы довольны милостию царевны! — сказал Сунбулов. — Я чаю, она не забыла, Иван Михайлович, обещания своего: пожаловать меня боярином, когда всё благополучно кончится? Я ведь начал дело и подал голос на площади за царевича Иоанна.

— Царевна никогда не забывала своих обещаний, — отвечал Милославский.

— А меня с товарищами в стольники, да по поместью на брата? — спросил Циклер.

— Нечего и спрашивать. Что обещано, то будет исполнено. Ах, да! Хорошо, что вспомнил: составил ли ты, племянник, записку, о

которой я тебе говорил?

— Готова, — отвечал Александр Милославский и, вынув из кармана свиток, подал дяде. Тот, бегло прочитав записку, покачал головою и сказал:

— И этого, племянник, не умел путём сделать! Артёмушку Матвеева-то и не написал! Что его миловать? Ведь он не святее других. Я тебе вчера сказывал, что царица велела ему возвратиться из ссылки. Он, конечно, помнит, что я ему ссылкой-то удружил. Уж и то худо было, что из Пустозерска перевезли его в Лухов, а то ещё едет в Москву! Надобно отправить его туда, откуда никто не возвращается. Хоть список-то и длинненек, однако ж прибавь Матвеева, да напиши поболее таких записок, для раздачи стрельцам. А как будешь раздавать, накрепко накажи им, чтоб никому спуску не было и чтоб начали с Мишки Долгорукого. Не поможешь ли ты, Пётр Андреевич, в этом деле племяннику? — продолжал он, обратясь к Толстому.

— С охотой!

В это время кто-то застучал в дверь. Все вздрогнули. Чермной, сидевший на конце

стола, встал, вынул из-за кушака длинный нож и тихонько подошёл к двери, удерживая дыхание. Посмотрев в замочную скважину, он при свете месяца увидел стоявшую у двери женщину.

Опять раздался стук, и вслед за ним едва слышимый голос:

— Пустите, я от царевны Софьи Алексеевны к боярину Ивану Михайловичу!

— А! Это из наших! — сказал Чермной, отворяя дверь. Вошла немолодых лет женщина, одетая в сарафан из алого штофа, с рукавами, обшитыми до локтей парчою. Сверх сарафана надет был на ней широкий шёлковый балахон с длинными рукавами, который она сняла, вошедши в горницу. На шее у неё блестело широкое жемчужное ожерелье; в ушах висели длинные золотые серьги, а на лице и при слабом сиянии одной свечи заметны были белила и румяна. Стуча высокими каблуками жёлтых своих сапожков, подошла она к столу и села подле Озерова. Не бывает действия без причины. Почему, например, пришедшая женщина села подле Озерова, а не подле кого-нибудь другого? Потому, что Озеров ей дав-

но приглянулся, а царица Софья обещала её выдать за него замуж, если она будет исполнять все её приказания и ни разу не проболтается. Это была постельница царицы Софьи, родом из Украины, по прозванию Назнанная.

— Добро пожаловать, Фёдора Семёновна! — сказал Милославский. — Верно, от царицы, с приказом?

— С приказом, Иван Михайлович. Царица велела отдать тебе грамотку, которую ты ей вчера подал, и сказать, что всему быть так, как ты положил; да велела благодарить тебя за твоё усердие к ней. Меня было остановил на дороге решёточный. «Куда идёшь, бабушка?» — спросил он. «Бабушка! Ах ты хамово поколение! — закричала я, — ослеп, что ли, ты? Да тебя завтра же повесят, заруют живого в землю! Не видишь, с кем говоришь?». Разглядев моё лицо и мой наряд, решёточный повалился «не в ноги. Я и велела ему лежать ничком на земле до тех пор, пока я не пройду всей улицы. Я чаю, мошенник со страху и теперь ещё не встал.

— Итак, всё решено, любезные друзья! — сказал Милославский. — Приступим к делу

пятнадцатого мая. До тех пор я не буду выезжать из дому и скажусь больным. По ночам собирайтесь здесь для советов, и для получения от меня наставлений. Главное дело не робеть. Смелым Бог владеет. Однако уж светает: пора расходиться. Прощай, Фёдора Семёновна. Скажи царевне, что дело идёт на лад и что я всё устрою, как нельзя лучше.

Все поднялись с мест и вышли один за другим в сад. Боярин удалился в свои комнаты, а прочие, выйдя чрез небольшую калитку в глухой переулок, разошлись по домам.

VII

*Кто добр поистине: не распложая слова,
В молчаньи тот добро творит.
Крылов.*

Пробыв целое утро у князя Долгорукого и получив приказание прийти опять к нему по возвращении из собора Архангела Михаила, куда князь поехал за обедню и панихиду по царе, Бурмистров чрез Фроловские[20] ворота вошёл в Кремль. Раздался благовест с ко-

колокольни Ивана Великого. Народ начал собираться в Успенский собор к обедне. Василий вошёл в церковь. Когда служба кончилась и народ начал расходиться, на церковной паперти кто-то ударил слегка Бурмистрова по плечу. Он оглянулся и увидел своего сослуживца, пятисотенного Чермного.

— Здорово, товарищ! — сказал ему Чермной. — Какими судьбами ты попал в Успенский собор? Ты обыкновенно ходишь к обедне к Николе в Драчах.

— Да так, вздумалось побывать в соборе и взойти после обедни на Ивановскую колокольню; я уж очень давно на ней не бывал.

— Кстати и мне взобратъся туда вместе с тобою и полюбоваться на Москву.

Вместе с этими словами в голове Чермного мелькнула адская мысль: воспользоваться случаем и исполнить обещание, данное им накануне Милославскому. Он придумал, взойдя на самый верхний ярус колокольни с Бурмистровым, невзначай столкнуть его вниз, когда он засмотрится на Москву, и сказать потом, что товарищ его упал от собственной неосторожности. Василий, ни в чём не

подозревая Чермного, согласился идти с ним вместе на колокольню. Пономарь за серебряную копейку отпер им дверь, и, к великой досаде Чермного, пошёл сам вперёд по лестнице. Наконец они добрались до самого верхнего яруса.

Василий, подойдя к перилам, начал вдали отыскивать взором дом купца Лаптева. Если кто-нибудь из читателей наших (о читательницах говорить не смеем) бывал влюблён и когда-нибудь смотрел с колокольни или башни на город, то он верно знает, что всего скорее обращаются глаза в ту сторону, где живёт любимый человек. С трудом рассмотрев в отдалении дом Лаптева, Василий начал напрягать зрение, думая: не увидит ли окон верхней светлицы и кого-нибудь у окошка? Однако ж и весь дом едва был виден, и потому неудивительно, что Василий понапрасну напрягал зрение, погружаясь между тем всё более и более в приятную задумчивость и, наконец, глядя во все глаза на обширную Москву, вместо города увидел пред собою образ своей Натальи, если не в самом деле, то по крайней мере в воображении. Тем временем Чермной

выдумывал средство, как бы избавиться от безотвязного пономаря, который, побрякивая ключами и показывая пальцем колокольни разных московских церквей, говорил:

— Погляди-ка, господин честной, отсюда все церкви видны. Одних Никол не пере-чтёшь: вот это Никола у Красных колоколов, это Никола в Драчах, это Никола на Курьих ножках, это Никола на Болвановке, это Никола в Пыжах...

— Знаю, знаю! — твердил сквозь зубы Чермной; но пономарь, не слушая его, продолжал усердно пересчитывать церкви и колокольни.

— Сделай одолжение, любезный! — оказал наконец Чермной. — Вот тебе две серебряные копейки. Я что-то нездоров: нет ли у тебя Богоявленской воды? Я бы выпил немного, так авось мне бы полегче стало.

— Как не быть, отец мой; только иди-то за ней далеконько! — отвечал пономарь, почёсывая затылок и уставив глаза на две серебряные копейки, лежавшие у него на ладони.

— Ну, вот тебе ещё копейка, только сделай милость, принеси воды хоть немножко...

— Шутка ли вниз сойти и опять сюда взобраться! Ну, да уж так и быть.

Пономарь пошёл вниз, а Чермной, внимательно глядя на Бурмистрова и заметив, что он в глубокой задумчивости стоит у перил, начал украдкой к нему приближаться. Подойдя уже близко к товарищу, он тихонько стал нагибаться, держа в руке серебряную копейку, чтобы сказать, что поднял её с полу, если б Василий, неожиданно оглянувшись, приметил его движение. Уж он готов был схватить товарища за ноги и перебросить чрез перила, как вдруг опять раздался голос возвратившегося пономаря.

— Не прикажешь ли, отец мой, принести кстати просвирку? Да не поусердствуешь ли копеечкой на церковное строение? В селе Хомякове, Клюквино тож, сгорела недавно церковь.

— Где сгорела церковь? — спросил Бурмистров, выведенный из задумчивости громким голосом пономаря.

— В селе Хомякове, отец мой.

Василий вынул из кармана ефимок и отдал пономарю. И Чермной поневоле последо-

вал его примеру, отдав серебряную копейку, которую держал в руке. Пономарь низко поклонился и, не сказав ни слова, пошёл за кружкой простой воды, потому что Богоявленской у него не было.

Когда шум шагов его затих на лестнице, Чермной видя, что Бурмистров отошёл от перил и хочет идти вниз, остановил его и сказал:

— Мы с тобою давнишние сослуживцы, товарищ, и всегда были приятелями. Могу ли я на тебя положиться и поговорить с тобою откровенно об одном важном деле?

— Хочешь, говори, хочешь, нет, это в твоей воле. Я не хочу знать твоих важных дел, если меня опасаешься.

— Если б я тебя опасался, то и не начал бы разговора. Я тебя всегда почитал и любил, и потому решился, как добрый товарищ, предостеречь тебя.

— А от чего бы, например?

— Неужели ты ничего не слыхал и не знаешь? По«слушай-ка, что по всей Москве говорят.

— Поговорят да и перестанут.

— Хорошо, как бы тем кончилось.

— А чем же может кончиться?

— Да тем, что и моя голова и твоя не уцелеют.

— Ну, так что ж? Двух смертей не будет, а одной не миновать.

— Я вижу, что ты мне не доверяешь и не хочешь быть со мною откровенен. Может быть, и пожалеешь об этом, да будет поздно. И к чему скрываться от меня? У нас одна цель с тобою: нам не мешало бы соединиться и действовать вместе. Времени терять не должно. Худо будет, если люди станут пахать, а мы руками махать. Пойдём обедать ко мне, товарищ. Я бы за столом сообщил тебе важную тайну. У тебя волосы станут дыбом, даром что ты не трус.

Чермной, не смея напасть открыто на Бурмистрова и не надеясь его пересилить и сбросить с колокольни, решил притвориться преданным царю Петру Алексеевичу, подстрекнуть любопытство Бурмистрова обещанием открыть ему тайну, позвать к себе обедать и за столом отравить его ядом, купленным недавно, по поручению Милославского,

в Новой аптеке[21].

— О чём ты говоришь, Чермной? — сказал Василий. — Что у тебя за ужасная тайна? Право, не понимаю!

— Скажи лучше, что понимать не хочешь. Неужели ты не слыхал, что царю Петру Алексеевичу грозит опасность?

— Какая опасность?

— Та самая, о которой ты говорил сегодня с князем Долгоруким и о которой я уже прежде тебя его предупредил.

Бурмистров устремил проницательный взор на Чермного.

— Спроси самого князя, если мне не веришь. Я обещал ему доставить полное и верное сведение о числе и силе заговорщиков и о всех их замыслах. Надеюсь вскоре исполнить моё обещание, хотя бы мне стоило это жизни. Я готов пролить кровь свою за царя Петра Алексеевича. Давно я на это решился и действую; а ты... думаешь о молодых девушках да прогуливаешься ночью по Москве с твоими стрельцами. Не сердись на меня, товарищ, за правду! Я прямо скажу, тебе, что грешно заниматься какою-нибудь девчонкою, когда де-

ло идёт о спасении царя.

— Побереги для других твои советы. Я знаю не хуже тебя свои обязанности и докажу на деле, а не словами, что готов умереть за царя.

— Дай руку, товарищ! Будь ко мне доверчив и ничего не скрывай от меня. Станем вместе действовать. Ум хорошо, а два лучше. Богом клянусь, что я стою за правое дело!

— Не клянись, а докажи это. Лучшая клятва в верности царю — кровь, за него пролитая. Тебе не перехитрить меня, Чермной! Ты, как вижу, подглядывал за мною, а я наблюдал за тобою. Напрасно станешь ты клясться, что стоишь за правое дело. Поверю ли я клятвам человека, который недавно уверял некоторых из стрельцов, что можно, не согрешив пред Богом, нарушить присягу, данную царю Петру Алексеевичу? Для кого присяга не священна, того все клятвы пиши на воде.

— Вот и вода! — сказал пономарь, которого лысая голова в это время явилась, как восходящее солнце. Он подошёл осторожно к Чермному, чтоб не расплескать воды из принесённой им кружки; но Чермной, раздражённый

укоризною Бурмистрова, оттолкнул пономаря и сказал Василью:

— Нас рассудит князь Долгорукий с тобою. Ты обвиняешь верного слугу царского в измене! Или я, или ты положишь голову на плаху.

Сказав это, он пошёл вниз.

— Ах, ты бусурман нечестивый! — ворчал между тем пономарь, пустясь за ним в погоню по лестнице. — Да как ты смеешь толкаться, когда я держу кружку с Божоявленной водой. Я половину воды пролил на пол! Да я на тебя святейшему патриарху челом ударю! Татарин, что ли, ты али жид? Погоди ужо, дешёво со мной не разделаешься!

Бурмистров шёл за пономарём по лестнице. Чермной скрылся от своего преследователя, и пономарь в самом низу, в дверях, остановил Василья для допроса.

— Скажи, господин честной, кто этот окаянный антихрист, что с тобою наверху разговаривал?

— Не знаю! — отвечал Василий, не желая выдать товарища. — Я вовсе с ним не знаком и в первый раз встретился с ним сегодня. Кажется, он из татар.

— Ну так, у него и рожа-то не христианская! Коли держится иной шерсти[22], так шёл бы в свою поганую мечеть; а то лезет на Ивана Великого да пономаря толкает, нечестивец! Счастлив, что ушёл: я бы с ним разведался на Патриаршем дворе!

Оставив разгневанного пономаря, Василий поспешил к дому князя Долгорукого.

Кончив вместе с Бурмистровым начатое поутру представление о заговоре, князь поехал к царице Наталье Кирилловне и приказал находившимся в доме его десятерым стрельцам взять под стражу Чермного, когда он, по обещанию, придёт к нему вечером. Бурмистров сорвал личину с лицемерного злодея. Прощаясь с князем, Василий просил дать ему слово, чтобы за открытие заговора не давали ему никакой награды.

— Я не хочу, — говорил он, — чтобы меня могли подозревать в чистоте моих намерений. Открыв заговор, я не искал выслужиться и основать моё счастье на бедствии ближних, хотя и преступных. Я исполнил только священную клятву, данную Помазаннику Божию. За что же награждать меня? Неужели

только за то, что я не хотел сделаться преступником и не нарушил священнейшей из клятв? Жизнь царя тесно соединена с благом Отечества и с неприкосновенностью Церкви православной, которую угрожает поколебать Аввакумовская ересь, заразившая большую часть стрельцов. Я всегда был готов умереть за веру, царя и Отечество, но никогда не желал суетных земных наград и почестей, помня слова св. апостола Павла, повелевающего не заботиться о том, как судят о нас люди, и не искать хвалы их, а памятовать, что судия наш — Господь, который в пришествие своё осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И что тогда всякому похвала будет не от людей, а от Бога. Дайте мне слово, князь, не награждать меня.

Князь Долгорукий обнял Бурмистрова, молча пожал ему руку и поехал к царице.

VIII

*Зачем в полуночной тиши.
Мои лукавые злодеи,
По камням крадётся, как змеи?
Глинка.*

— Полно ли тебе горевать, красная девица! — говорила дородная Варвара Ивановна, жена Лаптева, сидевшей у окна Наталье. — Да ты этак глазки выплачешь.

— Как же мне не плакать, Варвара Ивановна, когда я до сих пор не знаю, где матушка и что с нею сделалось. Может быть, она... — Наталья не могла выговорить ничего более и, рыдая, закрыла платком прелестное лицо своё.

— Полно, моя ягодка, плакать! Ведь Андрей Матвеевич обещал непременно узнать сегодня, где твоя матушка; да и братец твой авось принесёт радостную весточку о родительнице. Я чаю, он придёт к тебе завтра. Этакая память, прости Господи, забыла ведь, какой у нас день сегодня и которое число!

— Суббота, 13 мая, — сказала Наталья.

— Ну, так и есть: завтра братец придёт. Полно же горевать, моё наливное яблочко, глазки выплачешь.

В это время раздался стук у калитки, и чрез минуту вошёл Лаптев с печальным лицом. Не дожидаясь вопроса девушки, он ска-

зал:

— Я не узнал ещё, Наталья Петровна, где твоя матушка. Был у братца твоего в монастыре. Завтра чуть свет вместе с ним пойдём искать её по всему городу. Наверно, её укрыл какой-нибудь добрый человек. Она не знает, где ты, а ты не знаешь, где она, — вот и вся беда! Полно горевать, Наталья Петровна, Бог милостив. Писание не велит... Ах, Господи! Наталья Петровна! Что это с тобой? Воды, жена! Скорее воды!

Дородная Варвара Ивановна самым скорым шагом, каким только могла, пустилась из верхней светлицы вниз по лестнице, за водою, а Лаптев, сидя на скамье подле Натальи, приклонил к плечу её голову и в испуге смотрел на её бледное лицо и закрывшиеся глаза.

Вскоре Варвара Ивановна, запыхавшись, явилась с кружкою в руке и подала мужу. Брызнув несколько раз в лицо Натальи холодною водою, Лаптев привёл её в чувство и выпил оставшуюся в кружке воду. В это самое время неожиданно вошёл в светлицу Бурмистров. Готовясь принести жизнь на жертву царю, он хотел взглянуть в последний раз на

Наталью и проститься с старинным своим приятелем, Лаптевым. При входе Василья бледные щеки девушки вдруг вспыхнули.

— Ах, Господи! — воскликнул сидевший ещё подле неё Лаптев. — Ей опять дурно! Жена, ещё воды!

Варвара Ивановна, тяжело вздохнув, поднялась со скамейки, на которую села отдыхать после совершённого ею подвига; но Бурмистров предупредил её и, взяв кружку, побежал вниз. Между тем Наталья оправилась от своего смущения. Вскоре Бурмистров возвратился с кружкою и поставил её на стол. Несколько времени продолжалось молчание. Бурмистрова занимала одна восхитительная мысль: она меня любит! Лаптев, посадив гостя подле себя, придумывал, с чего начать разговор; Варвара Ивановна придумывала, чем гостя потчевать; а Наталья размышляла: ах, Боже мой! не заметил ли он моего смущения!

Наконец Лаптев прервал молчание.

— Что слышно новенького, Василий Петрович? Мы давно уже с тобою... Что это?... Набат?

— Кажется, — сказал Василий.

— Надобно посмотреть, где горит.

Лаптев побежал на чердак, чтобы выйти на кровлю. Варвара Ивановна с Натальей подошли к окну, а Бурмистров к другому.

— Зарева нигде не видать, — сказал возвратившийся Лаптев. — Накрапывает дождик; кровля прескользкая, и вечер такой тёмный, хоть глаз выколи. Я чуть не свалился с кровли. Однако ж смотрел во все стороны: пожара нигде не заметно. Что бы это значило?... Да чу!... Где-то ударили в барабаны!

Бурмистров, отворил окно и, прислушиваясь к отдалённому звуку барабанов, сказал:

— Бьют тревогу! Прощай, Андрей Матвеевич!

Поклонившись Варваре Ивановне и Наталье. Василий поспешно вышел и у ворот встретил Борисова.

— Як тебе, Василий Петрович. Хорошо, что ты мне сказал, что пойдёшь сюда сегодня вечером, без того верно бы я не нашёл тебя. У нас в полку беспокойно!

— Как? Что это значит?

— Гришка Архипов да Фомка Ерёмин, де-

сятники Колобова полка, пришли к нашим съезжим избам и говорят такие похвальбы, что и слушать страшно.

— А наши что?

— Наши связали их да и посадили в рогатки.

— Хорошо сделали. Ну, а ещё что?

— Пяти полков стрельцы, кроме нашего, Стремянного, Полтева и Жуковского, разбрелись по Москве; кто на Отдаточный двор, кто в торговую баню, кто на колокольню. Напились допьяна, звонят в набат и бьют тревогу.

— Чего же полковники-то смотрят?

— Полковники? Поминай как звали! Всех их втащили на самые высокие каланчи съезжих изб и оттуда сбросили. Не испугайся, Василий Петрович. Стрелец Федька Григорьев, которого ты выкупил недавно от правежа[23], прибежал ко мне и сказал, что пятисотенный Чермной нанял за пять рублей четырёх стрельцов.

— Для чего нанял?

— Для того, чтобы ночью забраться в твой сад, из саду влезть в окно и зарезать тебя, да и меня кстати.

— Посмотрим, удастся ли им это? Подойдём проворнее, Борисов. Скоро уже полночь, а до дому ещё неблизко.

Они удвоили шаги и вскоре подошли к дому; постучались — Гришка отпер калитку.

— Недавно, — сказал он, — прискакал сюда верхом десятник от князя Долгорукого с какою-то к тебе, Василий Петрович, посылкою.

— Где он?

— В сенях дожидается. Да вот и он.

Василий развернул свиток, поданный ему десятником, и прочитал: «Возьми двадцать человек надёжных стрельцов и в полночь поди с ними к домам пятисотенного Чермного, подполковника Циклера и полковников Петрова и Одинцова. Забрав всех их, свяжи и приведи тотчас ко мне. Мая 13 дня 7190 года. Князь Михаил Долгорукий».

— Съезди поскорее, — сказал Василий десятнику, — к съезжей избе нашего полка и скажи, что я велел позвать к себе теперь же двадцать стрельцов из полсотни Борисова. Скажи, чтобы не забыли ружей и сабель.

— Слушаю.

Десятник сел на лошадь и поскакал. Не

прошло четверти часа, как явились двадцать стрельцов и стали в ряд на дворе, в молчании ожидая Василья, который с Борисовым побежал в спальню за пистолетами. В то самое время, когда они оба сходили по лестнице, раздался в сенях крик выбежавшего из горницы опрометью Гришки: «Воры, воры!».

Со страху споткнувшись на лестнице, храбрый слуга не сбежал, а пролетел мимо господина своего на двор и чуть не сшиб его с ног.

— Где воры? — спросил Борисов.

— У нас в саду! Целая шайка! Батюшки светы, что будет с нами?

— В сад, ребята! — закричал Борисов стрельцам. — Ловите разбойников!

Стрельцы бросились в сад вслед за Васильем и Борисовым. При свете месяца увидели они приставленную к окну лестницу и на верхних ступеньках человека. Он силился отворить окно. Два его товарища держали лестницу, и два готовились лезть вслед за ним. Бывший на лестнице, услышав шум, соскочнул с самого верха на землю, и все побежали. «Лови! держи!» — закричали стрельцы; но бездельники успели добежать до забора, отде-

лявшего сад Василья от соседнего огорода, вскарабкались на забор и, соскочив в огород, скрылись. Стрельцы хотели пуститься за ними в погоню, но Василий остановил их и повёл за ворота. Дойдя до небольшого дома, где жил Циклер, он окружил его и вошёл в комнаты. Все двери были настежь отворены и всё имущество из дома вывезено. В спальне Циклера увидел Василий секиру, воткнутую перед окном в пол, и привязанный к нему свиток бумаги. Сняв его, он прочитал:

«По близкому соседству моему с тобою, я знал, что ты ко мне первому придёшь сегодня в гости. Милости просим! Жаль только, что хозяина не застанешь дома. Я и все наши там, где тебе не найти нас. О приказе, который получен тобою сегодня, узнали мы прежде тебя. Из этого ты видишь, что нас не перехитрить, да и не пересилить. Мы решились твёрдо стоять за правое дело, и на нашей стороне народу многое множество. Советую тебе взяться за ум. Плетью обуха не перешибёшь. С одним полком немного против восьми сделаешь. На Стремянной, Полтев и Жуковский не надейся: все наши. Сухаревский смотрит на тебя и

упрямится. Да наплевать на тебя и с твоим полком! И без тебя дело обойдётся. Эй, возьми за ум: худо будет! Не образумишься, так изрубим и втопчем в грязь; а образумишься, так получишь поместье да триста рублей. Слышишь ли? Напиши ответ и положи сегодня же ночью в пустую избушку, что подле моей торговой бани»[24].

Бурмистров немедленно пошёл со стрельцами к князю Долгорукому и, вручив ему найденный свиток, провёл с ним остаток ночи в совещаниях.

IX

*Нет, нет! У нас святое знамя,
В руках железо, в сердце пламя:
Ещё судьба не решена!...
Карамзин.*

Ударил первый час дня. Восходящее солнце осветило золототерхый Кремль. Послав Бурмистрова к Ивану Кирилловичу Нарышкину и Артемону Сергеевичу Матвееву с приглашением явиться к царице Наталье Кирилловне для важного совещания, князь Долгору-

кий поспешил во дворец: Вскоре прибыли туда Нарышкин и Матвеев. Долгорукий встретил их на лестнице и молча подал брату царицы записку Циклера. Нарышкин, прочитав её, побледнел и передал бумагу Матвееву.

— Опасность велика! — сказал тихо Матвеев, прочитав записку и отдавая её Долгорукому. — Необходимы твёрдые и скорые меры. Видела ли царица эту бумагу?

— Нет ещё, — отвечал Долгорукий. — Я ожидал вашего прибытия и не велел стряпчему докладывать обо мне.

Войдя в залу, где был стряпчий, Нарышкин сказал ему:

— Донеси царице, что Артемон Сергеевич, Михаил Юрьевич и я просим дозволения войти в её комнаты.

Стряпчий вышел в другой покой и сказал о боярах постельнице, сидевшей у окна за пяльцами, в которых она вышивала золотом и жемчугом пелену для образа. Постельница пошла в спальню Натальи Кирилловны и, чрез минуту возвратясь, сказала, что царица немедленно выйдет к боярам. Стряпчий сообщил им ответ, и вскоре постельница, отворив

дверь в залу, пригласила бояр войти в горницу, где она сидела за пядьцами, а сама оставшись, по приказанию царицы, в зале, начала расспрашивать стряпчего, зачем бояре так рано приехали?

Царица села с боярами к столу, украшенному резьбою и позолотою, и с приметным беспокойством спросила о причине такого раннего их прихода.

— Мы пришли к тебе, государыня, — отвечал Матвеев, — с недобрыми вестями. Однако ж просим тебя не смущаться. Господь поможет смирить замышляющих злое.

— Да будет воля Божия! — отвечала, побледнев, царица. — Я на всё готова!... Скажи, Артемон Сергеевич, что сделалось?

— Циклер, Одинцов и все товарищи их неизвестно куда скрылись. В доме Циклера нашёл пятисотенный Бурмистров записку. Прочитай её, Михаил Юрьевич.

Когда Долгорукий кончил чтение, Матвеев продолжал:

— Мы пришли спросить тебя, государыня, что делать велишь?

— Я полагаюсь во всём на вас. Делайте мо-

им именем все, что признаете нужным.

— Я велел, — сказал Долгорукий, — десяти стрельцам, переодевшись в монашеское платье, разведывать, где скрываются Циклер и прочие заговорщики? Прежде ещё получения мною записки этого злодея узнал я вчера, что полки Стремянной, Полтев и Жуковский, которые считал я верными, допустили себя подкупить. Теперь на стороне царевны Софьи Алексеевны восемь полков, а на стороне царя Петра Алексеевича только один Сухаревский. Но не в силе Бог, а в правде! Надобно приказать Сухаревскому полку и Бутырскому[25] войти сегодня ночью в Кремль и запереть все ворота. Теперь же должно отправить гонцов во все ближние города и монастыри с царским указом, чтобы всякий, кто любит царя, вооружился, чем может, и спешил к Москве защищать его от злодеев, умышляющих пролить священную кровь царскую. Можно назначить сборным местом село Коломенское и послать туда кого-нибудь из бояр для предводительства ополчением, а бунтовщикам объявить, если б они вздумали начать осаду Кремля, что мы будем защищаться до послед-

ней крайности, что скоро придёт к Москве ополчение и нападёт «а них, а мы сделаем вылазку, и что после того ни одному бунтовщику, который в сражении уцелеет, не будет пощады: всем голову долой! Ручаюсь, государыня, что мятежники оробеют и будут просить помилования.

— А если не оробеют? — сказал Нарышкин.

— Тогда пускай сразятся с нами! — продолжал Долгорукий. — Мы будем держаться в Кремле, покуда не подойдёт ополчение и не нападёт на них с тыла. Тогда мы сделаем вылазку и разобьём бунтовщиков.

— Боже мой! Боже мой! — сказала с глубоким вздохом царица. — Русские станут проливать кровь русских!

— Нет, государыня, — возразил Долгорукий, — презренные бунтовщики, забывающие Бога, нарушающие священную клятву, данную царю и Отечеству, недостойны именоваться русскими.

— Но, может быть, они обольщены обещаниями, обмануты; может быть, прольётся кровь многих невинных!... Неужели нельзя уговорить их? Обещай им, Михаил Юрьевич,

какую хочешь награду. Я ничего не пожалею, только бы не лилась кровь христианская. Обещай даже, если нужно, простить стрельцов, которые убили своих полковников.

— Всё это будет бесполезно, государыня. Уговорить их невозможно. Кого они теперь послушают! Царевна Софья давно уже внушила им мысль, что царь Пётр Алексеевич наследовал престол противузаконно и что царевича Иоанна, против его воли, бояре, тебе в угоду, удалили от престола. Только главные заговорщики знают истинные намерения властолюбивой царевны, а простые стрельцы убеждены, что они вступаются по справедливости за царевича Иоанна. Вели, государыня, действовать, как я сказал; других средств не вижу для отвращения грозящих бедствий.

— Нельзя ли переговорить с царевной Софьей Алексеевной? — сказал Матвеев. — Пусть откроет она тебе, царица, свои желания и требования: может быть, исполнением их она удовольствуется и не захочет проливать кровь русскую. Её одно слово успокоит стрельцов. Она ввела их в заблуждение; она же всего легче может их из него и вывести.

— Нет, Артемон Сергеевич! — возразил Нарышкин. — Царевна слишком далеко зашла; она не может уже воротиться, да и не захочет. Она желает царствовать именем Иоанна Алексеевича и погубить ненавистный ей род Нарышкиных. Из этого ты видишь, что переговоры с нею невозможны.

— В таком случае, — сказал Матвеев, — более нечего делать, как согласиться с предложением Михаила Юрьевича. За кровь, которая польётся, ответит Богу царевна Софья Алексеевна.

В это время отворилась из залы дверь, вошла поспешно постельница и сказала:

— Царевна Софья Алексеевна изволила приехать к тебе, государыня; она уже на лестнице.

Бояре вскочили с мест своих. Царица молча указала им на дверь, завешенную штофным занавесом. Бояре вошли в тёмный коридор и, спустись по крутой и узкой лестнице в нижние покои дворца, вышли через другие сени на улицу, избежав таким образом встречи с царевною.

— Я пришла, — сказала София, садясь под-

ле царицы, — предостеречь тебя, матушка, от угрожающей опасности. Вся Москва ропщет, что братец Иван обойдён в наследовании престола. Вчера два митрополита от лица всего духовенства, несколько бояр и многие выборные от народа били мне челом, чтобы он был объявлен царём московским.

— Ты знаешь, Софья Алексеевна, что он сам уступил престол брату.

— Справедливо, матушка; но не должно пренебрегать народного ропота. Я опасаясь, чтобы не сделалось чего худого. Лучше уступить общему желанию: все хотят, чтобы провозглашён был царём братец Иван.

— Хотят невозможного: московский престол один — и московский царь может быть только один.

— Волнение умов очень сильно; легко могут начаться беспорядки и кровопролитие. Теперь ещё есть время поправить дело: братец Иван уступил престол младшему брату, а младший брат пусть возвратит престол старшему. Никто ни слова не скажет, и вся Москва успокоится.

— Нет, Софья Алексеевна! Бог увенчал мое-

го сына царским венцом, один Бог властен теперь лишить его этого венца. Да будет воля Божия!

— Послушай моего искреннего совета, матушка; может быть, раскаешься, да будет поздно.

— Да будет воля Божия! — повторила царица.

Царевна, покраснев от гнева, вскочила с кресел и вышла поспешно из комнаты. Царица, после усердной молитвы за обедней в Успенском соборе, возвратясь во дворец, послала гонца к брату своему Ивану Кирилловичу, боярину Матвееву и князю Долгорукому с приглашением, чтобы они явились к ней на другой день рано утром для окончания начатого ими совещания.

Х

*И криками ночные враны.
Предвозвещающая кровь и раны.
Всё полнят ужасом места.
Петров.*

Солнце давно уже закатилось. В доме Мило-славского, которого никто не подозревал в преступных замыслах, собрались заговорщи-ки, а стрельцы около съезжих изб своих за-жгли костры, прикатали бочки с вином, пода-ренные им Толстыми, и принялись за попой-ку и рассуждения. Несколько пятисотенных, сотников и пятидесятников, покусья обра-тить к порядку своих подчинённых, сдела-лись жертвою своего мужества. Их схватили и сбросили, одного за другим, с тех же калан-чей, с которых недавно были сброшены вер-ные своему долгу полковники. По соверше-нии этого подвига попойка возобновилась. Шумные разговоры и песни во всю ночь не умолкали.

Один из стрельцов, сидящий верхом на опорожнённой бочке, с деревянным ковшом в руке. Нечего сказать, Кондратьич, молодец! Ты всех, кажется, усерднее поработал; мне ни одного не удалось сбросить, а ты четверых спровадил.

Другой стрелец. Туда ими дорога! Вздума-ли нас учить! Учёного учить — только пор-тить. А где Васька Бурмистров с своим пога-

НЫМ ПОЛКОМ?

Третий стрелец. А дьявол его знает! Многие было из стрельцов не хотели от нас отстать, да этот краснобай с пятидесятником Ванькою Борисовым их отговорил. Только один Фомка Загуляев из Сухаревского полка с нами остался.

Первый стрелец (поёт сильным басом).

*Против солнца, на востоке,
Стоит келья, монастырь,
Как во том монастыре
Стрелец спасается:
По три раза в день допьяна напи-
вается.[26]*

Второй стрелец. Перестань горланить, Ванюха. Страшно слушать такую еретическую песню. Затяни-ка лучше «Вниз по матушке по Волге».

Первый стрелец. Дай прежде промочить горло. Эй, Павлуха! ты уж чуть на ногах стоишь, а знай себе наливаешь. Налей, кстати, и мой ковш. Мне не хочется сойти с коня-то. Ви-

дишь, какой толстый, толще иного монастырского служки, да и в обручах весь. Уж не бойсь, не сшибёт!

Четвёртый стрелец. Полно вздор молоть, Ванюха, лучше поговорим о деле. Слышали ли вы, ребята, что в прошлую среду приехал сюда ссылочный Матвеев, а третьего дня, в пятницу, опять в бояре пожалован?

Пятый стрелец. Ну, что ж? Пусть его боярствует; ведь он в старину был наш брат стрелец. Мой покойный дядя рассказывал, что годов за тридцать ходит царь Алексей Михайлыч под Смоленск и что Матвеев помог царю взять этот город. С тех пор царь узнал его и начал жаловать. Матвеев был в то время стрелецким головою, по-нынешнему, полковником.

Шестой стрелец. Да, нечего сказать, послужил он царю верой и правдой. Когда Алексей Михайлыч вздумал во второй раз жениться, уж он был думным дворянином. В день свадьбы царь пожаловал его окольниковым, а через год боярином, в тот самый день, как меня приняли в Стремянной полк из посадских детей. Вот уж скоро минет десять лет, как я

стрельцом, а он боярином.

Первый стрелец. Экое диво, боярином! Навязал царю на шею свою питомицу, состряпал свадьбу да и в бояре попал! Этак бы и я умел выслужиться. Нет, ребята, хоть Матвеев и был в старину наш брат, стрелец, а всё-таки он ни к черту не годится. Ведь ему Нарышкины-то родня?

Второй стрелец. Говорят, что родня. Кирилла-то Полуехтович был бескопеечный дворянин. В свадьбу дочки попал также в окольниковичие, а через год и в бояре. Залетела ворона в высокие хоромы! А во всём Матвеев виноват: он царя-то приворожил к своей питомице — чтобы ему издохнуть, чернокнижнику! За чернокнижество он и в ссылку попал. Свояк мой, дворецкий боярина Милославского, раз подслушал, как боярин его разговаривал о Матвееве с приятелями. Господи Боже мой! да этого мало, что его в ссылку послали: его бы надобно было живьём изжарить на хворосте, проклятого! Страшно и рассказывать, что слышал я от дворецкого.

Пятый стрелец. Что ж ты слышал?

Второй стрелец. Мало ли что! Всякой Ере-

мей про себя разумеи! Ну, да уж так и быть, разболтаю я вам все, что знаю. Семь лет крепился. Была пора молчать, а ныне пришла пора и языку волю дать. Однако ж, ребята, чур из избы сору не выносить. Этак, пожалуй, и в Тайный приказ потянут да запытают до смерти! Вот, вишь ты, ребята, дело в чём. Был при покойном царе Алексее Михайловиче, да и ныне ещё никак жив, лекарь Гадин[27]. Боярин Матвеев правил тогда Аптекарским приказом, подружился, с Гадиным, да и вздумал у него колдовству учиться. Раз боярский карло, Захарка, спал за печкой. Матвееву-то и невдомёк. Вот пришёл к нему в гости Гадин, принёс с собой чёрную книгу и начал её с боярином читать. Вдруг — наше место свято! — и полезла в горницу нечистая сила, кто из-под полу, кто в окошко, кто из печки — ну, так и лезут, проклятые! Захарка сидит за печкой ни жив ни мёртв и шелохнуться не смеет.

Первый стрелец. Этакая диковина! Стало быть, карло-то видел нечистых. Посмотрел бы хоть одним глазком на них; чай, страшно?

Второй стрелец. Свояк мой расспрашивал Захарку: каковы лукавые с рожи? Он говорил,

что больно некрасивы. У иного ноги козлиные, у другого гусиные, у третьего петушьи. Руки у них с когтями, словно грабли; головы почти у всех свиные или змеиные. У всякого рога, борода козлиная да хвост с закорючкой.

Первый стрелец. Страсть какая!

Второй стрелец. У иных есть и рыжие бороды.

Павлуха. А вот я в тебя пуцу ковшом, так ты и не будешь вперёд мигать да на меня указывать. Ты думаешь, я пьян, так и не примечу, что ты над моей бородой тешишься. Смотри, Егорка!

Пятый стрелец. Не мешай, Павлуха! дай ему досказать.

Второй стрелец. И начал Гадин с лукавыми разговаривать, а они в один голос закричали: у нас в избе есть третий человек. Матвеев вскочил, взглянул за печку и хватить Захарку за волосы. Вытащил его, стянул с него шубу и так ударил оземь, что переломил ему два ребра. Потом принялся топтать его и выкинул за-мертво из горницы. За это, да ещё за то, что с Гадиным замышлял он, злодей, испортить покойного царя Фёдора Алексеича, что и в ссыл-

ку послали[28]. Подлинно: велико ещё к нему было милосердие за старые его службы. Сжечь бы его, чернокнижника!

Пятый стрелец. Нет, товарищ, не грехи: всё это наговорили на Матвеева его злодеи. Ещё покойный царь Фёдор Алексеич по его челобитным увидел, что он сослан безвинно, велел ему с Мезени, куда его отправили с сыном из Пустозерска, переехать в Лухов и пожаловал ему вотчину в 700 дворов. Похож ли Матвеев на чернокнижника? Нет, брат, он истинно православный христианин. При покойном царе Алексее Михайлыче не было боярина сильнее его, а сделал ли он хоть кому-нибудь *какое дурно*? Все любили его, как отца родного. Я был ещё мальчишкой лет двенадцати, и как теперь гляжу на ветхий дом Матвеева, неподалёку от Николы в Столпах. Царь часто бывал в гостях у боярина и приказывал ему несколько раз перестроить дом на счёт царской казны; но Матвеев отговаривался и обещал напоследок дом перестроить, только не на счёт казны, а на свои деньги. Понадобился под дом камень. На грех, в целой Москве не случилось тогда ни одного камеш-

ка продажного. Что делать? Боярин призадумался. Вдруг на другой день на двор к нему телега за телегой; глядь — все с камнями. Боярин вышел на крыльцо и спрашивает: откуда и кто прислал? Тогда выборные из стрельцов да из торговых и посадских людей подошли к боярину и ударили челом. Мы слышали, молвили они, о твоей нужде, боярин, и *кланяемся тебе камнем*. Боярин сказал им спасибо и не хотел принять камня. Я-де могу купить. Но они молвили: «Мы привезли камень с могил отцов и дедов наших; не продадим ни за какие деньги, а дарим тебе, нашему благодетелю». Боярин, видя их такую любовь, заплакал и начал их обнимать. Тотчас же поехал к царю и спросил: как быть? Царь приказал ему принять подарок. «Видно-де народ тебя любит, когда с могил отцов сиял для тебя камень. Такой подарок и мне бы любо было принять от народа».

Первый стрелец. Всё так! Да зачем он питомицу-то свою за царя сосватал; без того её роденьке не бывать бы в чести. Не стали бы Нарышкины царевича Ивана Алексеича изводить, нашу гибель замышлять, новые по-

шлины выдумывать, задерживать наше жалованье, в праздничные дни заставлять православных работать и обижать встречного и поперечного.

Пятый стрелец. Что правда, то правда. Всякое худо по их приказу делается, хоть они и таятся. Шила в мешке не утаишь. Народ-то стал ныне подогадливей. Да недолго им праздновать; будет и на нашей улице праздник. Икона Знаменья Божией Матери их скоро покарает.

Молодой стрелец. Что это за икона, дядя Савельич?

Пятый стрелец. Неужто ты не знаешь? Правда, где тебе и знать! В Москве только с Юрьева дня, а прежде всё жил в захолустье.

Молодой стрелец. Расскажи, дядя, пожалуйста, какая икона Нарышкиных-то покарает?

Пятый стрелец. Бывал ли ты в соборной церкви Знаменского монастыря?

Молодой стрелец. Был раза два.

Пятый стрелец. Был, так верно видел и икону. Эту церковь ещё при царе Алексее Михайловиче поновил боярин Иван Михайло-

вич Милославский. Он этой церкви давнишний вкладчик. Там местной образ Знаменья Божией Матери, украсил он окладом, жемчугом и самоцветными каменьями. Лет с десятков назад, в Николин день, подошла после обедни к образу кликуша. Народу в церкви было ещё очень много. «Послушайте меня, православные! — закричала она. — Не потерпит Знаменье Пресвятой Богородицы, чтобы Нарышкины были выше старинных бояр; придёт время, пропадут Нарышкины, пропадут во веки веков, аминь!». Потом кликуша завизжала и повалилась на пол. Её вынесли из церкви и положили на землю у паперти. Все думали, что она умерла, и поскорее разошлись от беды. На другой день по всему городу искали кликушу сыщики. Сгибла да пропала, словно на дно канула! Тогда только и речей было по всей Москве, что об этом. С тех пор всякий, кого обидят Нарышкины, непременно отслужит молебен иконе в Знаменском соборе. Видно, дошли чьи-нибудь молитвы: всем Нарышкиным туго приходит.

Первый стрелец. А что, разве про них что-нибудь уж приказано?

Пятый стрелец. Приказу ещё нет, а велено быть готовым. Иван Андреевич Толстой и братец его подарили нам бочки-то для того, чтоб мы не робели. Чего робеть? закричал я: ведь мы за правое дело вступаемся! Только бы ваша милость не оробела, а стрельцы-молодцы рады с чёртом подраться!... Аль ослеп ты, Павлуха, что на меня набрёл? Экой олух!

Павлуха. А ты зачем на дороге стал? Мало тебе места-то? Еду не свищу, а наеду не спущу!

Пятый стрелец. Да ты не едешь, а идёшь. Эк тебя бросает в стороны! Ой, ты горе-богатырь! Выпил ковш, да уж и глаза вытаращил.

Павлуха. Ковш? нет, брат, не один ковш, а с полдюжинки наберётся. Вишь расхвастался! Ты думаешь, что я и выпить не умею. Выпьем-ста не хуже тебя, да ещё и голубца по нитке пройдем.

Первый стрелец. Светает, ребята! Не пора ли по избам?

Второй стрелец. Неужто ты спать хочешь? Этакая баба! Пировать, так пировать всю ночь напролёт. Вот, взглянь на Павлуху — молодец! перешёл уж к другой бочке. Лежит, а

не спит; знай наливают!

Восходящее солнце осветило пирующих. Многие, успев уже подкрепить себя сном, принялись снова за ковши, разговоры и песни. Вдруг у главной съезжей избы раздался звук барабана.

Третий стрелец. Бьют сбор! Побежим, ребята!

Четвёртый стрелец. Вставай, Павлуха!

Павлуха. Куда вас леший несёт?

Четвёртый стрелец. Разве ты не видишь, что все бегут к главной избе? Ведь сбор бьют.

Павлуха. И рад бы в рай, да грехи не пускают! *(Силится встать, но опять падает подле бочки)*. Беги без меня, куда надобно, а я останусь здесь да сам ударю сбор. *(Начинает кулаком барабанить по дну бочки)*.

Четвёртый стрелец. Эк нарезался, проклятый! Видно, дело без тебя обойдётся. Прощай! *(Убегает)*.

Павлуха. Ай да Федька! Конь бежит, земля дрожит! Словно с цепи сорвался! И я бы победжал, кабы пьян не лежал. Видно, до Нарышкиных добираются. Вот я вас, Хамово поколение, один всех перережу!

Сбежавшиеся у главной избы стрельцы увидели полковников Петрова и Одинцова, подполковника Циклера, пятисотенного Чермного, стольника Ивана Толстого, дворян Сунбулова и Озерова. Трое последние одеты были в стрелецкое платье.

— Товарищи! — закричал Циклер. — Москва и всё русское царство в опасности! Лекарь фон Гаден признался, что он, по приказанию Нарышкиных, поднёс покойному царю яблоко с зельем. Они же, Нарышкины, (придумали на поминках по царе угостить всех вас, стрельцов, вином и пивом, и всех отравить. Они замышляют убить царевича Ивана Алексеевича. К ружью, товарищи! Заступитесь за беззащитного! Царевна Софья Алексеевна наградит вас.

— Смерть Нарышкиным! — закричали стрельцы и бросились в свои избы за оружием. Вскоре они собрались опять на площади, с ружьями и секирами, некоторые же с копьями. Сабель не взяли с собою, по приказанию заговорщиков, которые сочли сабли излишнею тягостию.

— Обрубите покороче древка у секир, това-

рищи! — закричал Циклер;— С длинным древком секирою труднее рубить головы изменникам!

Приказ был немедленно исполнен. Стрельцы вмиг обрубили древки: один у другого. Стук секир смешался с криком: «Смерть изменникам!».

В это самое время на площади появились два всадника, скачущие во весь опор. Это были Александр Милославский, племянник боярина Ивана Михайловича и стольник Пётр Толстой. Остановясь пред главною избою, они сказали несколько слов с Циклером и прочими заговорщиками.

— Стройтесь в ряды! — закричали Циклер, Петров и Одинцов. Когда стрельцы исполнили приказание, Милославский и Толстой поехали мимо рядов их. «Сегодня 15-е мая, — кричали они, — сегодня зарезан был в Угличе царевич Димитрий. Сегодня Нарышкины удушили царевича Ивана Алексеевича! Отмстите кровь его и спасите святую Русь!».

Стрельцы в ярости замахали Секирами и воскликнули: «Умрём за святую Русь!». Когда шум прекратился, Циклер, сев на лошадь,

подъехал к Милославскому, развернул свиток бумаги и, обратись к стрельцам, сказал: «Вот имена изменников и убийц царевича!». Потом он, Милославский и Толстой, объехав ряды стрельцов, останавливались пред каждою сотнею и повторяли имена жертв, обречённых на гибель. Съехавшись опять пред главною избою, Циклер закричал:

— Грамотные, вперёд!

Из рядов двенадцатитысячного войска отделились семь человек. По данному знаку они приблизились к Циклеру и получили от него, Милославского и Толстого списки, приготовленные для стрельцов по приказанию боярина Милославского.

— Смотрите же, — сказал Циклер, — смерть всем убийцам и изменникам, которые в списках означены; чтоб ни один не уцелел!

Стрельцы возвратились со списками на места свои. В это время полковники Петров и Одинцов, верхом, выехали из-за угла одной из съезжих изб. За ними везли пушки и пороховые ящики. Все заговорщики, сев на лошадей, поехали к Знаменскому монастырю. За ними пошло и всё войско при шумных восклицани-

ях. Отслужив молебен, заговорщики вынесли из церкви икону Знамения Божией Матери и чашу святой воды. Стрельцы преклонили оружие пред образом, перекрестились, ударили в барабаны тревогу, подняли знамёна и двинулись к Кремлю.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

*И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протёкшей славы, -
Лишь груды тел...
Батюшков.*

Вместе с восходом солнца Матвеев, Нарышкин и Долгорукий явились во дворец. Вслед за ними, по приглашению царицы, приехали родитель царицы Кирилл Полиевктович Нарышкин, князя Григорий Григорьевич Ромодановский, Михаил Алегукович Черкасский и другие преданные ей бояре. Боль-

шая часть из них, ожидая с часу на час, что пламя бунта вспыхнет, надели под кафтаны латы. Патриарх уведомил царицу, что он занемог и не в силах не только заниматься какими-либо государственными делами, но и встать с постели. Совещание продолжалось несколько часов, и после жарких споров и рассуждений все согласились с мнением князя Михаила Юрьевича Долгорукого. Царица поручила Матвееву съездить немедленно к патриарху, спросить об его здоровье, уведомить о мерах, какие принять было положено, и испросить его благословение.

Едва Матвеев вышел из комнаты, раздался отдалённый громовой удар.

— Что это значит? — сказала царица. — Утро такое ясное, на небе ни одного облачка, неужели это гром?

Князь Черкасский подошёл к окну, посмотрел во все стороны и приметил на юге густую тучу, которая быстро поднималась из-за горизонта.

— Сбирается гроза, государыня! — сказал он.

— Верно, убьёт меня молния! — шепнул

князь Долгорукий сидевшему подле него Ивану Кирилловичу Нарышкину. — Мне снилось сегодня ночью, что пророк Илия на огненной колеснице взял меня с собою на небо. После этого сна я до сих пор не могу прийти в себя и чувствую какую-то непонятную тоску. Это даром не пройдёт: уж что-нибудь да будет со мною!

— И, полно, Михаил Юрьевич! — возразил вполголоса Нарышкин. — Куда ночь, туда и сон! Неужто ты снам веришь?

Между тем царица отошла к окну и о чём-то тихо разговаривала с своим престарелым родителем. Все бывшие в зале бояре также встали с мест своих и в почтительном молчании смотрели на царицу.

Вдруг отворилась дверь. Матвеев вошёл поспешно в залу. На лице его заметно было беспокойство, которое он напрасно скрывать старался. Взоры всех обратились на него, и царица спросила:

— Что ты, Артемон Сергеевич?

— Боярин князь Фёдор Семёнович Урусов с подполковниками Стремянного полка Горюшкиным и Дохтуровым попался мне на

лестнице. Они говорят, что стрельцы из слобод своих рано утром вступили в Земляной город, оттуда двинулись в Белый; в Китай-городе остановились у Знаменского монастыря и скоро подойдут к Кремлю. Я приказал как можно скорее запереть все кремлёвские ворота.

— Хорошо, если успеют — сказал Долгорукий. — А на всякий случай я прикажу около дворца построиться Сухаревскому полку в боевой порядок.

Долгорукий сошёл в нижние покои дворца, велел бывшему там пятидесятнику Борису, с своею полсотнею стрельцов, выйти на площадь и ударить сбор; а Бурмистрова, который там же ожидал приказаний князя, отправил верхом к полковнику Кравгофу с повелением, чтобы он поспешил с своим Бутырским полком к Красному крыльцу. Отряд Борисова вышел на площадь. В это самое время поднялся сильный вихрь, и вой его соединился с ударами грома, которые почти ни на миг не умолкали.

— Бей сбор! — закричал Борисов барабанщику.

Сокрытые около дворца в разных местах стрельцы Сухаревского полка не могли слышать звуков барабана при шуме жестокой бури, столь неожиданно поднявшейся.

Долгорукий, войдя опять в залу, начал говорить царице о сделанных им распоряжениях. В это самое время растворилась дверь, ведущая в комнаты царя Петра и царевича Иоанна, и вошёл вместе с ними в залу Кирилл Полиевктович. Царица поспешно приблизилась к своему сыну, крепко обняла его и залилась слезами.

Вдруг на Ивановской колокольне раздался звук колокола.

— Что это значит? — сказал князь Черкасский, подходя к окну. Сильный удар грома заглушил унылый звон колокола. Гром стихнул, но звон продолжался, мешаясь с невнятными криками, раздававшимися на площади, и с барабанным боем.

— Они уже у Красного крыльца! — воскликнул Черкасский.

— Кто? бунтовщики? — спросил Долгорукий, вынимая саблю. — Не ошибаешься ли ты, князь? Может быть, это Сухаревский

полк?

— Посмотри сам. Вон как машут они секирами! Чу, как кричат! Слышишь ли?

— Я уйму их! — сказал Долгорукий и подошёл к двери: но царица остановила его, ужасаясь мысли, что с появлением князя начнётся на площади кровопролитие.

— Позволь, Михаил Юрьевич, — сказала она, — чтобы Артемон Сергеевич вышел первый на крыльцо и постарался уговорить мятежников. Надобно узнать, чего они требуют. Может быть, не нужно будет проливать крови... Боже мой!... крови русских!

Долгорукий отошёл от двери, приблизился к князю Черкасскому, смотревшему в окно, и крепко стиснул в руке рукоять своей сабли от негодования, увидев мятежников, окруживших со всех сторон Красное крыльцо густыми толпами.

— Смотри, смотри, Михаил Юрьевич! — закричал Черкасский. — Ога ломают на крыльце решётки и перила!

— Государыня! — сказал вошедший в залу подполковник Дохтуров, — меня послал к тебе Артемон Сергеевич. Мятежники думают,

что царевич Иван Алексеевич убит, и требуют выдачи его убийц.

Покажи им царя и царевича. Может быть, они успокоятся, — сказал Наталье Кирилловне отец её.

Царица взяла за руку Петра и Иоанна и вывела на Красное крыльцо. Толпа стрельцов, взбежав на ступени, окружила царицу.

— Ты ли царевич Иван? — спрашивали они.

— Я! — отвечал царевич трепещущим голосом. — Успокойтесь, меня никто не обижал и обижать не думал.

— Ой ли? — сказал один из стоявших подле него стрельцов гигантского роста. — Слышите ли, ребята? — закричал он. — Царевич сам говорит, что ему никто *никакого дурна* не делал! Не идти ли нам по домам?

В ответ на эти слова раздался на площади громкий крик. Бывшие на крыльце стрельцы сошли на площадь. Все кричали, но нельзя было слышать ни одного слова. Царица с сыном своим и царевичем Иоанном возвратилась во дворец, а Матвеев сошёл с крыльца и, воспользовавшись минутою, когда шум

утих несколько, начал говорить:

— Я не узнаю в вас, братцы, прежних стрельцов. Вы были всегда храбрыми воинами и верными слугами царскими. Я сам в старину был вашим головою и всегда любил вас, как родных детей. Послушайтесь моего совета. Я не верю, чтобы вы сами захотели покрыть себя вечным позором и восстать против вашего законного царя: верно, подучили вас злые и коварные люди. Не слушайте их: они вас обманывают. Они сказывали вам, что царевич Иван Алексеевич убит, а вы видели сами, что он жив и здоров. Неужели кто-нибудь из вас захочет погубить навеки душу свою? Нет, братцы! Вспомните Бога, вспомните час смертный! Дадите ли вы добрый ответ на страшном суде Христовом, когда наругаетесь над крестом Спасителя, который вы целовали с клятвою служить верой и правдой царю Петру Алексеевичу? Успокойтесь, возвратитесь в ваши слободы и докажите, что вы все те же храбрые и верные царю стрельцы.

— Кажись, боярин-то дело говорит! — шептали многие из стрельцов друг другу.

— По домам, ребята! — закричало несколь-

КО ГОЛОСОВ.

Матвеев, обрадованный действием своего увещания, вошёл во дворец и сказал царице, что стрельцы, по-видимому, успокаиваются. Но едва успел он удалиться, раздался в толпе чей-то голос:

— Нарышкины убьют не сегодня, так завтра царевича Ивана! Тогда где мы возьмём другого царя! Поневоле останемся при младшем брате! А тогда Нарышкины пуце возьмут волю и всех стрельцов перевешают, Иван Нарышкин вчера надевал на себя царскую порфиру и похвалялся своими руками удушить царевича!

— Смерть Нарышкиным! — воскликнули тысячи голосов. — Во дворец! Режь изменников!

Стрельцы бросились толпами к Красному крыльцу, но вдруг остановились, увидев на нём князя Михаила Юрьевича Долгорукого с поднятою саблею.

Все притихли. Долгорукий сошёл с лестницы.

— Бунтовщики! изменники! — закричал он. — Голова слетит с плеч у первого, кто

осмелится хоть одною ногою ступить на это крыльцо! Слушайте меня! Молчать, говорю я вам!... Что? Меня не слушаться?... Вели стрелять! — продолжал он, обратясь к Борису, стоявшему с своею полсотнею по левую сторону Красного крыльца.

— Подыми мушкет ко рту! — закричал Борисов. — Содми с полки! Возьми пороховой зарядец! Опусти мушкет книзу! Посыпь порох на полку! Поколоти немного о мушкет! Закрой полку! Стряхни! Содми! Положи пульку в мушкет! Положи пыж на пульку! Вынь забойник! Добей пульку и пыж до пороху!

Оставалось только закричать: «*Приложися! Стреляй!*» Но стрельцы, воспользовавшись продолжительною командою того времени, успели предупредить Борисова. Оглушённый ударом ружейного приклада по голове, он упал без чувств на землю, а стрельцы его, видя невозможность защищаться против превосходной силы, разбежались.

Мятежники после этого бросились на Долгорукого. Сабля его сверкнула, и голова стрельца, который первый подбежал к нему и замахнулся на него секирою, полетела на зем-

лю.

— Силён, собака! — закричал, остановясь шагах в двадцати от князя, один из бунтовщиков, бежавших вслед за первым стрельцом. Товарищи его также остановились, издали грозя Долгорукому секирами.

— Ну, что стали, лешие! — крикнул десятник. — Одного струсили!... Вперёд!

— погоди, я его разом свалю! — сказал стрелец, целясь в князя из ружья.

Раздался выстрел, пуля свистнула, но, попав вскользь по латам князя, которые были на нём надеты под кафтаном, отскочила в сторону и ранила одного из бунтовщиков.

— Что за дьявольщина! — воскликнул десятник. — И пуля его не имёт, а бьёт наших же!

— За мной, ребята! — закричал пятисотенный Чермной, бросясь на Долгорукого с толпою мятежников.

— Тьфу ты; черт! Ещё срубил одному голову! — воскликнул один из стрельцов, бежавших за Чермным, остановясь и удерживая своего племянника. — погоди, Сенька, не суйся прежде дяди в петлю. Авось и без нас сла-

дят с этим лешим!

— Посмотри-ка, дядя, посмотри! как он саблей-то помахивает. Вон, ещё кого-то хватил, ажно секира из рук полетела!

— Нечего сказать, славно отгрызается. Да погоди, ужо, не отбоярится! Что это? Он сам бросил саблю!

Долгорукий, видя, что ничто не может удержать мятежников, кинул саблю и закричал окружавшим его со всех сторон стрельцам:

— Не хочу долее защищаться и проливать кровь напрасно. Во всю жизнь мою я старался делать вам добро и любил вас, как отец. Не хочу пережить позора, которым вы себя покрываете. Вы хотите изменить вашему законному государю, забываете, что целовали крест Спасителя с клятвою служить царю верой и правдой. Делайте, что хотите: за всё дадите ответ Богу. Предаю вас праведному суду Его. Я вас любил, как детей, — убейте вашего отца!

— Дядя! на что Чермной кафтан-то с князя снимает? — спросил Сенька своего дядю, который всё стоял на прежнем месте, держа за

руку племянника.

— Ба, ба, ба! под кафтаном у него латы! Ах он, еретик проклятый! Вот так, долой латы, без них легче!

— Взглянь-ка, дядя, он стал теперь ни дать, ни взять, Рында: весь бел, как снег; никак, на нём атласное полукафтанье. Ну, потащили голубчика! Куда это?

— Вишь ты, на Красное крыльцо. Ай да молодцы, наша братья стрельцы!

Втащив Долгорукого на крыльцо, изверги сбросили его на копья. Кровь несчастного князя потекла ручьями по длинным древкам копий и обагрила руки злодеев. Сбросив его на землю, они принялись за секиры и вскоре с зверским хохотом разбросали разрубленные его члены в разные стороны.

Между тем отряд мятежников ворвался во дворец чрез сени Грановитой палаты. Вбежав в комнаты царицы и, наконец, в её спальню, злодеи увидели Матвеева.

— Хватайте этого изменника! Тащите, ребята! — закричал сотник.

— Не троньте моего второго отца! — воскликнула царица, схватив Матвеева за руку.

— Ну, что вы стали, олухи! — крикнул сотник. — Что вы на неё смотрите? тащите, да и только!

— Просите какой хотите награды, только не убивайте его. Что он вам сделал, безжалостные! Лучше меня убейте.

— Ну, ну, ребята, проворнее! Хватайте и тащите изменника. Делайте, что велено. Не робейте.

— Прочь, изверги! — закричал князь Черкасский бросаясь с саблей к мятежникам, и вырвал из рук их Матвеева, которого они вытащили уже из спальни царицы в другую комнату.

Не раздражай их, князь Михаил Алегукович, и не подвергай самого себя опасности. Пускай они убьют меня одного, я не боюсь смерти. Во всю жизнь я помнил о часе смертном, я готов умереть.

— Нет, Артемон Сергеевич, жизнь твоя ещё нужна для царя и для счастья отечества... Прочь, изменники! Не выдам его! Разрублю голову первому, кто подойдёт к нам.

— Ребята, приткните его пикой к стене! — закричал сотник. — Не в плечо, не в плечо,

Федька! пониже-то, в левый бок норови! Вот так!

Черкасский, раненый в бок подле самого сердца, упал. Злодеи, схватив Матвеева, вытащили его на Красное крыльцо. Приподняв и показывая боярина толпящимся внизу сообщникам своим, закричали они: «Любо ли вам?»

В ответ раздался крик: «Любо, любо!» — и боярин, столько любимый некогда стрельцами и народом, друг покойного царя Алексея Михайловича и воспитатель матери царя Петра, полетел на острые копыя.

— Во дворец! — закричали злодеи. — Ловите прочих изменников!

С этими словами толпа стрельцов, опустив копыя, взбежала на Красное крыльцо и рассеялась по всему дворцу. Трепещущая царица, проливая слёзы, удалилась с сыном своим и царевичем Иоанном в Грановитую палату. Бояре, князь Григорий Григорьевич, сын его Андрей Ромодановские, подполковники Горюшкин и Дохтуров пали под ударами секир. В одной из комнат дворца скрывался стольник Фёдор Петрович Салтыков. Мятежники схватили его.

— Кто ты? — закричал один из стрельцов, приставя острие копья к его сердцу. — Молчишь? Отвечай же! Афанасий Нарышкин, что ли, ты? А! видно, язык не ворочается, — так вот тебе, собака!

Обливаясь кровью, Салтыков упал на пол.

— Боже милосердый! Сын мой! — воскликнул боярин Пётр Михайлович Салтыков, войдя в комнату и бросясь на окровавленный труп своего сына.

— Сын твой? — сказал заколовший его стрелец. — А я думал, что он Афанасий Нарышкин.

— Дал ты маху, Фомка! — сказал десятник, — кажись, в списке нет Салтыковых. Дай-ка справлюсь.

С этими словами вытащил он из-за кушака список и начал читать по складам.

— Так и есть. Сына-то нет, а батюшка тут. Приколи его! Вишь, больно вопит по сыне: жаль бедного!

Рыдающий старец, обнимая убитого сына, ничего не слышал из разговора стрельцов. Удар секиры, разрубивший ему голову, прекратил его страдания.

— Нам ещё есть над кем поработать! — сказал десятник, заткнув за кушак список. — Осталось ещё довольно изменников. Пойдём, ошарим все другие комнаты: не попадутся ли нам Иван да Афанасий Нарышкины. За их головы цена-то подороже, чем за все прочие, положена.

Переходя из комнаты в комнату и встречаясь почти в каждой с другими стрельцами, искавшими своих жертв, десятник увидел наконец спрятавшегося под столом придворного карлика, который, скорчась от страха, прижался к самой стене.

— Эй, ты, кукла! не знаешь ли, где Иван и Афанасий Нарышкины?

— А что дашь, если скажу? — сказал карлик, с притворной смелостью выступя из-под стола.

— Да вот дам тебе раза секирой по макушке.

— Ну-тка дай! Меня-то ничем не убьёшь и не заколешь, а тебя самого скорчит в три дуги. Разве ты не знаешь, что все карлики — колдуны?

— Ах ты, чучело! похож ли ты на колдуна?

Вот я тебя угомоню!

— Ну, попробуй! Ударь меня не только секирой, хоть щелчком; тебя разом скорчит.

Стрелец хотел ударить карлика кулаком по голове, но вдруг кулак его разогнулся, и он потрепал колдуна-самозванца по плечу.

— Ты, как Я вижу, мал да удал! Ну, что ссориться с тобою!

— Ага, струсил! Вот так-то лучше!

— И вестимо лучше! Если ты в самом деле колдун, так знаешь всю подноготную и, верно, укажешь нам, куда запрятались эти изменники? А не укажешь, так я не побоюсь твоего колдовства: велю пришибить, похороним, да кол осиновый вколотим в спину. Не бойсь, будешь лежать смирнёхонько! Говори же, где Нарышкины?

— Иван близко от вас, чуть ли не в этой комнате. Только вам не найти его. Найдут его другие. А Афанасий спрятался в дворцовой церкви Воскресенья на Сенях.

— Пойдём туда! Если ты нас обманул, так осинового кола тебе не миновать! А откуда ты родом, как твоё прозвание и давно ли попал в придворные? — спросил десятник карлика.

— Родился я неподалёку от Москвы, зовут меня Фомою Хомяком, а в придворные карлики при царице определил меня брат её, Афанасий Кириллович.

— Тот самый, который теперь спрятался в церкви?

— Да.

— Не жил ли ты прежде в здешней богадельне? — спросил один из стрельцов. — Я тебя, кажись, там видал.

— Жил, — отвечал карлик.

— Где ж ты колдовству-то обучился, — продолжал стрелец, — неужто в богадельне?

— Колдовству меня обучил покойный дед мой, а в богадельню я вступил только для того, чтобы позабавиться. В две недели я пораспугал там всех: и хромые, и безрукие, и слепые — все разбежались. То-то уж мне сделалось просторно. Хожу, бывало, из горницы в горницу один-одинёхонек да посвистываю. Раз царица с Афанасием Кирилловичем приехала осмотреть богадельню. Он увидел меня и смекнул: на что-де такому малому человеку одному этаким большой дом? «Хочешь ли ты в придворные?» — спросил он меня. «Хо-

чу», — отвечал я. На другой день он приехал за мною, увёл во дворец, — и с тех пор служу я при комнатах царицы.

— Не ложь, так правда! — сказал стрелец. — Моя тётка живёт лет с тридцать в богадельне, а ни один колдун оттуда её ещё не выживал. Она мне рассказывала, что царица взяла тебя к себе по просьбе Афанасья Нарышкина, сжалясь над твоим убожеством.

— А вот увидим! — подхватил десятник. — Покажет ли нам этот колдунишка кого нам надобно? Вот, кажется, дверь в церковь. Коли ты нас обманул, так я тебя за ноги, да и об угол!

Один из стрельцов отыскал пономаря и велел ему отпереть церковь. Пономарь хотел сказать что-то в возражение, но поднятая над головою секира заставила его замолчать и исполнить приказанное.

Афанасий Нарышкин, брат царицы, был комнатным стольником[29]. Он отказался от боярства; слишком скромно думая о себе и не доверяя своим мнениям, он не хотел мешаться в дела Государственной Думы. Благотворительность была первая потребность души его,

цель его жизни. Услышав, что стрельцы везде его ищут, чтобы предать мучительной смерти, он поспешил к священнику церкви Воскресения на Сенях, некогда им благодетельствованному, и просил таинства исповеди и причастия приготовить его к вечности. Священник убедил его, почти принудил скрыться, не теряя ни минуты, в церкви, под престолом. Придворный карлик, проходя мимо церкви и увидев входивших в неё Нарышкина и священника, подсмотрел, что только один из них вышел оттуда и запер церковные двери.

Вдруг среди тишины, царствовавшей в храме, Нарышкин слышит у дверей шум. Ключ два раза щёлкнул — и тяжёлая дверь закрипела, медленно поворачиваясь на железных петлях. Кто-то вошёл в церковь. Он слышит голос: «Показывай же нам его! где он спрятался?» Другой голос отвечает: «Уж я тебе говорю, что он здесь. Велика поставить у окон и дверей часовых».

По шуму шагов Нарышкин мог заключить, что целая толпа ищет его по церкви.

— Смотри ты, колдунишка, если мы его не

сыщем — беда тебе! — сказал один голос. — Осталось только один алтарь обыскать.

Нарышкин слышит, что северные двери отворяются, и несколько человек входят в алтарь.

— И здесь его нет! — говорит голос. — Что, колдунишка, струсил? Вот мы тебя, обманщика! Нет ли разве под престолом изменника? Сунь-ка туда пику, Фомка! Авось голос подаст!

Нарышкин, удерживая дыхание, слышит, что пика проткнула парчовый покров престола. Слегка шаркнув по кафтану Нарышкина, она вонзилась в пол.

— Кажись, никого нет! — сказал голос. — Не приподнять ли покров пикой да не взглянуть ли под престол-то?

— Загляни! — закричал другой голос. — Ба, ба, ба! сот он где, изменник! Тащите его оттуда!

Беззащитного Нарышкина схватили. Он не сказал ни слова своим убийцам, не произнёс ни одного жалобного стона. Когда его выносили из алтаря, он взглянул на образ Воскресения Христа, стоявший за престолом, вздохнул, закрыл глаза — и душа его погрузилась в

жаркую, предсмертную молитву. Преддверие храма Божиего обращено было в плаху. Секиры злодеев пролили кровь невинного. Разрубленное на части тело Нарышкина изверги сбросили на площадь пред церковью.

— Пойдём теперь отыскивать Ивана Нарышкина! — сказал десятник, подняв на плечо секиру, с которой капала ещё кровь. — Скажи-ка нам, колдун, где он?

— Я знаю, где он, но если и скажу, то всё вам не найти его! — отвечал карлик.

— А почему так?

— Да так; не найти, и только!

— Заладил одно: не найти! Скажи нам только, где он. Поищем, не сыщем — беда не твоя. Без того я тебя не отпускаю! Гришка! Возьми его за ворот!

— Смотри, Фома — не знаю, как по батюшке — не скорчи меня, пожалуйста! — сказал Гришка. — Мне приказано взять тебя за ворот, а сам бы я тебя волоском не тронул.

— Не ты велел, так и беда не твоя.

— Ну, ну, отпусти уж его, пострела! — сказал десятник, когда он со стрельцами и карликом вышел из дворца. — Ступай на все че-

тыре стороны, да не поминай нас лихом!

— Счастлив ты, что меня отпустил. Задержи ты меня ещё хоть немножко, я бы тебя так испортил, что никакая ворожея не помогла бы тебе!

— Ну, полно гневаться! Да не испортил ли уж ты меня, скажи по правде. Не сгуби понапрасну!

— То-то, не сгуби! Ты уж вполовину испорчен. В дугу тебя не сведёт, а только через два дня ты кликать начнёшь; залаешь по-собачьему, захрюкаешь по-свиному и заквакаешь по-утиному. Недели две или три без умолку пролаешь, прохрюкаешь да проквакаешь, а после ничего: тем всё и кончится.

— Неужто? — воскликнул с ужасом десятник. — Фомушка, батюшка, отец родной, помилуй! Нельзя ли порчу как-нибудь исправить? Лёгкое ли дело три недели лаять, да к тому ещё хрюкать и квакать! Взмилуйся! А не взмилуешься, так, право, секирой хвачу. Пусть же не даром промучусь. Ну что ж такое! Хрюкать так хрюкать, коли на то пойдёт! Ведь не умру же от этого, а ты-то, чёртов сын, уж не воскреснешь. А всё-таки лучше, Фомуш-

ка, если б ты со мной помирился и порчу из меня выгнал. Разошлись бы мы с тобой приятелями, подобру-поздорову.

— Ну, ну, хорошо! Полно кланяться-то. Становись на колена.

Десятник с подобострастием исполнил приказание. Прочие стрельцы, окружив карлика и десятника, смотрели на первого с любопытством и страхом.

— Приложи правую ладонь к земле, — закричал колдун, — и зажмурь правый глаз! Правый, говорят тебе, а не левый! Зажмурь крепче, а не то окривеешь.

Десятник, опершись правою рукой о землю, смотрел одним глазом на карла с умоляющим видом.

— Теперь надобно выдернуть у тебя десять седых волос из бороды. Да смотри, не морщиться, а не то беда!

— Выдерни хоть две дюжины, отец родной, сколько угодно, только избавь от порчи!

— Больше десяти не нужно! Раз, два, три, ну, вот в четыре, пять, вот и шесть, семь, вот восемь... Ну, не хорошо, очень худо: больше нет седых-то, все чёрные!

— Ахти, мой батюшка, неужто нет? Поищи, кормилец! Не стуби меня, окаянного!

— Постой, постой! Вот, кажется, ещё седой волос — девять! Ну, а десятого, воля твоя, нет!

— Как не быть, батюшка! сыщется. Поищи, родимый!

— Говорят тебе, нет! Что ж мне делать! Вина не моя! Вот есть, и не один, с седым кончиком, да черт ли в них. Надобно, чтоб весь был седой.

— В усах-то погляди, отец родной, в усах-то нет ли?

— В усах! Что мне усы! Надобно из бороды.

— Этакая напасть какая! Поищи, почтенный, пожалуйста, постарайся.

— Правда, можно вместо одного седого выдернуть десять чёрных, если хочешь.

— Дёргай, кормилец мой, дёргай скорее: только порчу-то выгони!

Выдернув ещё десять чёрных волос карлик с важным видом свернул их в комок, поднёс ко рту, пошептал что-то и зарыл волосы в землю.

— Ну, ступай теперь. Да вперёд не ссорься с нашим братом.

Десятник в восторге вскочил, поклонился карлику в пояс и поспешно пошёл от него с своим отрядом, ворча про себя:

— Проклятый! Не будь он такой сильный колдун, так я изрубил бы его в мелкие кусочки! Пострел этакой! Бесёнок! Сам бы ты у меня заквакал, сам бы завизжал поросёнком под секирой! Я бы тебя!

Обыскав дворец, мятежники рассеялись по всей Москве, грабили дома убитых ими бояр и искали везде Ивана Нарышкина и всех тех, которые успели из дворца скрыться. Родственник царицы, комнатный стольник Иван Фомич Нарышкин, живший за Москвою-рекою, думный дворянин Илларион Иванов и многие другие были отысканы и преданы мучительной смерти.

Солнце явилось из-за туч на прояснившемся западе и осветило бродящих по Москве стрельцов и брошенные ими на площадях жертвы их ярости. Оставив в Кремле многолюдную стражу, мятежники возвратились в свои слободы.

*От ужаса ни рук не чувствую, ни ног;
Однако должно скрыть мне робость
ради чести.
Княжнин.*

Бурмистров, отправленный Долгоруким к Кравгофу, выехал из Кремля на Красную площадь и во весь опор проскакал длинную, прямую улицу, которая шла с этой площади к Покровским воротам. Проехав через них, он вскоре достиг Яузы и въехал в Немецкую слободу. По числу улиц и по виду деревянных домов она походила на нынешнее богатое село. В слободе были три церкви, одна кальвинская и две лютеранские. Остановись у дома Кравгофа и привязав у ворот к кольцу измученную свою лошадь, Бурмистров вошёл прямо в спальню полковника, который, затворив дверь и не велев слуге никого впускать к себе, курил тайком трубку[30]. Кравгоф был родом датчанин, но слыл в народе немцем, потому что в старину это название присваивали русские всем западным иностранцам. По его представлению Бутырскому полку дано было красное знамя с вышитою посредине крупны-

ми буквами надписью: «Берегись!» Он три недели выдумывал эту надпись и остановился на том, что нельзя лучше выразить храбрости полка и того страха, который он наносит неприятелю; но насмешники перетолковали выдумку его по-своему. Кравгоф-то, говорили они, велит своим поберегаться и не так, чтобы очень, храбриться.

— Князь Михаил Юрьевич Долгорукий прислал меня к тебе, господин полковник, с приказанием, чтобы ты шёл как можно скорее с полком ко дворцу.

— К творес? — воскликнул Кравгоф, вскочив со стула и проворно опустив трубку в карман длиннополого своего мундира.

— Да, ко дворцу. Восемь стрелецких полков взбунтовались.

— Мой не понимай, што твой каварит.

— Восемь полков взбунтовались, хотят окружить дворец, убить всех бояр, приверженных к царице, провозгласить царём Иоанна Алексеевича. Ради Бога, поскорее, господин полковник!

— Ай, ай, ай! какой кудой штук! А хто скасал марширофать с мой польк?

— Меня послал к тебе князь Долгорукий.

— Толгирукий? Гм! Он не есть мой на-
шальник. Еслип велес сарис, то...

— Помилуй, Матвей Иванович, ты ещё рас-
суждаешь, когда каждый миг дорог.

— Мой сосывать тольшен военный совет, а
патом марш.

— Побойся Бога, Матвей Иванович, это уж
ни на что не похоже. Есть ли теперь время ду-
мать о советах?

— Стрелиц не снает слюшпа, и патому так
утивлялся! Гей! Сеньке!

Вошёл Сенька, слуга полковника.

— Побеши х геспетин польпольковник, х
майор, х каптень, х порушик, потпорушик,
прапорщик, скаши, штоп все припешал ко
мне. Ешо вели свать отна ротна писарь.

Бурмистров, видя, что нет возможности
принудить упрямого Кравгофа к перемене
своего намерения, в величайшей досаде ото-
шёл к окну и, скрестив на груди руки, начал
смотреть на улицу. Через несколько времени
стали собираться приглашённые для военно-
го совета офицеры Бутырского полка.

Сначала вошёл майор Рейт, англичанин,

потом подполковник Биелке, швед, с капитаном Лыковым. Когда и все прочие офицеры собрались, Кравгоф приказал ротному писарю Фомину принести бумаги и чернилицу, пригласил всех сесть и сказал:

— Князь Толгирукий прислал вот этот косподин стрелица скасать, што восемь полък вспунгирофались и штоп наша полък маршко творса. Сарись не скасаль нишего. Натопнали марш?

— Господи, твоя воля! — воскликнул капитан Лыков. — Восемь полков взбунтовались! Да что же тут толковать? Пойдём, побежим драться, да и только!

— Косподин каптень! твой не тольшна каварить преште млатший официр! — воскликнул Кравгоф. — Косподин младший прапорщик, што твой тумает?

— Тотчас же идти ко дворцу и драться!

— Траться? Гм! Косподины все прошие прапорщик, што ви тумает?

— Драться! — отвечали в один голос прапорщики.

— А косподины потпорушики и порушики?

— Драться!

— А где ешо три каптень? Зашем вишу отин?

— Двое захворали, а один, как известно, в отпуске, — отвечал Лыков.

— А зашем нет рапорт о их полеснь?

— Есть, господин полковник! Я вчера подал, — сказал ротный писарь.

— Карашо!... Ну, а косподин Ликов, што твой тумает?

— Я думаю, что надобно дать время бунтовщикам войти в Кремль, окружить дворец и сделать, что им заблагорассудится, а потом идти не торопясь ко дворцу, взглянуть, что они сделали, и разойтись по домам.

— Твой смеет шутить, косподин каптень! Твой смеет смеяться! — закричал Кравгоф, вскочив со своего места. — Я твой велю сатить на арест.

— За что, господин полковник? Меня спрашивают: что я думаю? я должен отвечать.

— Твой кавариль сперва траться!

— Я и теперь скажу, что без драки дело не обойдётся и что надобно бежать ко дворцу, не теряя ни минуты.

— Мальши, каптень! Мой снает не хуше твой поряток. Косподин майор, што твой тумает?

— Я думаю, что тут нечего долго думать, а должно действовать! — отвечал сквозь зубы Рейт, довольно чисто говоривший по-русски; он давно уже жил в России.

— А твой што скашет, косподин польпольковник?

— Мой скашет, што в такой вашний дело нушно сперва тумать, карашенька тумать. Сперва план, диспозиция, а потом марш!

— Карашо, весьма карашо! Мой сокласна. Фомкин! Тай пумага с перо; я сделай тотшас план и диспозиция.

Выведенный из терпения медленностию Кравгофа, Бурмистров вскочил со своего места и хотел что-то сказать; но вдруг отворилась дверь, и вбежал прапорщик Сидоров, посланный ещё накануне полковником в Москву с каким-то поручением.

— Бунт! — закричал он. — Стрельцы убили князя Долгорукого и ворвались во дворец! Я сам видел, ка» несчастного князя сбросили с Красного крыльца на копыя и разрубили се-

кирами!

— Боже милостивый! — воскликнул Бурмистров, сплеснув руками. — Господин полковник, господа офицеры! Вспомните Бога, вспомните присягу! Пойдём против мятежников, защитим царя, или умрём за него!

— Умрём за царя! — закричали все, выхватив шпаги. Кравгоф и Биельке также вытащили из ножен свои мечи. Первый при этом воскликнул: «Да, да! Пудем все умереть!» Биельке прибавил: «Да, да! И мой пудет умереть!»

— Zounds![31] — заревел басом англичанин Рейт, бросаясь к дверям с обнажённою шпагой. В дверях столкнулся он с капралом Григорьевым.

— Где господин полковник? — спросил капрал.

— Што твой натошна? — сказал Кравгоф.

Капрал, вытянувшись перед ним, начал говорить:

— Всё солдаты нашего полка и с капралами разбежались. Теперь, я чаю, одни домовые остались в избах. Я хотел своих солдат остановить, спрашиваю: куда? — ничего не говорят, хватают ружья да бегут. Что прикажете де-

лать, господин полковник?

— Какой кудой штук, какой кудой штук! — повторял Кравгоф, ходя в беспокойстве взад и вперёд по комнате. Бурмистров, поклонясь полковнику и прочим офицерам вышел, сел на лошадь и поскакал в Кремль.

— Вон бежит по улице солдат с ружьём! — сказал Лыков. — Так бы и приколол бездельника!

— Где пешит? — сказал Кравгоф, приблизясь к растворенному окну. — Гей! сольдат! сольдат! Кута твой пешит?

Солдат взглянул на окно и побежал далее, не останавливаясь.

— Косподины офицер! — воскликнул Кравгоф. — Сольдаты вспунтирофались! Што стелать с пестельники? Сольдат не хошет каварить с комантир! О, я его наушаю наварить! Косподины офицер! што ваш тумает стелать?

— А вот я его заставлю говорить! — проворчал Лыков, выбегая из комнаты. Нагнав солдата, он остановил его, отнял ружьё и привёл, держа за ворот, к полковнику. Приставив к груди его шпагу, капитан закричал:

— Сейчас говори, бездельник, куда ты бежал и зачем? Если солжёшь, так я тебя разом приткну к стене.

— Виноват, батюшка! Помилуй! Скажу всю правду-истину! Вчера ходил у нас по избам какой-то дворянин, роздал много денег и обещал ещё два-эстолька, если мы заступимся за царевича Ивана Алексеича. Он сказал, что все стрельцы на стороне царевича и что когда они войдут в Кремль, то он пришлёт гонца за нами. Гонец приехал, мы и бросились в Кремль. Помилуйте, государи-батюшки! наше дело солдатское; солдат глуп: всему верит!

— Всему верит! — воскликнул Лыков. — Ах ты, злодей-мошенник! Видишь, каким простаком прикидывается. Разве ты забыл присягу? Целовал ли ты крест, чтобы служить царю Петру Алексеевичу верой и правдой?

— Целовал, батюшка, целовал!

— А что же ты теперь делаешь! Дали алтына четыре, так душу и продал сатане! Беги, куда бежал, мы тебя не держим. Стрельцы взбунтовались против царя, и ты бунтуй с ними вместе; стрельцы забыли Бога, и ты забудь. Беги, любезный, беги к ним, прямо к са-

тане в когти. Что ж ты стоишь? я тебя не держу...

— Да, да, пестельник! Твой путут садить на ад и шарить на горяч, красна калена сковорот! — сказал Кравгоф, думая, что он удачно подделался к простым понятиям солдата о вечных мучениях и сильно на него подействовал.

Солдат, поражённый словами капитана, почувствовал всю меру своего преступления, заплакал и упал к ногам его.

— Приколи меня, батюшка! — говорил он, всхлипывая. — Погубил я свою душу! Приколи меня, окаянного! Отрёкся я от Бога. Отцы мои родные, казните, расстреляйте меня!

— Нет; тебя расстрелять ещё не за что. Конечно, грех твой велик, но если раскаешься и загладишь вину свою добрым делом, то Бог простит тебя!... Чем бежать, прямо в когти сатане, пустись-ка лучше вдогонку за своими товарищами и уговаривай всех, чтоб, они не позорили имени русского изменой и не губили душ своих!

Солдат, обняв ноги капитана, вскочил. Лицо его сверкнуло радостью и мужеством.

— Побегу! — воскликнул он. — Стану уговаривать, чтобы образумились и стали грудью за царя. Не послушают, так штыком начну бунтовщиков усовещивать.

— Вот это дело, брат! — сказал Лыков. — И капитан твой побежит вместе с тобою на доброе дело.

— И мы все! — закричали офицеры.

— И ми! Да! И ми! — прибавили Кравгоф и Биельке.

— Идём! марш! — воскликнул громовым голосом Рейт, махая шпагою. — Смерть всем бунтовщикам и изменникам!... Это что за дьявольщина! — крикнул он, отворив дверь и увидев несколько солдат, стоявших в сенях.

— Стой! — закричали солдаты, прицелясь из ружей в Рейта. — Не велено никого пускать отсюда. Вокруг дома целая рота!

— Я уж как-нибудь пролезу! — закричал Лыков и бросился в двери. Рейт хотел удержать его за руку, но не успел. Усовещенный Лыковым солдат, бывший с офицерами в комнате, схватил ружьё своё и побежал за капитаном.

Несколько ружей прицелились в них, ко-

гда они из сеней вышли на улицу.

— Что вы, мошенники! — крикнул Лыков таким ужасным голосом, что вся окружавшая его толпа солдат вздрогнула. — Да как у вас рука-то поднялась прицелиться в меня, ваше-го капитана! Испугать меня вздумали? Не испугаете! Плюю я на смерть и на вас всех, бездельников. Видите ли, я вот стою, не бегу, не хочу даже и защищаться. Разбойники, что ли, вы, или православные солдаты? Ну, ну, кто из вас отдал душу черту, тот прикладывайся и пали в Лыкова. Бровь не поморщу, упаду с радостью на сырую землю за царя и правое дело. Что ж вы ружья-то опустили?... Видно, совесть заговорила?... Слушайте, ребята! Кто меня любит, тот сейчас поднимай на штык под-леца, который осмелится в капитана выстрелить. Спровадьте его подлую душонку прямо в ад, к сатане в гости. Ну, ну, что ж в меня никто не стреляет? Что?... Головы повесили, беспутые! Стыдно в глаза посмотреть мне, «вашему капитану. Ах вы, бараны безмозглые, вороны пустоголовые! Да что это вы затеяли? Какой злодей, какой дьявол вас натолкнул на такое богопротивное дело? Если б вы видели,

как моё сердце болит за вас! Жаль, куда мне жаль вас: вы до сих пор были brave солдаты, христиане православные. Эх! как жаль мне вас, солдатушки!... — Лыков прослезился.

— Виноваты! — заговорили некоторые. — Виноваты, отец наш, капитан! — подхватили многие голоса. — Виноваты! — крикнули наконец все солдаты в один голос. — Согрешили Богу и государю!

Лыков вмиг утёр слёзы, бодро и весело поднял голову и окинул глазами всех солдат, поправляя усы.

— То-то, виноваты! Велик ваш грех, но можно в нём покаяться — и всё дело поправить. Выкиньте дурь из головы да меня послушайте. Пойдёмте-ка унимать бунтовщиков. Коли согласны, так и я командовать начну. Смирно! Стройся!

Солдаты поспешно построились в ряды.

— На караул! Раз! Два! Гаркнем ура! да и марш!

— Ура! — крикнули единодушно солдаты.

— Спасибо, ребята! Теперь скорым шагом марш!

Вся рота двинулась за капитаном. Прочие

офицеры, бывшие в доме, последовали за нею. Но они пришли уже поздно в Кремль; на площади лежали одни жертвы; палачей уже там не было.

III

*Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовёт.
Пушкин.*

На другой день, шестнадцатого мая, рано утром, шёл отряд стрельцов по одной из главных улиц Белого города. Поравнявшись с домом князя Юрия Алексеевича Долгорукого, отца начальника стрельцов, убитого ими накануне, они остановились и начали стучаться в ворота.

Малорослый слуга отворил калитку и едва устоял на ногах от ужаса, увидев пришедших гостей.

— Дома ли боярин? — спросил один из них.

— Как не быть дома! Дома, отец мой! — отвечал слуга, заикаясь.

— Скажи боярину, чтоб он вышел на

крыльцо: нам до него есть нужда.

— Слушаю! — сказал слуга и побежал на лестницу.

Через несколько времени явился на крыльце восьмидесятилетний князь. Он был без шапки, и ветер развевал его седые волосы. Лицо старца выражало глубокую скорбь.

— Мы пришли к тебе, боярин, просить прощения, — сказал стрелец, стоявший впереди своих товарищей, — погорячились мы вчера и убили твоего сына!

— Бог вас простит! Я не стану укорять вас. Мне не воскресить уже сына!

— Спасибо тебе, боярин, что зла не помнишь! — сказал стрелец.

— Спасибо! — закричала вся толпа.

— Если же дать нам выпить за твоё здоровье и за упокой души твоего сына! — продолжал стоявший впереди стрелец. — У тебя, я чаю, погреб-то, как полная чаша!

Князь, не ответив ни слова, вошёл в свою спальню, сел у окна и приказал слуге отпереть для стрельцов свой погреб. Выкатив оттуда бочку, незваные гости расположились на дворе, потребовали несколько кружек и

начали пить. Малорослый слуга, отворивший им калитку, потчевал их и низко кланялся.

— Скажи-ка ты, холоп, старик-то вопил вчера по сыне? — спросил один из стрельцов.

— Как же, отец мой. Он лежал хворый в постели: а как услышал про своё горе, то стал на колена перед святыми иконами да так и облился слезами. — Присмотрев неудовольствие на лице стрельца, слуга примолвил: — Не то, чтобы с горя заплакал, а с радости. «Много ты мне стоил забот и кручины! — сказал он. Спасибо добрым людям, что тебя уходили!».

— Врёшь ты, холоп! Скажи всю правду-истину: что говорил боярин? Не то хвачу по виску кружкой, так и ноги протянешь!

— Виноват, отец мой, не гневайся, скажу всю правду-истину! — сказал дрожащим голосом слуга.

— Грозился ли на нас боярин?

— Грозился, отец мой.

— Ага, видно, щука умерла, а зубы целы остались! Что же говорил старый хрен?

— Говорил, отец мой, говорил!

— Тьфу ты, дубина! Я спрашиваю: что говорил?

— Щука умерла, а зубы целы остались.

— Вот что? Ах, он злое зелье! Чай, рад бы всех нас перевешать! Что он ещё говорил? — закричал стрелец, схватив слугу за шею.

— Взмилуйся, отец мой, ведь не я говорил, чтоб вашу милость перевешать.

— Как, разве он и это сказал?

— Не помню, отец мой! Ахти, мои батюшки, совсем задавил! Отпусти душу на покаяние! Тошнёхонько!

— Задавлю, коли не скажешь всей правды!

— Скажу, кормилец мой, скажу! Боярин говорил, что сколько на кремлёвских стенах зубцов, столько вас повесят стрельцов!

— Слышите ли, братцы, что старый хрен-то лаял? Постой ты, собака!

С этими словами опьяневший уже стрелец вскочил и бросился на крыльцо. За ним побежало несколько его товарищей. Схватив старца за седые волосы и вытащив за ворота, злодеи изрубили его и, остановив крестьянина, который вёз белугу на рынок, закололи его лошадь, отняли у него рыбу и бросили её на труп князя.

— Вот тебе и обед! — закричали они с захо-

том и побежали в Кремль.

В находившейся близ спальни царицы Натальи Кирилловны небольшой комнате, в которую вела потаённая дверь, родители царицы Кирилл Полиевктович и брат её Иван Кириллович, скрывшиеся туда накануне, придумывали средство выйти из дворца и тайно выехать из города; убежище своё, указанное им царицею, но многим из придворных известное, они не считали верным. Вскоре после рассвета пошли они в спальню Натальи Кирилловны, которая всю ночь провела в молитве. Иногда, переставая молиться, подходила она к стоявшей у стены скамье, обитой бархатом, и, проливая слёзы, благословляла сына своего. Одетый в парчовое полукафтаны, он спал, покоясь на изголовье, руками матери для него приготовленном. Трепеща за жизнь сына, она решилась уложить его в своей спальне и всю ночь охранять его. Вошедши тихонько к царице, родители её и брат сообщили ей своё намерение. Видя её беспокойство, они остались в её спальне почти до полудня, стараясь успокоить её советами и утешениями. Между тем проснулся Пётр Алексе-

евич, встал, помолился и начал также утешать свою родительницу.

— Стрелецкий пятисотенный Бурмистров просит дозволения предстать пред твои светлые очи, государыня! — сказала постельница царицы, вошедши в спальню.

— Бурмистров? Я сейчас выйду к нему, — сказала царица. — А вы, батюшка и братец, удалитесь в вашу комнату! Бурмистров до сих пор был предан моему сыну; но в нынешнее время на кого можно положиться?

Когда отец и брат царицы удалились, она вышла к Бурмистрову. Он низко ей поклонился и сказал:

— Государыня! я собрал почти всех стрельцов нашего полка и скрыл в разных местах около Кремля. Мятежники и сегодня войдут опять в Кремль. Позволь, государыня, сразиться с ними! К нам пристанут все честные граждане. Я многим уже раздал оружие. Московские жители всем сердцем любят твоего венценосного сына и с радостью прольют за него кровь свою.

— Благодарю тебя за твоё усердие и верность! Дай Бог, чтобы я могла наградить тебя

достойно! Не хочу, однако ж, кровопролития. Я узнала, что Софья Алексеевна не хочет отнять царского венца у моего сына, а желает только, чтобы Иван Алексеевич вместе с ним царствовал.

— Как, государыня, у нас будут два царя?

— Софья Алексеевна желает именем их сама править царством и отнять у меня власть, которую мне Бог даровал. Спаситель не велел противиться обидящему. Я уступаю ей власть мою. Дай Бог, чтобы она употребляла её лучше, нежели я, для счастья России. Не хочу, чтобы за меня пролилась хоть одна капля крови. Благодарю от моего имени всех верных стрельцов и распусти их по домам. Поди и будь уверен, что я никогда не забуду твоей верности и усердия.

— Сердце твоё в руке Божией, государыня! Я исполню волю твою!

Едва Бурмистров удалился, раздался звон на Ивановской колокольне, барабанный бой и шумные восклицания перед дворцом на площади. Царевна Марфа Алексеевна, старшая сестра царевны Софии, поспешно вошла в спальню царицы. Бледное её лицо выража-

ло страх и смущение.

— Стрельцы требуют выдачи дядюшки Ивана Кирилловича! — сказала она. — Кравчий князь Борис Алексеевич Голицын пошёл на Красное крыльцо объявить им, что Иван Кириллович из Москвы уехал. Злодеи, вероятно, станут опять обыскивать дворец: не лучше ли ему скрыться в моих деревянных комнатах, что подле Патриаршего Двора? Туда мудрено добраться, не зная всех сеней, лестниц и переходов дворца. Постельница моя Клушина, на которую я совершенно полагаюсь, проводит туда дядюшку.

Наталья Кирилловна хотела благодарить царевну, хотела что-то сказать ей, но ничего не могла выговорить. Она крепко обняла её, и обе зарыдали.

Марфа Алексеевна кликнула свою постельницу, бывшую в другой комнате, и пошла с нею к родителю и брату царицы.

Через несколько минут толпа стрельцов вбежала в спальню Натальи Кирилловны.

— Где брат твой? — закричал один из сотников. — Выдай сейчас брата, или худо будет.

— Ты забыл, злодей, что говоришь с цари-

цей! — воскликнул Пётр Алексеевич, устремив сверкающий от негодования взор на сотника.

— Брата нет здесь, — сказала Наталья Кирилловна.

— А вот увидим! — продолжал сотник. — Ребята! пойдём и ошарим все углы.

Стрельцы вышли из спальни и рассеялись по дворцу. После напрасных поисков они вышли на площадь и вызвали на Красное крыльцо несколько бояр.

— Скажите царице, — закричал пятисотенный Чермной, — чтобы завтра непременно был нам выдан изменник Иван Нарышкин, а не то мы всех изрубим и зажжём дворец!

После этого мятежники из Кремля удалились. На другой день опять раздался в Кремле набат и звук барабанов. Вся площадь перед дворцом наполнилась стрельцами. С ужасными угрозами стали они требовать выдачи брата царицы.

Устрашённые бояре собрались в её комнатах. На всех лицах изображались ужас и недоумение.

— Матушка! — сказала царевна Софья,

войдя в комнату. — Все мы в крайней опасности! Мятежники требуют выдачи Ивана Кирилловича. В случае медленности грозят нас всех изрубить и зажечь дворец!

— Брата нет во дворце, — отвечала царица. — Пусть рубят нас мятежники, если забыли Бога и перестали уважать дом царский.

— Где же Иван Кириллович? Если б он знал про нашу опасность, то, верно бы, сам решился пожертвовать собою для общего спасения.

— Он и пожертвует, — сказал Нарышкин, неожиданно войдя в комнату.

— Братец! что ты делаешь! — воскликнула, побледнев, царица. Упав в кресла и закрыв лицо руками, она зарыдала.

Все присутствовавшие молчали. Удивлённая София долго не могла ни слова выговорить. Великодушие Нарышкина победило на минуту ненависть, которую она давно к нему в глубине сердца таила. Наконец царица сказала:

— Не печалься, любезный дядюшка! Все рано или поздно должны умереть. Счастлив тот, кто, подобно тебе, может пожертвовать

жизнию для спасения других. Я бы охотно умерла за тебя; но смерть твоя, к несчастью, неизбежна. Покорись судьбе своей!

— Я не боюсь смерти. Желая, чтоб и другие могли её встретить так же спокойно, как я встречаю. Дай Бог, чтобы кровь моя успокоила мятежников и спасла отечество от бедствий.

В дворцовой церкви Спаса Нерукотворённого собралось множество стрельцов, согласившихся, по просьбе Нарышкина, чтобы он пред смертью исповедался и приобщился Святых Тайн. Нарышкин, царица Наталья Кирилловна и царевна София, в сопровождении всех бывших во дворце бояр, вошли в церковь. После исповеди началась обедня. Каждая оканчивавшаяся молитва напоминала царице, что час смерти любимого её брата приближается.

Хор запел «Отче наш». «Уже в последний раз на земле, — думал Нарышкин, — слышу я эту молитву, которую нам Спаситель заповедал. — Он стал на колена. «Да будет воля Твоя!» — повторил он вполголоса. Когда раздались слова: «И остави нам долги наша, яко

же и мы оставляем должником нашим!».— Нарышкин от искреннего сердца простил Софию и начал за неё молиться.

Наконец отворились царские врата. Раздался голос священнослужителя: «Со страхом Божиим и верою приступите!» — и Нарышкин, забыв всё земное, подошёл к чаше спасения.

— Теперь уж недолго осталось жить изменнику! — шепнул один из бывших в церкви стрельцов своему товарищу.

— Певчие, кажется, нарочно пели протяжно, чтобы обедня не так скоро кончилась, — сказал другой стрелец. — Ну, вот уже он общился. Опять запели! Будет ли конец этой обедне?...

Служба кончилась. Боярин князь Яков Никитич Одоевский вошёл торопливо в церковь.

— Государыня! — сказал он, подойдя к царице. — Стрельцы, стоящие на площади, сердятся, что заставляют их ждать так долго, и грозят всех изрубить. Нельзя ли, Иван Кириллович, выйти к ним скорее? — продолжал он, обратясь к Нарышкину.

Царица, терзаемая неизобразимую горестию, вовсе не слыхала слов Одоевского. Пропливая слёзы, она смотрела на брата. Он подошёл к ней.

— Прости! — сказал он прерывающимся голосом, — Не терзайся! Забудь мою гибель и помни мою невинность!

Почти без чувств упала царица в объятия брата. Бояре плакали. Стрельцы изъявляли нетерпение.

Софья, смущённая раздирающим сердце зрелищем, отворотилась, подошла к иконостасу и, взяв с наоя образ Богоматери, подала царице.

— Вручи эту икону несчастному страдальцу: при виде её, может быть, сердца стрельцов смягчатся, и они простят осуждённого ими на смерть. — Царевна произнесла эти слова громко, чтобы стрельцы, бывшие в церкви, могли их расслышать.

Царица подала икону брату. Он с благоговением взял её и спокойно пошёл к дверям золотой решётки, сопровождаемый с одной стороны рыдающею сестрою, а с другой — царевною Софиею.

Едва отворились двери решётки, раздался неистовый крик:

— Хватай, тащи его!

Окружающие дворец стрельцы, увидев Нарышкина, влекомого толпою товарищей их на площадь, наполнили воздух радостными восклицаниями. Теснясь вокруг своей жертвы и осыпая страдальца ругательствами, злодеи провели его чрез весь Кремль к Константиновскому застенку. Там, за деревянным, запачканным столом, на котором лежало несколько бумажных свитков и стояла деревянная кружка с чернилами, сидел под открытым небом крестный сын боярина Милославского, площадной подьячий Лысков.

— Добро пожаловать! — воскликнул он, увидев Нарышкина. — Так-то всё на свете превратно! Сестрица твоя хотела было меня согнать со света; а теперь я буду допрашивать её брата. Эй! десятник! Подведи-ка боярина поближе к столу. Тише, тише, господа честные! Вы этак стол уроните. Что Нарышкин-то за невидальщина!

— Начинай же допрос! — сказал стоявший подле Лыскова сотник.

— Не в своё дело не суйся, господин сотник! Ты приказного порядка не смыслишь. Лучше поди-ка посмотри: готово ли всё для пытки?

— Всё готово! Уж не заботься!

— Ну, Иван Кириллович, примемся за дело! — продолжал Лысков, развёртывая один из лежавших на столе свитков.

— К чему меня допрашивать? — сказал Нарышкин. — Я не сделал никакого преступления! Не теряйте времени и скорее убейте меня. За кровь мою дадите ответ Богу. Молю Его, чтобы Он простил всех врагов моих, которые довели меня до гибели!

— Всё это хорошо! А допрос-то надобно кончить своим чередом. Тебя никто убивать не хочет. Оправдаешься — ступай на все четыре стороны; не оправдаешься — по закону казнят тебя. Плакаться не на кого. Закон для всех писан.

— Для всех! Вишь что выдумал! — шепнул один из стоявших за стулом Лыскова своему соседу. — По Уложению, надо было бы у самого нос отрезать; а нос-то у него целёхонек. Ой, эти приказные твари! Как бы умел кто-ни-

будь из нашей братьи допрос и приговор написать, так я бы этому еретику теперь же обрубил нос-то, да и голову кстати. Вот-те и закон!

— Замышлял ли ты извести царевича Ивана Алексеевича?— опросил Лысков. — Говори же, Иван Кириллович!... Эй, вы! в пытку его!

Видя, что жестокие мучения довели Нарышкина почти до бесчувственности, но не принудили его признаться в преступлении, выдуманном его врагами, Лысков велел снова подвести страдальца к столу.

— Упряма же ты, Иван Кириллович! Однако ж я не хочу тебя напрасно мучить; запишу, что ты признался. Можно ведь и молча признаться. Согласен ли ты на это?

Нарышкин не отвечал ни слова.

— Молчишь — и, стало быть, соглашаешься. Дело доброе. Запишем!... Надевал ли ты на себя царскую порфиру?... Также молчишь? И это запишем.

Предложив ещё около десяти вопросов и не получив ни на один ответа, Лысков записал, что Нарышкин во всём признался. Развернув потом другой свиток, Сидор Терентье-

вич громко прочитал следующее:

— Уложения главы II, в статье 2-й сказано, что *буде кто захочет Московским Государством завладеть и Государем быть и про тое его измену сыщется допряма, и такова изменника потому же казнити смертию.* И так, по силе оной статьи, — сказал Лысков с расстановкой, записывая произносимые им слова, — боярина Ивана Нарышкина, признавшегося в измене, казнити смертию. Ну, господа честные, подписывайте приговор — и дело в шляпе. Господин сотник, не угодно ли руку приложить? Вот перо. Ещѣ кому угодно?

— Подпишись за всех разом! — сказал десятник.

— Пожалуй! Надобно будет написать: за неумением грамоте.

— Пиши, как знаешь; это твоѣ дело! — закричало несколько голосов.

Положив перо на стол и свернув свиток, Лысков подал его важно сотнику.

— Вот и приговор! Теперь можно его исполнить!

— Ладно! это уж наше дело! — сказал сотник, разорвав на клочки поданную ему бума-

гу.

— Что ты, что ты, отец мой! В уме ли ты? Да знаешь ли, что велено делать с тем, кто изорвёт приговор?

— Не знаю, да и знать не хочу? Эй, ребята! ведите-ка боярина на Красную площадь. Ба, ба, ба! это ещё кого сюда тащат? Что за нищий?

— Не нищий, — сказал пришедший с отрядом десятник, — а еретик и чернокнижник Гадин. Вишь, какое лохмотье на себя надел. Мы насилу его узнали!

— А! милости просим! — воскликнул сотник — Не принёс ли он такого же яблочка, каким уморил царя Фёдора Алексеевича?

— Надобно его допросить, — сказал Лысков.

— Вот ещё! С этим молодцом мы и без допроса управимся! — сказал приведший фон Гадена десятник. — Проходил я мимо Поганого пруда[32] и спросил прохожего: не знаешь ли, где живёт лекарь? Он указал мне дом. Я на крыльцо. Попался навстречу какой-то парень на лестнице: сын, что ли, лекаря, аль слуга — лукавый его знает! Кто живёт здесь? — спро-

сил я. Он было не хотел отвечать и задрожал, как осиновый лист. Я его припугнул. — Батюшки дома нет, молвил он. — А куда ушёл? — Не знаю! — Не знаешь! Ах ты, мошенник! Хватай его, ребята! — Он начал кричать; так горло и дерёт! Мы и прикололи его. Выбежал на лестницу мужик с метлой. — Эй ты, метла, кто живёт здесь? — закричал я. — Лекарь Гудменшев[33], батюшка! Я вынул из-за кушака список изменникам. Смотрю: написано лекарь Степан Гаден. Глаголь есть и добро есть: я и смекнул, что Гуд или Гад всё едино и что в доме живёт нехристь. — Врёшь ты, дубина! — крикнул я на мужика. Не Гудменшев, а Гадин. Своего господина назвать не умеет! — Как угодно твоей милости, — молвил он. Вбежали мы в горницы. Вместо образа висит на стене смерть. Признаться, мороз меня подрал по коже. Верно, смекнул я, черно книжник извёл какого-нибудь православно-го, содрал кожу и кости его на стену повесил. Так сердце у меня и закипело! Начали шарить, обыскивать. Глядь: под кроватью спрятался черно книжник. Как раз схватили его, на Красную площадь, да и на пики! Потом по-

шли мы в Немецкую слободу и там поймали этого зверя. Мы было и его на площадь! Так нет: взвыл голосом, да суда просит. Мы и привели его сюда.

— Нечего тут судить да рядить. Черно-книжников, что собак, без суда бей! — закричал сотник. — Тащите его на Красную площадь.

Приведя Нарышкина и Гадена на место казни, изверги подняли их на копья и, сбросив на землю, изрубил.

В это самое время прибежал престарелый родитель Нарышкина, Кирилл Полиевктович, оставленный тихонько сыном в покоях царевны Марфы Алексеевны во время сна, в который старец невольно погрузился после двух суток, проведённых в непрерывной тревоге. Увидев голову сына, поднятую на пике, он поднял руки к небу и в изнеможении упал на землю.

— А! и этот старый медведь вылез из берлоги! — сказал Лысков, бывший в числе зрителей казни. — Поднимите его! — закричал он стрельцам.

— Не хватить ли его лучше по затылку вот

этим? — спросил стрелец, поднимая секиру. — Что старика долго мучить!

— Нет, нет, не велено! — сказал Лысков. — Отнесите его ко мне на двор: там готова для него телега. Приказано отправить его в Кириллов монастырь и постричь в чернецы. Пусть там спасается!

IV

*Погибни же сей мир, в котором беспре-
станно
Невинность поправа, злодейство увен-
чанно,
Где слабость есть порок, а сила — все
права.
Гнедич.*

В три дня пало шестьдесят семь жертв властолюбия Софии. По истреблении всех преданных царю Петру бояр, ослеплённые царевною и её сообщниками стрельцы, в уверенности, что они защитили правое дело, выступили спокойно из Кремля в свои слободы. По тайному приказу Софии, 23 мая они опять

пришли с Бутырским полком к Красному крыльцу и послали любимого своего боярина князя Ивана Андреевича Хованского, единомышленника и друга Милославского, объявить во дворце следующее: «Все стрельцы и многие другие московские граждане хотят, чтобы в Московском государстве были два царя яко братия единокровные; царевич Иоанн Алексеевич, яко брат больший, и царь да будет первый; царь же Пётр Алексеевич, брат меньший, да будет царь второй. А когда будут из иных государств послы, и к тем послам выходити Великому Государю Царю Петру Алексеевичу и противу неприятелей войною идти ему ж Великому Государю, а в Московском государстве правити Государю Иоанну Алексеевичу». Патриарх Иоаким немедленно созвал Государственную Думу. Голос немногих бояр, бесстрашных друзей правды, утверждавших, что опасно быть двум главам в одном государстве, заглушён был криком многочисленных приверженцев Софии. По большинству голосов Дума решила: исполнить требование стрельцов. Патриарх в сопровождении митрополитов, архиеписко-

пов, бояр, окольных и думных дворян пошёл в залу, где были царица Наталья Кирилловна, царь Пётр Алексеевич, царевич Иоанн, царевна София и все прочие члены семейства царского. Выслушав решение Думы, юный государь сказал: *«Я не желаю быть первым царём, и в том буди воля Божия. Что Бог восхочет, то и сотворит!»*.

Раздался звук большого колокола на Ивановской колокольне. Патриарх вышел на Красное крыльцо и объявил решение Думы и волю царя собравшемуся на площади народу, стрельцам и солдатам Бутырского полка. Воскликая: *«Многие лета царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу! Многие лета царевне Софье Алексеевне!»* — стрельцы возвратились в свои слободы.

Двадцать шестого мая, утром, в столовой боярина Милославского, сидел Сидор Терентьевич Лысков за небольшим столиком и завтракал. Дворецкий Мироныч, с обвязанною ногою, ходил на костылях взад и вперёд по комнате.

— Не знаешь ли, Сидор Терентьевич, — спросил дворецкий, — зачем боярин сегодня так

рано в Думу уехал?

— Сегодня напишут указ о вступлении на престол Ивана Алексеевича.

— Вот что! А царя Петра Алексеевича в ссылку, что ли, пошлют? Ты мне, помнится, тайком сказывал, что царевна Софья думала прежде его уходить; знать передумала?

— Да. Можно было обойтись и без этого.

— Стало быть, Пётр Алексеевич останется царём. Да как же это будет, Сидор Терентьич: кто же из двух будет царством править? Ведь надо бы об этом подумать.

— Не беспокойся! Уж об этом думали головы поумнее нас с тобой.

— Всё так. Однако ж вот что, Сидор Терентьич: если Пётр Алексеевич останется царём, то царица Наталья Кирилловна, пожалуй, захочет по-прежнему править царством, пока сын её будет малолетен. А тогда худо дело! Как тут быть?

— А вот увидим: сегодня в Думе всё это решат.

— Нечего сказать, боярин Иван Михайлович сыграл знатную шутку. Чаю, помощники-то его все награждены?

— Разумеется. Они получили все, что царевною было обещано. Её постельница Фёдора Семёновна вышла замуж за Озерова и получила такое приданое, что теперь у неё денег куры не клюют. Один Сунбулов недоволен: он ждал, что его пожалуют боярином, а не его произвели в думные дворяне. Взбесился наш молодец и ушёл в Чудов монастырь; хочет с горя постричься в монахи.

— Знать, его за живое задело.

— Теперь нам знатное будет житье. Крестный батюшка будет всеми делами ворочать по-своему.

— Ну, а стрельцам-то, чаю, будет награда?

— Как же. Их угостят на площади царским столом. После венчания на царство Ивана и Петра Алексеевичей стрельцов назовут Надворною пехотою[34]. В монастыри на Двине отправляется стольник князь Львов за монастырскою казною и для высылки таможенных и кабацких голов с деньгами в Москву. Все эти денежки раздадут стрельцам[35]. Они изберут выборных, которые всегда будут прямо входить к царевне Софье и к государям и бить челом об их нуждах. Любимый их бо-

ярин князь Иван Андреевич Хованский назначается их главным начальником. На Красной площади поставят каменный столп с железными по сторонам досками: на них напишут имена убитых изменников. Да выдадут ещё стрельцам похвальные грамоты с государственною печатью за их верность и усердие к дому царскому и за истребление изменников.

— Видишь ты что! Подлинно: за Богом молитва, а за царём служба не пропадают. Ну, а тебе какая награда, Сидор Терентьич?

— Меня крестный батюшка обещал посадить дьяком в Судный приказ. Уж то-то мне будет раздолье. Бояр, окольников и всех, кто не под силу, трогать не стану, а примусь за гостей, за купцов гостиной, суконной и чёрных сотен и за всякого, у кого мошна толста; я из них сок-то повыжму, да и с тобою поделюсь. Только всегда держи мою сторону и нахваливай меня крестному батюшке.

— Уж не бойсь, за этим дело не станет; только не скупись да барышами делись. Ой, ой, ой! ноженьку разбередил!

— Сядь скорее. Охота же тебе ходить; на

костылях что за ходьба! Ну что, подживает ли твоя нога?

— Подживает помаленьку. Уф! как бы поймать разбойника, который меня ранил: я бы его своими руками разорвал!

— Знаешь ли, кто тебя ранил? Стрелецкий пятисотенный Бурмистров. Крестный батюшка мне сказывал.

— Чтоб ему издохнуть, анафеме! Чтоб ему в аду места не было! Чай, тягу дал, разбойник?

— Крестный батюшка приказал боярину князю Хованскому везде искать его.

— Рублёвую свечу бы поставил, кабы поймали мошенника! Ах да, совсем было забыл: не напомнишь ли ты боярину, как он из Думы приедет, о старухе, что у нас в подвале сидит: что с ней делать прикажет?

— Что за старуха?

— Попадья Смирнова. По приказанию боярина вчера привели её к нам из Земского приказа. Её подняли на улице решёточные в тот самый день, как мне ногу подрубили. И с тех пор все содержали на тюремном дворе по приказу же Ивана Михайловича.

— А! вот что! Дело доброе. Чай, уж от неё выпытал крестный батюшка, где её дочка?

— Спрашивал её, грозился в пытку отдать. Одно говорит: хоть зарежь, не знаю.

В это время на дворе раздался стук кареты.

— Боярин приехал! — воскликнул Мироныч, поднявшись со скамейки. — Уйти скорее в свою избу.

Дворецкий ушёл, а Лысков выбежал на крыльцо встречать Милославского. Он ввёл его на лестницу и вошёл вслед за ним в рабочую горницу боярина.

— Ну, Сидор, дело кончено! — сказал Милославский, сняв шапку и сядя к столу. — Вот указ, который сегодня послали из разряда во все приказы и ко всем иногородним воеводам.

— Нельзя ли прочитать, батюшка?

— Пора обедать, уж полдень прошёл. После обеда прочитаешь. Однако ж постой, покуда на стол не подали, я расскажу тебе содержание указа и прочту места, которые тебя всего более порадуют. Нечего сказать, указ славно написан; немало ломали мы над ним голову. Ни слова не сказано о прежнем решении Ду-

мы, чтобы быть избранию на царство общим согласием людей всех чинов Московского государства; не упомянуто ничего об избрании; сказано только, что Иоанн Алексеевич уступил престол брату и что Пётр Алексеевич по челобитью патриарха с собором, Думы и народа принял царский венец. О присяге стрельцов умолчано. Сказано, что целовали ему крест бояре, окольные и думные и всяких чинов служилые и жилецкие люди. Далее написано, что сегодня, т.е. 26 мая, патриарх с духовенством, Дума и народ били челом царю Петру, что *«царевич Иоанн Алексеевич ему большой брат, а царём быти не изволил, и в том чинится Российского царства в народе ныне распря, и у них, царя и царевича, просят милости, чтоб они изволили для всенародного умирения на прародительском престоле учиниться царями, и скиптр и державу воспринять и самодержавствовать обще»*. Далее сказано, что они восприняли скипетр и державу, и что все целовали им крест, и что, *«посоветовав с матерью своею, царицею Натальею Кирилловною, с своими государскими тётками и сёстрами, благородными царевна-*

ми, с патриархом, собором и Думою, и по челобитью их и всего Московского государства всяких чинов изволили государственных дел правление вручить сестре своей, царевне Софии Алексеевне, со многим прошением, для того, что они, великие государи, в юных летах, а в великом их государстве должны служить ко всякому устройению многое правление».

Потом сказано, что « при изволении и прошении их государей, патриарх со всем собором подал ей, царевне, на то богоугодное дело своё архипастырское благословение». Слушай теперь окончание! «И великая государыня, благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна, по многом отрицании, к прошению братии своей великих государей и благословению о Святом Дусе отца своего и богомольца, великого господина, святейшего Иоакима, патриарха Московского и всея Руси, и всего освящённого собора, склонялся, и на челобитье бояр, и окольных, и думных, и всего Московского государства всяких чинов всенародного множества людей милостивно призирая, и желая Российское царствие в державе братии своей великих государей со-

блюдаемо быти во всяком богоугодном устроении, правление воспряти изволила. И по своей государской богоподражательной ревности и милосердому нраву, изволила всякие государственные дела управляти своим государским, Богом дарованным, высоким рассуждением, и для того указала она, великая государыня, благородная царица, боярам и окольничим и думным людям видать всегда свои государские пресветлые очи, и о всяких государственных делах докладывать себе, государыне». В конце прибавлено, чтобы в указах с именами царей писать имя и царевны.

— Пирог и щи давно уже поданы, — сказал вошедший слуга.

— Пойдём, Сидор, обедать. Ты, я думаю, не меньше моего есть хочешь. Не в пору я с тобой разговорился и совсем забыл пословицу: соловья баснями не кормят.

На столе, не покрытом скатертью, стоял пирог на оловянном блюде и щи в медной вылуженной мисе. Для боярина подали серебряную ложку, а для Лыскова деревянную, также ножи; вилок же подано не было, потому что

предки наши заменяли их руками. Разрезав пирог, Милославский взял в руки кусок и, пригласив Лыскова последовать его примеру, начал есть с большим аппетитом. Когда порядочная доля пирога поубавилась, слуги стоявшие у конца стола, сняли блюдо и опорожнили его. Потом подан был из пшеничной муки каравай. Взяв по куску караваев, Милославский и Лысков придвинули к себе мису и начали хлебать щи прямо из мисы. После того подали варёную в уксусе баранью голову, кожа которой, для прикрасы, вырезана была в виде бахромы и обложена кругом. За нею последовали жареная курица, приправленная луком, чесноком и перцем, и наконец, каравай с мёдом. В больших кружках подаваемы были во время обеда пиво, крепкий мёд и французское вино. Наливая из кружек эти напитки, попеременно, в серебряные чарки с ручкой, широкие и плоские, обедавшие записывали каждое кушанье. Встав из-за стола, боярин и крестный сын его, обратись к висевшим в углу образам, так же, как и перед обедом, помолились, обтёрли рукою усы и бороду и поцеловались. Потом вышли они в сад и

легли под тенью огромной липы, на приготовленном для них сене, покрытом простынёю, положив под головы по мягкой подушке, набитой лебяжьим пухом.

— Ты не узнал ещё, батюшка, где дочь, старухи Смирновой, твоя беглая холопка? — спросил, лёжа, Лысков.

— Не узнал ещё. Я велел Хованскому поймать Бурмистрова: от него выпытаем. Сегодня вечером придут ко мне десятка два стрельцов. Походи ты с ними, Сидор, по Москве да поищи беглянки. Авось попадётся.

— Конечно, попадётся. Прикажи только действовать твоим именем. Я подниму на ноги объезжих и всех решёточных: как раз сыщем голубушку!

— Объяви, что тому, кто её найдёт, дам я... Уф, зеваётся!... дам я два десятка рублёвиков, да и впредь не оставлю своими милостями. Ну, теперь полно разговаривать: смерть спать хочется. Давно уж не спал я спокойно; много было забот и хлопот! Не вели меня будить никому, Сидор. Ты, я чаю, прежде меня проснёшься?

— Сосну часок, другой, третий, как обыкно-

венно. Только вот что, батюшка, стрельцы, как узнал я, изорвали дела во многих приказах. В Холопьем не оставили почти ни одного клочка бумаги. Можно написать новую кабалу на дочку Смирновой и сказать, что она принадлежит тебе по старинному и полному холопству. Справиться будет не с чем. Тогда ты можешь всё с нею делать, что душе угодно. Как состареется и не понадобится для тебя более или же надоест тебе, продай её, променяй или подари.

— Это дело ты выдумал! — отвечал Милославский впросонках и захрапел. И Лысков вскоре последовал его примеру.

V

*И как нередко говорят:
«Когда б не он, и в ум бы мне не впало!»
А ежели людей не стало,
Так уж лукавый виноват,
Хоть тут его совсем и не бывало.
Крылов.*

Купец Лаптев с женою своею, Варварою Ивановною, возвращался от обедни до-

мой. Оба были одеты, как следовало в день воскресный. Он был в светло-синем суконном кафтане, с застёжками на груди из широких шёлковых тесёмок, и в низкой меховой шапке. Полы кафтана закрывали до половины его сафьянные зелёные сапоги. Длинные рукава были засучены; в одной руке держал он шёлковый платок, в другой толстую палку с большим костяным набалдашником. Наряд супруги его состоял из малинового штофного сарафана с парчовыми зарукавьями, из алого суконного опашня с достававшими до земли рукавами и из шёлковой фаты, надетой сверх меховой шапочки. Полы опашня сверху донизу застёгнуты были серебряными пуговицами, такими крупными, что можно было бы ими в случае нужды зарядить пушку вместо картечи. Золотые серьги, жемчужное ожерелье и разные перстни и кольца довершали великолепие её наряда.

— Что это за указ сегодня в церкви читали? — спросила Варвара Ивановна.

— Неужто ты не поняла? Царевич Иван Алексеевич вступил на престол вместе с братцем, а Софья Алексеевна будет делами пра-

ВИТЬ.

— Как? А царица Наталья-то Кирилловна?

— Её от дел прочь.

— Да за что так?

— Так! Ни за что ни про что! Софье Алексеевне давно хотелось править царством, для того и стрельцы бунтовали.

— Не поминай об этом, Андрей Матвеич, у меня до сих пор сердце замирает. Как Бог нас помиловал! Три дня и три ночи сидели мы дома безвыходно, как в клетке. Сердечушко всё изныло! Постучат, бывало, в ворота — ноги вот так и подкосятся и в холодный пот бросит. Горемычного соседа нашего ограбили, злодеи!

— Бог тому судья, кто стрельцов взбунтовал. Дай Господи, чтобы впредь всё было тихо и смирно.

— Дай Господи!

— Здравствуй, Андрей Матвеевич! — сказал Бурмистров, идя к нему навстречу.

— А! Василий Петрович! Господь Бог и тебя помиловал!

Со слезами на глазах от радости Лаптев бросился обнимать Бурмистрова.

— Милости просим ко мне, хлеба-соли откушать, — сказал Лаптев. — Время уж и за стол: обедни везде отошли.

— Я нарочно пришёл к тебе. Есть до тебя дело, Андрей Матвеевич. Где Наталья Петровна?

— Ушла с братцем своим к Николе в Драчах. Жаль её, мою голубушку; как свечка тает с тоски по своей родительнице. До сих пор о ней ни слуху, ни духу.

— Успокой Наталью Петровну: скажи ей, что она скоро с нею увидится.

— Как, Василий Петрович? Да где же она?

— Теперь ещё сказать нельзя.

— Это дело другое.

— Она в руках боярина Милославского, — шепнул на ухо Бурмистров Лаптеву. — Не говори Варваре Ивановне. Я боюсь, чтоб она не сказала об этом Наталье Петровне.

— Господи Боже мой! — сказал шёпотом Лаптев.

Варвара Ивановна хотя и шла впереди своего мужа и Бурмистрова, однако ж заметила, что они шепчутся, и решилась во что бы то ни стало выпытать тайну, сообщённую её со-

жителю.

— По приказу Милославского, — шепнул Бурмистров, — объезжие с решёточными и бездельник Лысков со стрельцами третьего дня и вчера искали по всему городу Наталью Петровну. Верно, и сегодня искать будут.

— Ахти, мои батюшки! Как же тут быть?

— Надобно Наталью Петровну уговорить, чтобы она решилась ехать сегодня же к моей тётке, в Ласточкино Гнездо. Это небольшая деревня в стороне от Троицкой дороги. Я уже её уведомил об этом. Там всего семь дворов. Крестьяне никуда не ездят, да и в поместье никто не приезжает, кроме моего слуги Гришки, и то раза два в год. Кому придёт в голову отыскивать там Наталью Петровну? А ей можно сказать, что она непременно увидится там с своей матушкою, и скоро. Борисов взялся бедную старушку выручить из рук Милославского. Мы с ним, кажется, хорошо придумали, как это сделать.

— Ладно, ладно, Василий Петрович. Ты человек разумный. Ты всё устроишь, да и меня из беды выпутаешь.

— А тебе, Андрей Матвеевич, надобно бу-

дет сегодня подать челобитную в Земский приказ, что приехавшая к тебе из Ярославля крестница... как бишь ты назвал Наталью Петровну?

— Ольга Васильевна Иванова.

— Да, Ольга Васильевна Иванова, двадцать третьего мая, когда стрельцы в последний раз приходили в Кремль, сидела на скамье за воротами и пропала без вести.

— Ладно, Василий Петрович, ладно! Пусть Земский приказ её ищет. А чтоб усерднее искали, моей челобитной не опорочили и меня как-нибудь не потревожили, поклонюсь я дьяку приказа дюжиною мешков муки да бочонком вишнёвки. Ведь нельзя без этого.

— И! полно, Андрей Матвеевич! к чему тебе добро своё терять понапрасну.

— Нельзя, отец мой, я знаю приказных. Подай челобитную хоть о том, чтоб тебя кнутом высекли, да не подари: не высекут!

Бурмистров улыбнулся.

— Ну, прощай, Андрей Матвеевич! — сказал он.

— Да куда же ты? Неужто не отобедаешь с нами? Вон уж дом наш близёхонько!

— Нельзя, Андрей Матвеевич! Борисов меня дожидается. Как дело есть, так и еда на ум нейдёт. Вечером, я думаю, забегу к тебе на минуту.

Поклонясь Лаптеву и жене его, Бурмистров ушёл.

— О чём это вы шептались? — спросила Варвара Ивановна.

— Не твоё, жена, дело! — отвечал Лаптев.

— Что за дело такое? Уж и жене сказать нельзя! Господи Боже мой! Двадцать три года прожили вместе;

всегда был у нас совет да любовь, а теперь, на старости лет, вздумал от меня таиться. Уж не шашни ли какие затеял?

— Полно вздор-то молоть! Шашни! С ума, что ли я сойду!

— Почему знать. Бес и горами качает!

— Ах ты, дура, дура! *Да что* с тобой толковать! Не скажу, да и только!

— Не скажешь? Да я тебе покою не дам! Коли ты стал от меня таиться, так ты мне не муж, я тебе не жена. Сегодня же со двора съеду!

— Не бойсь, не съедешь!

В молчании подошли они к дому. Надобно заметить, что Лаптев, будучи от природы робкого характера, не умел поддержать той неограниченной власти, какою в старину пользовались наши предки над своими жёнами. Это могло произойти частью от неприятного впечатления, которое произведено было на Лаптева чрез неделю после свадьбы, когда он в первый раз захотел воспользоваться правами мужа и поколотить жену свою. Впоследствии, при каждой начинавшейся ссоре, он невольно вспоминал, как за первый толчок, данный им своей супруге, получил он, сверх всякого чаяния, две пощёчины, как схватила она его за бороду, как он, вырвавшись, убежал от преследовавшей его по пятам сожительницы на сеновал, и как он терзался, воображая, что она исполнит свою угрозу и одна съест испечённый ею, а им несправедливо осмеянный пирог, за который они поссорились.

На столе стояли уже миса со щами и блюдо с пирогом, когда Лаптев и жена его вошли в комнату.

— Куда это запропастился Андрей Петро-

вич с сестрицей? Как их долго нет! Неужто обедня у Николы в Драчах ещё не отошла? Ах да! я и забыл, что он хотел с нею погулять в Царёвом саду[36] и просил, чтобы их не дожидаться к обеду. Боюсь я, чтоб Наталья Петровна не попала там на глаза мошеннику Лыскову! Конечно, после обеда все в городе спят; однако ж всё бы я не пустил её в сад, коли бы знал, что её ищут. Ну, делать нечего Авось Бог её помилует. Дай-ка, жена, вишнёвки, да сядем за стол.

Варвара Ивановна не отвечала ни слова и, сидя на скамье у окна, смотрела на проходящих по улице.

— Аль ты оглохла? Давай, говорят тебе, вишнёвки!

Варвара Ивановна встала, обратись к образам, помолилась и, сев в молчании за стол, разрешила пирог. Муж также, помолясь, сел к столу. Взяв ложку и кусок хлеба, Варвара Ивановна начала хлебать щи, не обращая никакого внимания на мужа.

— Что же, вишнёвка будет ли сегодня, аль нет? — спросил гневно Лаптев. — Давай ключ от погреба. Если тебе лень, так я сам схожу за

фляжкой.

— Нет у меня ключа! Ты не сказываешь мне, про что вы шептались, а я не скажу, где ключ.

— Как, да разве я не хозяин в доме? Разве жена смеет послушаться мужа? В Писании сказано, что муж есть глава жены. Вот ещё что выдумала! Сейчас принеси фляжку!

— Не принесу!

— Принеси, говорят! Худо будет! — закричал Лаптев, вскочив со скамьи.

Варвара Ивановна, не теряя духа, спокойно подвинула к себе блюдо с пирогом и, выбрав большой кусок, принялась есть. Не столько нахмуренное лицо жены, сколько вид пирога, напоминавший Лаптеву сеновал, принудил его удержать порыв досады. Он прошёл несколько раз по горнице и опять сел к столу.

— Варвара Ивановна! да принеси вишнёвки! За что ты меня мучишь? Ты ведь знаешь, что я, не выпив чарки, обедать не могу.

— А мне что за дело? Не обедай!

— Не обедай! Да разве ты хочешь уморить меня с голоду?

— Вот пирог! — сказала Варвара Ивановна,

подвинув к нему не совсем вежливо блюдо.

— Видим, что пирог! Да без вишнёвки не пойдёт кусок в горло.

— Хлебни щей!

— Ахти, Господи! Какая упрямая!

Лаптев схватил в досаде кусок пирога и начал его убирать за обе щеки. Можно было, глядя на него, подумать, что он каждым куском давится, или принимает отвратительное лекарство.

— Ну что тебе, жена, за охота знать, про что мы шептались? Плёвое дело, да и до тебя совсем не касается.

— Коли плёвое дело, так скажи, какое.

— Я боюсь: ты проболтаешься да всё расскажешь Наталье Петровне. Сохрани Господи!

— Никому не скажу; побожусь, если хочешь.

— Нет, не божись! Писание не велит божиться. Ну, уж так и быть. Давай вишнёвки! Перескажу тебе; только смотри: не проговоришь.

— Прежде скажи, а там и вишнёвки дам.

— Тьфу ты пропасть — скажи! Ну, всё дело

в том, что матушка Натальи Петровны попала в лапы боярину Милославскому.

— Милославскому! Ахти, мои батюшки!

— Василий Петрович хочет её выручить!

— Помоги ему Господи! Ну, а ещё что?

— Больше ничего!

— Да о чём же вы так долго шептались?

— Экая безотвязная!

Лаптев рассказал жене все подробности разговора его с Бурмистровым и заключил подтверждением, чтобы она не говорила ни полслова Наталье. Варвара Ивановна обещала крепко хранить тайну и пошла за вишнёвкой. Чтобы наградить мужа за его откровенность, принесла она полную кружку вместо половины.

Лаптев, которому забота не дала уснуть после обеда, немедленно пошёл к дьяку Земского приказа и сказал ещё раз, прощаясь с женою:

— Смотри же, не говори!

Вскоре после его ухода возвратилась домой Наталья с братом.

— Ну вот, братец-то дело вздумал, моя годка! Что сидеть дома да плакать. Вот сего-

дня, как погуляла, так и щёчки сделались порумянее. Садитесь-ка обедать, мои голубчики. Чай, проголодались?

Брат Натальи тотчас после обеда ушёл. Он каждое воскресенье бродил по Москве вдоль и поперёк в надежде случайно узнать что-нибудь о судьбе своей матери. Варвара Ивановна и Наталья сели у окна.

— Э-э-эх, моё наливное яблочко! Всё-то ты плачешь!

Господь Бог милостив: авось скоро увидишься с родительницей.

— Как разве ты что-нибудь про неё слышала, Варвара Ивановна?

— Нет, я ничего не слыхала! Да полно плакать, моё солнышко! Глядя на тебя, сердце разрывается!

Во время следовавшего за тем молчания Варвара Ивановна придумывала: чем бы ей утешить Наталью. Не сказать ли ей, полно, думала она, что матушка её жива и здорова. Что, кажется, за беда? Хоть муж и запретил говорить, да мало ли что он без толку приказывает. Я ведь и сама не глупее его! Лишнего-то не выболтаем. Дело другое сказать, что

матушка её у Милославского. Об этом можно и смолчать.

Эти размышления мучили её до самого вечера. Она не могла даже уснуть после обеда, по обыкновению, и всё сидела у окна с Натальей, которая принялась вышивать в пяльцах.

— Не введёшь ли ты меня, Наталья Петровна, в брань, если тебе скажу добрую весточку? — сказала наконец Лаптева. — Я давно бы тебя порадовала, да муж не велел.

— Что такое, Варвара Ивановна? Уж не узнали ль что-нибудь о матушке? Если тебе угодно, я даже не скажу и братцу, что от тебя услышу.

— Точно ли не скажешь?

— Я тебе даю слово.

— Матушка твоя жива и здорова.

— Боже мой! Не обманываешь ли ты меня, Варвара Ивановна? Где же она? Скажи, ради Бога.

Наталья, вскочив со своего места, со слезами на глазах от радости бросилась целовать руки Лаптевой.

— Где она, — вот этого-то нельзя ещё тебе

сказать, моя ласточка. Потерпи маленько. Ты скоро, очень скоро увидишься с родительницей. Не сегодня, так завтра.

— Для чего же ты не хочешь сказать, где она? — сказала печальным голосом Наталья. — Может быть, она в руках недобрых людей. Скажи, ради Бога!

— Нет, нет! Что ты это, моя малиновка! Она в руках у доброго человека.

— Для чего же ты не хочешь назвать его? Ах, нет! Я знаю: верно, она в руках Милославского!

— Милославского? Что ты это! Да кто это тебе сказал?

— Знаю, знаю! Она у него! Верно, он её до тех пор держать будет, пока меня не сыщут. Братец узнал от своего товарища, которого встретил в саду, что меня вчера и третьего дня, по приказанию Милославского, искали по всему городу. Прощай, Варвара Ивановна!

— Куда, куда ты это? Господь с тобой! — закричала испуганная Лаптева, пустясь за Натальей в погоню. Дородность помешала ей сойти скоро с лестницы. Выбежав за ворота, Варвара Ивановна посмотрела во все стороны и,

не видя Натальи, пустилась бегом к ближнему переулку, думая, что увидит там Наталью.

Во всю длину переулка ни одного человека! Только у ворот низенького дома стояла корова и щипала траву на улице. Лаптева побежала к другому переулку. И там никого нет! «Уж не бросилась ли она в реку?» — подумала Варвара Ивановна. От этой мысли кинуло её в холодный пот. Не имея сил бежать далее, она, едва переводя дух, в совершенном изнеможении побрела к дому. Недоумение, раскаяние, сожаление, страх сильно волновали её. «Что я скажу, — думала она, — мужу, когда он возвратится домой и спросит: где Наталья? Дёрнул же лукавый меня за язык! Что, если бедняжка с моих слов да бросилась в реку! Господи Боже мой! что мне делать? Да я весь век стану мучиться, что погубила душу христианскую. Не думала, не гадала я впасть в такое тяжкое согрешение! Помилуй, Господи, меня, грешную!» — В этих мыслях Лаптева начала горько плакать и усердно молиться, стоя на коленях перед образом Николая Чудотворца, которым её благословил в день свадьбы покойный отец её. После молитвы села она к

окошку. «Да с чего, — начала она размышлять, — пришло мне в голову, что Наталья Петровна утопилась? Может быть, она побежала искать своего братца, чтобы с ним посоветоваться. Однако ж, зачем ей было бежать так скоро? Зачем она простилась со мною?»

Во время этих размышлений её раздался стук у калитки. «Муж! — подумала Варвара Ивановна, вскочив со скамьи в испуге. — Худо, как совесть нечиста! Бывало, прежде постучит он, и горя мало! Его же собираешься побранить: зачем поздно пришёл, а теперь...»

Дверь через несколько времени отворилась, и вошёл Бурмистров.

— Дома Андрей Матвеевич? — спросил он.

— Нет ещё, отец мой!

— Что с тобой сделалось, Варвара Ивановна? Ты побледнела и вся дрожишь!

— Ничего, Василий Петрович. Так, что-то зябнется!

— А в горнице у вас очень тепло. Не сделалось ли чего-нибудь худого?

— Нет, отец мой, всё благополучно!

— А где Наталья Петровна?

— Она всё ещё гуляет с братцем.

— До сих пор гуляет! Да как же это, Варвара Ивановна? Я братца её встретил одного на улице, вскоре после обеда. Он сказал мне, что Наталья Петровна осталась с тобою.

— Ох, Василий Петрович! Как бы ты знал, как мне тяжело и горько! Ума не приложу, что мне делать, окаянной. Лукавый меня попутал!

— Как, что это значит?

— Покаюсь тебе во всём, как отцу духовному. Только не брани меня, кормилец мой!

— Ради Бога, скажи скорее, Варвара Ивановна, что сделалось?

— А вот видишь, батюшка. Ты сегодня с мужем шептался, как мы шли от обедни. Я и пристала к нему: скажи, о чём вы шептались? Он долго не говорил. Однако ж я на своём поставила. Он, вишь ты, без вишнёвки обедать не может. Мне в голову и приди: не дам ему вишнёвки, пока всего не перескажет. Он крепился, крепился, да наконец мне всё и рассказал; не велел только говорить Наталье Петровне.

— А ты, верно, не утерпела, Варвара Ивановна? Так ли?

— Согрешила, грешная! Хотела было её утешить и сказала только, что матушка её жива и здорова; а она привязалась ко мне. Я ей больше ничего не открыла. Пусть провалюсь сквозь землю, если я лгу! Она сама догадалась. Побледнела, задрожала, да и кинулась вон из горницы. Я за ней. Куда тебе! И след простыл! Выручи меня из беды, Василий Петрович, помоги как-нибудь, отец родной!

— Встань, Варвара Ивановна, встань! Как тебе не стыдно в ноги кланяться!

— Батюшка ты мой! Не встану! Мне совестно даже глядеть на тебя.

— Не заметила ли ты, по какой улице и в которую сторону ушла Наталья Петровна?

— Невдомёк, отец мой.

— Она, верно, пошла к Милославскому! Дай Бог, чтоб я успел остановить её.

Бурмистров сбежал с лестницы и, вскочив на свою лошадь, пустился во весь опор по берегу Яузы к мосту. Он вскоре скрылся из глаз Варвары Ивановны, смотревшей из окна ему вслед.

Опять раздался стук у калитки. Вошёл в горницу брат Натальи. Бедная Лаптева при-

нуждена была и ему покаяться в своём согрешении. И тот бросился опрометью в погоню за сестрою.

Наконец ещё стучат в ворота. «Ну, это муж, сердце чувствует!» — шепнула Варвара Ивановна, вскочив со скамьи и отирая платком пот с лица.

— Куда ушёл хозяин? — спросил решёточный приказчик, войдя в горницу. — У ворот сказали мне, что его дома нет.

— Не приходил ещё домой! — отвечала Варвара Ивановна.

— Да где ж это он до сих пор шатается? Уж солнышко давно закатилось, пора бы, кажется, и домой прийти. А ты хозяйка, что ли?

— Хозяйка, батюшка.

— Кто ещё у вас в доме живёт?

— Приказчик Ванька Кубышкин да работница Лукерья.

— А ещё кто? Чай, дети есть?

— Были — мальчик и девушка, да от родимца ещё маленькие скончались.

— А нет ли ещё кого в доме?

— Жила у нас крестница моего сожителя, Ольга Васильевна Иванова.

— Где ж она?

— Пропала, батюшка.

— Пропала? Как так? Давно ли?

— В стрелецкие бунты, отец мой.

— В бунты? Да кто тебе сказал, что были бунты?

— Слухом земля полнится! Да вот и соседа нашего стрельцы ограбили.

— Врёшь ты! Не смей этого болтать. Бунта никакого не было. Не только говорить, и думать об этом не велено, а не то в Тайном приказе язык отрежут.

— Виновата, батюшка! Мне и невдомёк, что бунтов не было. Моё дело женское.

— То-то женское. У бабы волос длинен, да ум короток, а язык и волосов длиннее!

— Длиннее, батюшка, длиннее! Как твоей милости угодно.

— А подана ли челобитная о пропаже?

— Не знаю, отец мой. Об этом у мужа спроси.

— Чего ты указываешь! Без тебя знаем, у кого спросить! А какова приметам крестница?

— Невдомёк, батюшка. Волосы, кажись,

рыжеватые, глаза иссера-карие, рот как быть водится и нос как быть водится.

— Ну, ну, хорошо! Засвети-ка фонарь да ступай за мной.

— Куда? Зачем, отец мой!

— А тебе что за дело? Скорее поворачивайся!

Варвара Ивановна, дрожа, как в лихорадке, пошла в находившуюся на конце двора, подле огорода поварню, достала огня и засветила фонарь. Лукерья, спавшая на полу, приподняла голову, поправила впросонках лежавшее у неё в головах толстое полено и снова заснула.

— Где лестница на чердак? — спросил приказчик. — Что глаза-то на меня уставила? Показывай лестницу!

Лаптева, едва передвигая ноги от ужаса, вошла с двора в сени и отперла дверь на чердак. Подходя по двору, приказчик закричал:

— Эй, вы! Не зевать! Двое встаньте у ворот. Никого не выпускайте и не впускайте! Ты Сенька, встань у погреба, ты, Федька, у конюшни, а ты, Антипка, гляди, чтоб кто с двора через забор не перелез.

Войдя в сени вслед за Лаптевой и приближаясь к двери на чердак, приказчик продолжал:

— Ну, что ж стала? Ступай вперёд да свети.

Лаптева, ни жива ни мертва, вошла на чердак. Приказчик, осмотрев все углы, сказал:

— Веди теперь на сеновал. Да нет ли ещё у тебя горницы какой или чулана? Во всех ли я был?

— Во всех, батюшка!

Осмотрев сеновал, конюшню, сарай, погреб и кладовую, приказчик возвратился с Варварой Ивановной в её светлицу. В погребе взял он мимоходом фляжку.

— Ну, прощай, хозяйка! за твоё здоровье мы выпьем, Что в этой фляжке?

— Вишнёвка, отец мой!

— Ладно! Не поминай нас лихом! Да смотри, вперёд не болтай пустого про бунты. Бунтов не было!

— Знаю теперь, батюшка, знаю! Какие бунты! Правда, не одна я про них болтаю, да всё пустое, кормилец! Знать, кому-нибудь во сне нагрезилось.

— А зачем печь у вас сегодня топлена? —

спросил приказчик, приложив руку к печи.

— Сегодня не топили, отец мой, а в воскресенье, по приказу его милости, объезжего. Погода была больно холодна.

— Знать, хорошо натопили. Тепла в избе на месяц будет. И теперь дотронуться нельзя до печки: словно накалённый утюг! В Другой раз топи меньше. Прощай!

Приказчик ушёл. Варвара Ивановна, проводив его, перекрестилась. Не успела она сесть на скамью и Поставить фонарь на стол, как шум шагов послышался на лестнице и заставил её опять вскочить. Вошёл Лаптев.

— Что ты, жена? — воскликнул он, взглянув на Варвару Ивановну, — здорова ли? А фонарь на столе зачем? Разве нет свеч? Да уж пора и огонь гасить, а то, пожалуй, нагрянет решёточный, как снег на голову!

— Сейчас ушёл отсюда решёточный. Напугал меня до смерти! Весь дом обыскивал.

— Как так?

Выслушав подробное донесение, Лаптев похвалил жену за её благоразумие. Она, между прочим, сказала ему что скрыла Наталью на сеновале от поисков.

— Что ж ты за ней не сходишь? Я думаю, бедняжка перепугалась? Сходи за ней скорее!

Поправив тускло горевшую лампаду и взяв фонарь, Варвара Ивановна отправилась на сеновал. Возвратись оттуда через несколько времени, она сказала:

— Наталья Петровна на сене уснула. Таково-то спит сладко, что мне её разбудить было жалко!

— Вот вздор какой! Неужто её на всю ночь оставить на сеновале?

— А что ж, Андрей Матвеич, погода тёплая. Пусть её поспит ещё хоть немножко. Как сами станем ложиться, так можно будет её тогда разбудить; а теперь, право, её жалко тревожить!

— Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Только диво: как могла она заснуть при таком страхе. Решёточный-то недавно ушёл?

— Только что пред тобой вышел.

— Диво, да и только! Вот, подумаешь, спокойная-то совесть. Беда над головой у бедняжки, а она спит себе, словно младенец!

При словах «спокойная совесть» Лаптева тяжело вздохнула.

— Знаешь ли что, жена? — продолжал Лаптев. — Ведь матушку-то Натальи Петровны выручили!

— Как! Кто выручил?

— Наш кум, Иван Борисыч, по наставлению Василья Петровича. Вот видишь, как было дело, Василий Петрович узнал, что сегодня Милославский, отобедав и отдохнув, поехал на весь вечер в гости к приятелю своему, князю Хованскому, а Лысков с дюжиною стрельцов пошёл, слышь ты, по Москве отыскивать Наталью Петровну. Вот Василий Петрович призвал к себе Борисова да человек десять стрельцов Сухаревского полка и послал их в дом к Милославскому. Набольшим в доме остался дворецкий боярина, Мироныч. Когда уж смерклось, Борисов стук в ворота. «Кто там?» — закричал холоп. — «Стрельцы Титова полка, от князя Хованского». — Это, слышь ты, любимый полк боярина, потому что в нём многое множество раскольников, а он сам такой старовер, что и сохрани Господи! Ворота отворили, и Борисов со стрельцами вошёл на двор, вызвал дворецкого и сказал ему, что его-де прислал боярин Милославский с при-

казом: тотчас привести старуху Смирнову в дом князя. «Да как же это? — молвил дворецкий. — Боярин накрепко наказывал без него старуху не выпускать ни на пядь из дому». — «Я уж этого ничего не знаю, — сказал Борисов. — Что нам приказано, то мы и делаем. Пожалуй, мы воротимся и скажем боярину, что ты боишься отпустить без него старуху». — Дворецкий призадумался. «Постой, постой! — молвил он. — Я сам приведу её к боярину», — «Как хочешь!» — отвечал Борисов и пошёл со двора. Перейдя мост, через который лежала дорога дворецкому, Борисов спрятался со стрельцами на дровяном дворе и сквозь щёлку в заборе смотрит на мост. Глядь: дворецкий идёт на костылях впереди со старухой, а за ними четыре боярских холопа с дубинами. Лишь только поравнялись они с забором, Борисов, видя, что на улице никого, кроме них, нет, вдруг кинулся на них со стрельцами. Как раз всех втащили на дровяной двор, перевязали и приставили ружья ко лбу. «Если не уймётесь кричать, тут вам и смерть!» Делать было нечего, замолчали. На крик их прибежал мужик, который сторожил

двор. И мужика пугнули да велели молчать. Борисов приказал стрельцам продержать дворецкого с холопами и мужика на дворе до ночи, а сам и увёл матушку Натальи Петровны на постоялый двор. Там уже готова была повозка. Пришёл Василий Петрович и растолковал всё дело старухе. Она и поехала с Борисовым в Ласточкино Гнездо. Василий Петрович сам её проводил до заставы и сказал на прощанье, что через день и Наталья Петровна к ней приедет.

— Слава Богу! Спасибо Василью Петровичу!

— Уж подлинно что спасибо! Прежде дочь спас, а теперь и мать выручил, да и меня из беды выпутал. Я уж подал челобитную в Земский приказ. Пусть себе ищут мою крестницу! Только вот что: завтра, чуть свет, придёт за Натальей Петровной её братец. Он отпросился на неделю в отпуск из окодемьи, для свидания с родительницею, которая будто бы умирает. Наталье-то Петровне надобно бы было сегодня из Москвы уехать, да не успели всего приготовить. Сходи-ко за ней теперь да разбуди. Пусть она скорее путём спать уляжется, а

потом ты, пока мы сами не легли, сбри и уклади все её пожитки.

Варвара Ивановна, вздохнув, взяла фонарь и вышла из комнаты. В ожидании её возвращения Лаптев начал ходить взад и вперёд по комнате.

— Тьфу ты, пропасть! — сказал он наконец про себя. — Да что она там так долго делает?

— Всё пропало! Она уже в руках злодея Милославского! — воскликнул брат Натальи, войдя в комнату и бросив на пол свою суконную шапку.

— Что с тобой сделалось, Андрей Петрович?

— Я бежал за нею, что было силы, как Гиппомен или Меланий за Аталантой, но не мог уже догнать её вовремя.

— Господи помилуй! Да про кого ты говоришь? Что за Маланья с талантом?

Объяснив Лаптеву сравнение своё, взятое из греческой мифологии, Андрей прибавил:

— Перебежав мост, увидел я вдали, что сестра подходит к дому Милославского. Сердце у меня замерло! Я не мог бежать далее. Она остановилась у ворот. Каково мне было смот-

реть на неё, Андрей Матвеевич, каково мне было видеть её у пещеры тигра, куда она войти хочет для того, чтобы собственною гибелью спасти мать свою, уже спасённую! Перекрестясь, она постучалась и вошла в ворота. Бедная сестра! Бедная матушка!

Андрей не мог говорить более и заплакал.

Во время рассказа его сострадание и гнев попеременно наполняли душу Лаптева. Наконец, он вскочил и, ударив по столу рукою, воскликнул:

— Ах, она окаянная! Наделала дела, да ещё и обманывать меня вздумала! погоди ужо! Видно, не смеет сюда идти-то. Пускай же сидит всю ночь на сеновале! Пускай её терзается; поделом ей!

Андрей, преданный своей горести, ничего не расслушал из сказанного Лаптевым. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Густые облака, покрывавшие всё небо, превратили майский вечер в осеннюю ночь. В душе Андрея было ещё темнее, нежели на улице. Лаптев в сильном волнении ходил из угла в угол, садился, опять вставал. Наступила ночь, и крупные капли дождя застучали по стёклам окон. «Не

сходить ли мне за женой? — подумал Лаптев. — Или нет, пусть её ещё посидит! Не умрёт от этого! Я и сам в старину на этом сеновале сиживал!»

Что побудило его переменить намерение? Желание ли наказать жену за проступок и её исправить, или же чувство мщения, возродившееся при воспоминании о неприятном положении своём на сеновале за двадцать три года пред тем? Пусть решат этот вопрос психологи. А пока они занимаются решением этой важной задачи, взглянем: что делает Бурмистров.

В глубокие сумерки поскакав во весь опор вслед за Натальею от дома Лаптева, он вскоре въехал в многолюдные улицы и должен был пустить лошадь рысью, чтобы не обратить на себя внимание какого-нибудь объезжего и не заставить себя преследовать. В одном переулке встретился он с Борисовым, который шёл с матерью Натальи к постоялому двору. Узнав от него, что он выманил дворецкого из дома Милославского и велел его продержать до ночи на дровяном дворе, Василий поехал к дому боярина. Привязав у вереи свою лошадь и по-

стучась в ворота, сказал он, что прислан от князя Хованского. Во всём доме Милославского один Лысков знал Бурмистрова в лицо; но Василию было известно, что он ушёл со стрельцами отыскивать Наталью.

— Пришла сюда молодая девушка? — спросил он холопа, отворившего ему калитку.

— Беглая-то? Пришла недавно.

— Где же она?

— Спроси об этом у других холопов. Моё дело стоять у ворот.

Василий вошёл в дом. В сенях остановил его слуга вопросом:

— Кого твоей милости надобно?

— Я прислан боярином Иваном Михайловичем. Он из дома князя Хованского велел сюда прийти какой-то девушке. Где она?

— Ни боярина, ни дворецкого нет дома; так мы, общим советом, отвели её в горницу Сидора Терентьича, крестного сына боярина, там её заперли и послали Федьку-садовника сказать об этом Ивану Михайлычу.

— Хорошо! Отведи меня к ней.

— А зачем? Я ведь твоей милости не знаю.

— Ты вздумал ещё умничать. Делай, что

велят! — закричал Бурмистров грозным голосом.

Слуга, оробев, повёл Василья вверх по крутой лестнице к светлице, где жил Лысков. Сняв со стены висевший на гвозде ключ, он отпер дверь и вошёл за Бурмистровым в горницу. Наталья сидела у окна. Бледное лицо её выражало безнадежность и отчаяние. Увидев Василья, она вскочила и закричала:

— Ради Бога, скажи: где моя бедная матушка? Злодеи заперли меня и не дают мне с нею увидеться.

— Успеешь ещё с нею увидеться! — отвечал Бурмистров сурово. — А теперь ступай за мной: боярин Иван Михайлович велел теперь же привести тебя к нему.

— Я не выйду из этого дома, пока не увижу с нею!

— Так не будет же по-твоему! В этом доме ты никогда с нею не увидишься. Мы упрятали её в доброе место. Сейчас иди за мной! Мне дожидаться некогда.

Удивлённая Наталья посмотрела пристально на Бурмистрова. Поняв двусмысленность слов его, она встала и хотела идти за

НИМ.

— Постой, постой, голубушка! — сказал слуга. — Мы тебя посадили сюда общим советом, так один я отпустить тебя не могу. Надобно прежде собрать всю дворню да потолковать.

— Разве ты не слыхал, дурачина, что боярин приказал привести её сейчас же к нему?

— Воля твоя, господин честной, а один я отпустить её не могу. Да чу! Кто-то идёт по лестнице! — сказал слуга, подойдя к двери. — Никак Сидор Терентьич! Он и есть. Изволь его спросить, а теперь наше дело сторона.

Слуга, пропустив Лыскова в его горницу, пошёл вниз в сени, где он был дневальным.

Сидор Терентьевич остолбенел от удивления. Услышав от слуг, что Наталья заперта у него в комнате и что за нею прислал отец его какого-то стрелецкого пятисотенного, он во все не ожидал увидеть Бурмистрова в своей комнате.

— Послушай, бездельник! — сказал ему Василий. — Если ты пикнешь и помешаешь мне делать, что надобно, так я тебе снесу голову с плеч. Знаю, что я этим погублю себя, но тебе

от этого легче не будет.

— Что это значит?... Открытый разбой, что ли?

— Молчать, говорю я тебе! — сказал Василий, вынув саблю.

Лысков замолчал, дрожа от страха, и злости, и внутренне жалел, что всех стрельцов, с которыми он ходил отыскивать Наталью, разослал в разные стороны для поисков. На храбрость холопов Милославского не мог он надеяться, зная притом, что Бурмистров всегда верно исполнял свои обещания.

— Проводи нас с Натальей Петровной за ворота. Только повторяю тебе: если ты не только словом, хоть знаком, изменишь нам и вздумаешь нас как-нибудь останавливать, я уж не пожалею ни себя, ни твоей головы. Даю в том честное слово, клянусь всеми святыми!

Вложив в ножны саблю и взяв Лыскова под руку, он пригласил Наталью идти перед ними и, увидев толпу слуг, которые собрались на дворе из любопытства, начал дружески с Лысковым разговаривать:

— Приходи же завтра ко мне обедать! Грешно за-бывать старых приятелей! — ска-

зал он громко. — Не забудь, что жизнь твоя на волоске и что я никогда не изменял своему слову! — прибавил он шёпотом.

Они вышли за ворота. Лысков, по приказанию Бурмистрова, отвязал от верей лошадь Василья, и последний повёл её одною рукою за повод, держа другою Лыскова. Окружённые густою темнотою вечера, приблизились они к мосту. Тогда Бурмистров, опустив руку Лыскова, вскочил на лошадь, посадил Наталью, вместе с собою и полетел, как стрела.

— Держи! Грабёж! Разбой! — закричал во всё горло Лысков.

В несколько минут Бурмистров был уже у своего дома и приказал Гришке, переодевшись ямщиком, заложить повозку. Взяв с собою все свои деньги и небольшой чемодан с лучшими вещами, Василий поехал с Натальей к Лаптеву.

Андрей всё ещё сидел у окна, а Лаптев расхаживал большими шагами по горнице. Вдруг услышали они шум на лестнице, дверь отворилась, и вошла Наталья с Бурмистровым. Она бросилась на шею брату. Долго не могли они оба ни слова выговорить. Бурмист-

ров смотрел на них с умилением. Лаптев плакал, как ребёнок, от радости.

— Ну, Василий Петрович! — сказал он наконец, отирая рукавом слёзы. — Ты настоящий ангел-хранитель Натальи Петровны! Как это ты её выручил?

— Я расскажу тебе об этом после, Андрей Матвеевич; а теперь надобно подумать о том, как бы скорее отправить Наталью Петровну с братцем в дорогу.

— Как, неужто теперь, ночью? Да и лошадей нигде не достанешь!

— Повозка уж у ворот! Не должно терять ни минуты.

— Коли так, то всё мигом будет готово.

— А где Варвара Ивановна?

— На сеновале. Ушла туда, да и не возвращалась. Глаза показать стыдно!

— Пойдём к ней скорее. Как же ты так, Андрей Матвеевич, её там оставил?

— Надо же было её проучить.

— Вот какой строгий! Я этого за тобой и не знал.

Все сошли вниз. Лаптев засветил свечу и повёл всех к сеновалу. Дождь уж перестал, об-

лака редели, и месяц с усеянного звёздами небосклона светил гораздо яснее нежели свеча Лаптева.

— Жена! — закричал он.

— Виновата, Андрей Матвейч, виновата! — раздался голос на сеновале. — Попутал меня лукавый!

— То-то лукавый! Вперёд слушайся мужа, да не говори всего, что знаешь. Сойди скорее! Наталья Петровна уж здесь!

— Здесь! Ах ты, моя жемчужина! Уф! гора с плеч свалилась! Где она, моё ненаглядное солнышко?

Варвара Ивановна слезла по крутой лестнице с сеновала и бросилась обнимать Наталью. Через полчаса все её вещи были уложены. Лаптев тихонько положил в чемодан кожаный кошелёк с рублёвиками. Потом все вышли в светлицу Варвары Ивановны и сели. Помолчав немного, все вдруг поднялись с мест, помолились и начали прощаться с отъезжавшими. Бурмистров помог Наталье сесть в повозку. Брат сел подле неё.

— Дай Бог вам счастья и всякого благополучия! — говорил Лаптев.

— Дай тебе Господи жениха по сердцу! — повторяла, со слезами на глазах, Варвара Ивановна. — Не забудь нас, моя ласточка! Мы тебя никогда не забудем! — Гришка, взмахнув рукою, пустил лошадей вскачь.

Бурмистров ехал верхом подле повозки. Вскоре приблизились они к заставе. За двадцать серебряных копеек стоявший на часах сторож пропустил их за город без дальних расспросов. До солнечного восхода ехали они без отдыха. Тогда, остановясь в каком-то селе, оглянулись они на Москву; но она уже исчезла в отдалении.

VI

*Судьба нас будто берегла!
Ни беспокойства, ни сомненья!
А горе ждёт из-за угла.
Грибоедов.*

Узнав на опыте, как опасно поверять тайну не только женщине, но даже и женатому мужчине, Бурмистров не сказал при прощанье Лаптеву, что он решился тихонько уехать из Москвы, чтобы скрыться от преследований

Милославского.

Путешественники наши, отдохнув в селе (которое, как узнали они, называлось Погорелово), пустились далее и вскоре с большой Троицкой дороги своротили на; просёлочную, пролежавшую сквозь густой лес. Гришка принуждён был ехать шагом. Брат Натальи вылез из повозки, пошёл подле ехавшего верхом Василья и начал с ним разговаривать о происшествиях в Москве и о случившемся перево-роте.

— Я удивляюсь, — сказал Андрей, — как царица Софья Алексеевна до сих пор ничем не наказала Сухаревский полк за его приверженность к царю Петру Алексеевичу. Впрочем, быть может, она читала превосходное творение Платона о праведном. Она, как я слышал, большая охотница до чтения и даже сочиняет стихи.

— Она хочет уверить народ, что не ею произведён бунт и что она приняла правление по сильной просьбе патриарха и Думы для того только, чтобы положить конец смятению. И за что бы можно было наказать явно Сухаревский полк? Неужели за то, что он, помня при-

сягу, хотел противиться мятежникам и защищать своего законного государя? Я узнал, однако ж, что Милославский предложил ей послать весь полк в какой-нибудь дальний город и что она на это согласилась.

— Стало быть, она не читала Платона... И тебе, Василий Петрович, надобно будет идти с полком?

— Нет. В первый день после бунта я подал челобитную об отставке. Вчера узнал я, что меня уже уволили и что дано тайное приказание Милославскому при первом удобном случае схватить меня ночью и отправить на всю жизнь в Соловецкий монастырь.

— Слава Богу, что ты успел из Москвы уехать; а не то мог бы невинно пострадать, подобно Сократу.

— Мне давно бы надобно было бежать из Москвы... Милославский как-то узнал, что я подрубил ногу его дворецкому. Удивительно, как я до сих пор уцелел! Видно, было слишком много у него хлопот и без меня. Однако же верно бы он наконец меня вспомнил, особенно после вчерашнего случая. Я думаю, Лысков уж ему рассказал, что я гулял с ним по-

приятельски под руку и звал его к себе обедать.

— Да, да! — сказал Андрей, засмеявшись. — Сестра мне сказывала. Это мне напомнило поступок Диогена, если не ошибаюсь, или другого какого-то циника, правильнее же сказать, киника, ибо название это происходит от греческого слова кион, которое значит пёс, собака. Однажды какой-то богач пригласил этого киника к себе обедать и после обеда начал показывать ему свои разукрашенные палаты. Захотелось кинику плюнуть. Видя везде разостланные по полу дорогие ковры, киник и плюнь в бороду хозяину. Я не нашёл-де хуже места в твоих палатах. И тебе бы, Василий Петрович, догадаться да плюнуть в бороду Лыскову!

Рассказав этот анекдот из древней истории, Андрей и сам заметил, что он привёл его вовсе некстати; но делать было нечего: сказанного не воротишь. Притом Андрей знал правило всех учёных, что раз сказанное, к стати или некстати, основательно или неосновательно, умно или глупо, — должно поддерживать всеми силами, всем возможным красно-

речием. Впрочем, Бурмистров не сделал Андрею ни возражения, ни замечания, ни вопроса. Вероятно, он, занятый другими мыслями, вовсе не расслушал рассказа о кинике, и этот рассказ сошёл с рук благополучно.

Ехавшая впереди повозка, миновав лес, остановилась.

— Андрей Петрович! — закричал Гришка, приподнявшись и оборотясь к брату Натальи. — Сестрица просит тебя, чтобы ты сел в повозку. Дорога стала получше, всё идёт по-лем, да и Ласточкино Гнездо уж видно.

Андрей сел подле сестры. Гришка свистнул и пустил вскачь лошадей. Переехав вброд небольшую речку, путешественники встретили на берегу другую повозку. Они остановилась.

— Василий Петрович! — закричал голос, и выскочил из повозки Борисов. Василий остановил свою лошадь, и Гришка с большим трудом удержал разбежавшуюся тройку.

— Матушка Натальи Петровны благополучно доехала в Ласточкино Гнездо! — сказал Борисов. — А ты как сюда попал, Василий Петрович?

Василий рассказал ему причину своего поспешного выезда из Москвы и поручил ему продать все оставшиеся в доме его вещи и деньги взять себе.

— Нет, Василий Петрович, я все деньги, какие выручу, к тебе перешлю или привезу сам.

— Разве ты не хочешь принять от меня последнего, может быть, в жизни подарка? Мы Бог знает когда ещё с тобою увидимся!

— Что ты это говоришь, Василий Петрович!

Бурмистров соскочил с лошади, подошёл к Борису и сказал ему вполголоса:

— Меня из полка уволили, и царица Софья Алексеевна тайно велела Милославскому схватить меня и отвезти в Соловецкий монастырь. А по твоей челобитной, которую ты вместе со мною подал об отставке, приказано тебе отказать. Сухаревский полк скоро пошлют в какой-нибудь дальний город. Чаще уведомляй меня о себе. Старайся при первом случае выйти в отставку и прямо приезжай ко мне. Теперь всё в руках царицы Софьи Алексеевны; но авось придёт время — и всё переменится. Тогда опять начнём служить

вместе, по-прежнему. Ну, прощай, Борисов! Не забывай меня.

— Прощай, Василий Петрович, прощай! Забудь меня Бог, если я тебя забуду. В малолетстве ещё лишился я отца и матери; жил бедняком бесприютным, без роду и племени: ты призрел меня, ты...

Борисов не мог говорить более: слёзы градом покатались по лицу его.

— Матушка моя, умирая на дальней стороне, — продолжал Борисов прерывающимся от сильного душевного волнения голосом, — через чужих людей прислала мне этот образ. Ей не удалось благословить своего сына!... Ты заменил мне отца и мать, Василий Петрович! Может быть, мы в этой жизни уж не увидимся: благослови меня вместо отца и матери!...

Борисов, сняв с шеи висевший на чёрном шнурке небольшой серебряный образ Богоматери, подал Бурмистрову и стал перед ним на колена.

Тронутый до слез Василий, подняв благоговейный взор к небу, троекратно над головою Борисова сделал образом знамение креста. Борисов, поклонясь три раза в землю, прило-

жился к иконе и, приняв её из рук Василья, опять надел на себя.

— Прощай, Василий Петрович, второй отец мой! — воскликнул Борисов. — Приведи меня Господь ещё когда-нибудь с тобою увидеться!

Они бросились друг другу в объятия и долго не могли расстаться. Наконец Борисов вскочил в повозку, взял вожжи и, переехав речку, поскакал по дороге к лесу. Въезжая в лес, он оглянулся и, увидев на берегу речки Василья, который всё ещё стоял и смотрел ему вслед, закричал издали: «Прощай, второй отец мой!» — и повозка скрылась в чаще леса.

Через полчаса путешественники въехали в Ласточкино Гнездо. На холмистом берегу небольшого озера, в которое впадала речка, стояли восемь крестьянских хижин. Одна из них, находившаяся на краю, отличалась, от прочих величиною, надстроенною над нею светлицею, размалёванными ставнями и вычурною резьбою около окошек. Это был дом помещицы. Гришка остановил у ворот тяжело дышавших от усталости лошадей. На скамье перед домом сидела в задумчивости старуха в чёрном сарафане.

Наталья и Андрей выпрыгнули из повозки. Раздались восклицания: «Матушка!» — «Дети!» — и в немом восторге старушка прижала дочь, а потом сына к своему сердцу. Когда услышала она, что освобождением своим и спасением дочери обязана Бурмистрову, то, бросясь к нему, начала обнимать его ноги. Василий поднял её и повёл под руку в дом своей тётки.

На дворе встретила их пожилая женщина в сарафане, из голубой китайки, обшитой мишурным позументом, и в шапочке из заячьего меха, белизна которой делала ещё заметнее смуглый цвет её лица, загоревшего от солнца. Это была Мавра Савишна Брусницына, владетельница Ласточкина Гнезда.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — сказала она. — Здравствуй, любезный племянничек! Мы уже с тобой, кажась, лет пять али побольше не видались!

— Да, тётушка! — отвечал, здороваясь с нею, Бурмистров.

— Милости просим в горницу! Я ждала ещё сегодня утром дорогих гостей. Что так замешкались? Скоро уж солнышко закатится.

— Нельзя было ранее приехать, тётушка.

— А уж у меня ужин готов и баня топится с раннего утра.

Угостив приезжих ужином, который состоял из нескольких ломтей ржаного хлеба, из щей, поданных в большой деревянной чашке, и из гречневой каши, помещица принудила сначала Наталью, а потом племянника и Андрея отправиться в баню.

— Помилуйте! — говорила она. — У меня дрова-то не купленные! Да как же это можно после дороги не сходить в баню?

— Велика ли дорога, тётушка! Всего-то проехали не более пятидесяти вёрст.

— Да уж воля твоя, много ли, мало ли проехали, а всё-таки вы дорожные, и в бане вам надо попариться. Ведь с утра топится! Я чай, в ней теперь такой пар, что на корточки присядешь!

Воспользовавшись против воли банею, в которой в самом деле легко было задохнуться от жара, все собрались в верхнюю светлицу.

— Что это, племянник, у вас в Москве понаделалось? — спросила помещица. — Вчера посылала я в село Погорелово моего крестья-

нина Ваньку Сидорова за харчами. Ему порасказали там такие диковинки, что волосы у меня на голове стали дыбом.

— А что он слышал, тётушка?

— Сказывали ему, что злодеи стрельцы проломали кремлёвскую стену, царский дворец и Грановитую Палату по камешку разнесли, патриарху бороду опалили, боярина Матвеева втащили на маковку Ивана Великого и оттуда сверзили на пику, всех Нарышкиных живьём изжарили на вениках да на хворосте, подкопались под Ивана Великого, опутали его, батюшку, верёвками, свалили наземь, и во всей Москве-матушке не оставили ни кола, ни двора, хоть шаром покати!

— Ну, нет, тётушка! — отвечал, улыбнувшись, Бурмистров. Были, правда, в Москве смятения, однако ж твоё уж слишком много насажали. Слухи и толки похожи на снеговой ком: чем далее катится, тем больше становится.

Василий рассказал тётке о бывших в Москве происшествиях.

Впрочем, сказал Андрей, — дивиться нечему! И в древние времена бывали мятежи, ко-

торые ничем не уступят бунту стрельцов. Например: Катилина составил заговор, и если б не Цицерон, которого многие называют (и, кажется, справедливо) Кикерон, то в Риме произошло бы ещё более неистовств, нежели в Москве.

Так, батюшка! — сказала Мавра Савишна, ничего не понявши из сказанного Андреем. — Экая эта проклятая Катерина! Видно, она была колдунья, коли сказать заговор смыслила. В селе Погорелове живёт старый старичишка, Антип Ильин. Змея ли кого ужалит, ногу ли кто топором разрубит, — как раз заговорит, так что и кровь не пойдёт.

Андрей, с усмешкой, выразившей сожаление и самодовольство, начал подробно объяснять, кто был Катилина и какой заговор он составил. Мавра Савишна слушала его, по-видимому, с величайшим вниманием. Когда он довёл рассказ свой до самого занимательного места, а именно до известной речи Цицерона, то остановился для краткого размышления: перевести ли речь эту целиком, или объяснить вкратце её содержание. Хозяйка в это время вдруг встала, отворила дверь в сени и

закричала работнице:

— Акулька! Приготовь поскорее в верхней светлице из соломы две постели, для Натальи Петровны и её матушки, а для Василья Петровича и Андрея Петровича вели постлать сена в чулане. Дорогим гостям, я чай, уже спать хочется.

— Пора, пора, Мавра Савишна! — сказала старушка Смирнова и перекрестила рот, по обычаю, и доньне наблюдаемому при зевоте всеми благочестивыми людьми.

Андрей нахмурился, а Василий и Наталья не могли удержаться от улыбки. По приглашению хозяйки, женщины пошли в верхнюю светлицу, а мужчины в чулан, устроенный подле её нижней горницы. Последняя совмещала в себе и столовую, и гостиную, и залу, и все прочие нынешнего времени комнаты, кроме передней, которую заменяли стекльчатые сени. Кухня устроена была на дворе, под одною кровлею с сараем, конюшнею, погребом, курятником и банею. При всём том обладательница Ласточкина Гнезда гордилась своим домом, устроенным по её плану, гораздо более, нежели в древности Семирами-

да своим дворцом с висячими садами.

Андрей, по миновании срока своему отпуску, возвратился в Москву. Бурмистров заменил его при прогулках, которыми Наталья, страстная любительница сельской, природы, не упускала каждый день наслаждаться. Василий не помнил времени счастливее из всей своей жизни. Чем короче узнавал он Наталью, тем более усиливались в нём любовь к ней и уважение. И в невинном сердце девушки давно таившаяся искра любви, заронённая сначала благодарностию к своему защитнику и избавителю, постепенно зажгла огонь такой чистый, такой священный, что Зороастр верно бы предписал в Зендавесте поклоняться этому огню, если б он мог гореть на жертвеннике.

Однажды, в прекрасный день июня, под вечер, Василий и Наталья, прогуливаясь по обыкновению, дошли по тропинке, извиравшейся по берегу озера, до покрытой кустарником, довольно высокой горы. С немалым трудом взобравшись на вершину, сели они отдохнуть на траву, под тень молодого клёна, и начали любоваться прелестными окрестно-

стями. Перед ними синелось озеро; на противоположном берегу видно было Ласточкино Гнездо, окружённые плетнями огороды, нивы и покрытые стадами луга. Слева, по обширному полю, которое примыкало к густому лесу, извивалась речка и впадала в озеро; по берегам её желтели вдали соломенные кровли нескольких деревушек. Справа мрачный бор, начинаясь от самого берега озера, простирался вдаль, постепенно расширялся, занимал почти весь южный горизонт и, как море, синелся в отдалении. Жители Ласточкина Гнезда и окрестных деревень наследовали от предков своих поверье, что в этом бору водятся нечистые духи, ведьмы и лешие. Несмотря на это, поселяне, занимавшиеся охотой, ходили в Чёртово Раздолье (так называли они бор) для стрельяния дичи и рассказывали иногда, возвратись домой, такие чудеса, что волосы на голове поднимались от ужаса у слушателей.

Солнце скрылось в густых облаках, покрывавших запад. На юго-восточном, синем небосклоне засиял месяц и, отразясь в озере, рассыпался серебряным дождём на водной по-

верхности, струимой лёгким ветром; из-за мрачного, необозримого бора, черневшего на юге, медленно поднималась туча; изредка сверкала молния и раздавались протяжные удары отдалённого грома.

Посмотри, Василий Петрович, — сказала Наталья, — как бледнеет месяц, когда блещет молния!

— Кто? Я бледнею? Неужели ты думаешь, что я боюсь грозы? — отвечал с улыбкой Бурмистров, выведенный словами Натальи из глубокой задумчивости.

— Не ты, а месяц. Я знаю, что стрелецкий пятисотенный не такой трус, как он.

— Виноват! Я так задумался, что вовсе не расслышал тебя, милая Наталья.

Яркий румянец покрыл щеки девушки. Она потупила глаза и начала дышать так прерывисто, как будто бы чего-нибудь сильно испугалась. Это удивило Бурмистрова; он не заметил, что в рассеянности назвал Наталью милою.

Что с тобой сделалось, Наталья Петровна?

— Ничего... мне показалось, что за этим деревом... Какая сильная молния!... Я испуга-

лась молнии.

— Как! Ты мне говорила, что вовсе не боишься грозы.

— Это правда! Я не знаю, отчего я в этот раз так испугалась. Скоро пойдёт дождь: не пора ли нам домой, Василий Петрович?

— Мы в полчаса успеем дойти до дому. Туча тянется к западу и, вероятно, пойдёт стороной.

— Солнце уж закатилось.

— О! нет ещё; его заслонило густое облако.

— Нам надобно будет идти по берегу, мимо этого бора. Хотя я и не верю тому, что рассказывала твоя тётушка, однако ж... я боюсь, чтобы матушка не стала об нас беспокоиться.

— Мы ещё так мало гуляли. Отчего сегодня ты так домой торопишься? Матушка знает, что мы всегда долго гуляем и что тебе опасаться нечего, когда брат тебя провожает. Ты помнишь, что она, отпуская тебя в первый раз гулять со мною, назвала меня в шутку своим сыном и сказала: смотри же, береги сестрицу! Скажи, Наталья Петровна, как думает обо мне твоя матушка?

— К чему об этом спрашивать? Ты сам зна-

ешь, что ты для неё сделал.

— И всякий сделал бы то же на моём месте. А ты, Наталья Петровна, как обо мне думаешь?

— Ах; какая молния!... Право, нам пора домой... мы и не заметим, как набежит туча.

Наталья хотела встать, но Василий взял её за руку. Сердце бедной девушки забилося, как птичка, попавшая в силок; едва дыша, она не смела поднять глаз, потупленных в землю. Бурмистров чувствовал, как дрожала рука её. На длинных ресницах блеснула слеза, покатилась по разгоревшейся щеке и упала на пучок васильков, который украшал грудь девушки. Василий, устремив на неё взор, выражавший чувства, на языке человеческом невыразимые, сказал ей:

— Матушка твоя, шутя, назвала меня своим сыном. Но если б она сказала это не в шутку, то я был бы счастливейшим человеком в мире. От тебя зависит, милая Наталья, моё счастье. Скажи: любишь ли ты меня столько же, сколько я тебя люблю? согласишься ли идти к венцу со мною? Реши судьбу мою. Скажи: да я ли нет?

Наталья молчала. Прерывистое дыхание и прелестные, полуоткрытые уста показывали всю силу её душевного волнения.

— Не стыдись меня, милая! Скажи мне то словами, что давно уже говорили мне твои прекрасные глаза. Неужели я обманывался?

— Я должна во всём повиноваться матушке, — сказала Наталья трепещущим голосом. — Если она велит мне...

— Нет, милая Наталья, я не сомневаюсь, что матушка твоя согласится на брак наш; но я тогда только вполне буду счастлив, когда уверюсь, что ты волею идёшь за меня, что ты меня любишь. Скажи: любишь или нет?... Но ты молчишь! Итак... нет!... Прости меня, Наталья Петровна, что я тебя встревожил, — продолжал Василий, опустив её руку. — Забудем разговор наш. Вижу, что я обманулся в надежде. Завтра же на коня: поеду, куда глаза глядят! Без тебя нигде не найти мне счастья. Ты скоро забудешь меня, но я, где бы ни был, буду тебя помнить, буду любить тебя, любить до гробовой доски!

Крупные слёзы покатались по пылающим щекам девушки. Закрыв глаза одною рукою,

тихонько подала она другую Василию и произнесла едва слышным голосом:

— Люби меня!

В это время яркая молния осветила приближавшуюся грозную тучу, и грянул сильный гром; поднявшийся ветер закачал вершины деревьев, в густоте бора раздался ружейный выстрел, но счастливицы ничего не видали и не слышали: они как будто улетели на небо.

Возвращаясь домой, они старались передать друг другу все надежды и опасения, все радости и печали, которые попеременно наполняли сердца их со времени первого свидания. Казалось, они боялись упустить случай высказать все, что таили так долго в глубине сердца. С некоторым удивлением и с неизъяснимо-сладостным чувством предаваясь взаимной откровенности, которая казалась им за полчаса невозможною, они и не заметили, как дошли до Ласточкина Гнезда. Несмотря на их усталость, оба досадовали, что дорога не продлилась ещё на несколько вёрст для того, чтобы они успели все мысли, все чувства, наполнявшие сердца их блаженством, сооб-

щить друг другу. Им представлялось, что вся природа разделяет их счастье. Шум ветра, потрясавшего ветви деревьев, плескание волн, рассыпавшихся седую пеною на берегу озера, и удары грома казались им выражением радости, голосом любви, одушевляющей и неодушевлённую даже природу.

В тот же вечер вдова Смирнова благословила образом Спасителя дочь свою и Василья и, обнимая их, со слезами радости назвала двух счастливицев милыми детьми.

С указательного, нежного пальчика Натальи переместилось золотое кольцо на мизинец Василья, а он за этот подарок поблагодарил невесту жемчужным ожерельем, которое досталось ему в наследство от матери. Всякий, кто женится или женился по любви, знает, каким необыкновенно сладостным чувством это небольшое слово «невеста», произносимое в первый раз, наполняет сердце.

Хозяйка, узнав о помолвке своего племянника, показала необыкновенный свой дар красноречия, прочитав без отдыха и скороговоркою длинное поздравление, со всеми употребительными и до сих пор между простым

народом в подобным случаях прибаутками и присловицами: потом побежала она в чулан, принесла оттуда фляжку с настойкой и глиняный стакан, принудила старуху Смирнову поздравить жениха и невесту и налила стакан снова.

— Дай вам Господи, — сказала она, — совет да любовь, прожить сто лет да двадцать и завестись таким же домком, какой я себе построила! — Потом, выпив стакан и поставя его на столе, Семирамида затянула весёлую свадебную песню; подпёрла одну руку в бок, а в другую взяв платок, начала им размахивать, притопывая ногами, приподнимая то одно, то другое плечо и кружась на одном месте.

На другой день, когда Василий ушёл гулять с невестою, тётка его, призвав всех своих крестьян, приказала перегородить досками нижнюю свою горницу и прорубить по середине дверь, которую она завесила простынёю. Из полотна, данного помещицею, жёны и дочери крестьян сшили перину и подушки и набили их сеном. К стене велела она прикрепить тонкими дощечками половину раз-

битого своего зеркала, в которое не без труда можно было узнать себя без привычки, потому что поверхность стекла была не очень гладка. При всём том она имела полное право гордиться и этим зеркалом: в то время не только в избе небогатой помещицы, но и в домах знатных людей зеркала почитались за большую редкость.

— Ну! — сказала она, отпустив крестьян и крестьянок и осматривая приготовленную ею горницу. — Вот и спальня готова! Всё мигом скипело! То-то племянник подивуется!

Бурмистров, возвратясь с гулянья, в самом деле удивился неожиданной перестройке дома и от искреннего сердца благодарил тётку за её усердие. Наталья, услышав, что Мавра Савишна называет новую комнату спальнею Василья, покраснела и убежала в сад Семирамиды, несмотря на убедительные приглашения осмотреть архитектурное её произведение.

— Взглянь-ка, племянник, — говорила Мавра Савишна, — здесь и зеркало есть!

Бурмистров, взглянув в зеркало, чуть-чуть не захохотал: хотя он был редкой красоты

мужчина, но в зеркале увидел какого-то калмыка, очень неблагообразного; неровное зеркало переделало всё лицо Василья по-своему.

День, назначенный для свадьбы, по окончании Петрова поста, в начале июля, приближался. Василий, оседлав свою лошадь, поехал в село Погорелово, где по словам тётки, мог купить все, что только было нужно для его свадьбы. Приехав в село, он прежде всего отыскивал священника. Не объявив ему своего имени и сказав, что он желает по некоторым причинам приехать из Москвы в село венчаться с своею невестою, Бурмистров спросил, можно ли будет обвенчать его без лишних свидетелей?

— Да почему твоя милость так таиться хочет? Согласны ли родители на ваш брак?

— У меня родители давно скончались, а у невесты жива одна мать; она приедет вместе с нами. Нельзя ли, батюшка, сделать так, чтоб, кроме нас, никого не было в церкви? Я бы за это тебе очень был благодарен.

— Чтоб никого не было в церкви? Гм! Это сделать будет трудненько. Надобно, по крайней мере, чтоб приехало с вами несколько

свидетелей; а то этак, пожалуй, и на родной обвенчаешь. Нарушить мою обязанность я не соглашусь ни за что в свете. Старинный знакомец мой, покойный отец Пётр, по прозванию Смирнов, попал было раз в большие хлопоты.

— А! так ты был знаком с ним, батюшка?

— Как же! Я до сих пор, как случится быть в Москве, навещаю старушку, вдову его. Живали она? Уж я её года с два не видал.

— Жива и здорова. Пожалуй, я её попрошу приехать со мною. И она тебе скажет, что никакого препятствия к моему браку нет.

— Хорошо, хорошо! Мне очень приятно будет с нею повидаться.

— Нельзя ли будет обвенчать меня попозже вечером или даже ночью?

— Ночью? Гм! А вдова-то Смирнова будет с вами?

— Будет.

— Пожалуй, если уж тебе так хочется. Да что это тебе так вздумалось? Кто венчается ночью? Воля твоя, а уж верно тут что-нибудь да есть.

— После венца я тебе всё объясню, батюш-

ка. Ты сам увидишь, что причины моего желания основательны и никак не могут ввести тебя в какие-нибудь хлопоты.

— Ладно! Хорошо! А это что? — продолжал священник, увидев, что Бурмистров, положил ему на стол кожаный кошелёк. — Нет, нет, воля твоя, я не возьму! После свадьбы, если ты захочешь чем-нибудь поблагодарить меня, я не откажусь: у меня большое семейство. А теперь я не приму ничего!

— Мне бы хотелось, батюшка, чтоб разговор наш остался между нами и...

— Обещаю тебе, что всё останется в тайне. Я не сделаю вреда ближнему нескромностью, хотя и не знаю, в чём состоит этот вред. Возьми же, сделай милость, назад свой подарок.

Бурмистров принуждён был взять назад кошелёк и простился с священником. Выйдя на крыльцо, он чрезвычайно удивился: лошадь его, которая была привязана к перилам, исчезла. Думая, что она сорвалась и убежала, он вышел за ворота.

— Держи! хватай его! — раздался крик. Толпа крестьян окружила Бурмистрова.

Вовсе не ожидая такого внезапного напа-

дения, он не успел обнажить своей сабли; его обезоружили и связали. В одном крестьянине узнал он переодетого десятника стрелецкого Титова полка. Десятник сел с ним вместе в телегу, стоявшую у ворот. Несколько конных стрельцов, переодетых в крестьянское платье, окружили их.

— Вези! — закричал ямщику десятник, и вскоре телега, сопровождаемая стрельцами, выехала из села на большую дорогу. Толпа любопытных поселянок и мальчишек смотрела вслед за ними.

— Куда это, кумушка, его повезли? — спросила одна поселянка у другой.

— Знать, в Москву.

— Да зачем это? Как его верёвками-то, бедного, скрутили!

— Видно, он из Нарышкиных али изменник какой. Взглянь, как скачут: пыль столбом!

— Жаль его, горемычного!

— И! что его жалеть, кумушка, поделом воору и мука!

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

*С кем был! Куда меня закинула судьба!
Грибоедов.*

Солнце уже закатилось, когда Бурмистрова привезли в Москву. Телега остановилась в Китай-городе близ Посольского двора, у большого дома, окружённого каменным забором [37]. Ворота отворились, и телега через обширный двор подъехала к крыльцу.

— У себя ли боярин? — спросил десятник вышедшего на крыльцо слугу.

— Дома. У него в гостях Иван Михайлович с крестным сыном.

— Скажи князю, что мы поймали зверя. Спроси: куда его посадить велит?

Слуга побежал в комнаты и, вскоре возвратись, сказал десятнику, что боярин с гостями ужинает и велел тотчас представить ему пойманного. Четыре стрельца с обнажёнными

саблями и десятник ввели связанного Бурми-
строва в столовую и остановились у дверей.

— Добро пожаловать! — сказал сидевший
подле Милославского старик в боярском каф-
тане. Длинная седая борода, чёрные глаза,
блиставшие из-под нахмуренных бровей, и
лоб, покрытый морщинами, придавали лицу
старика важность и суровость. Это был князь
Иван Андреевич Хованский.

— Где ты поймал этого молодца? — спро-
сил князь десятника.

— В селе Погорелове, вёрст за сорок от
Москвы.

— Вот уж он куда успел лыжи направить!
Нет, голубчик, хоть бы ты ушёл на дно мор-
ское, так я бы тебя и там отыскал! Ну что,
Иван Михайлович, — продолжал Хованский,
обратясь к Милославскому, — умею я сдер-
жать слово? Уж коли я обещаю что-нибудь
другу, так непременно исполню!

— Спасибо тебе, князь! — сказал Милослав-
ский. — Постараюсь отплатить тебе услугу.
Царевна Софья Алексеевна будет тебе очень
благодарна.

— Что же с этим молодцом делать прика-

жешь? — спросил Хованский. — Я его отдаю тебе головою. Вчера я подарил тебе затравленного зайца, а сегодня Бурмистрова. Который зверь лучше?

— Оба хороши.

— Нет, батюшка, — возразил Лысков со злобною усмешкою, — последний зверь лучше. Пословица говорит: блудлив, как кошка, а труслив, как заяц. А Бурмистров похож и на зайца, и на кошку; стало быть, он зверь диковинный, какой-нибудь заморский кот...

Милославский и Хованский засмеялись.

— А знаешь ли, Сидор, другую пословицу: не всё коту масленица, бывает и великий пост, — сказал Милославский. — И заморскому коту пришлось попоститься.

Бурмистров, слушая все эти насмешки, с трудом мог скрывать кипевшее в сердце негодование. Обнаружить свои чувства значило бы увеличить злобную радость торжествующих врагов; поэтому он решился с видом хладнокровия на все колкости не отвечать ни слова. Думая, что насмешки не достигают цели и не язвят Бурмистрова, Милославский, вдруг приняв на себя важный вид, спросил

грозным голосом:

— Как смел ты украсть мою холопку? Ответь, бездельник!

— Я не украл, а освободил несчастную девушку, закабалённую обманом.

Губы Милославского посинели и задрожали. Ударив кулаком по столу, он вскочил, хотел что-то сказать, но не мог ничего выговорить, задыхаясь от ярости. Даже Лысков испугался и облил себе бороду пивом из поднесённой им в то время ко рту серебряной кружки.

— И, полно, Иван Михайлович, гневаться! — сказал Хованский, встав из-за стола, взяв за руку и усаживая Милославского. — Пусть его полается! Собака лает, ветер носит. Дай срок: авось запоёт другим голосом!

— Куда ты скрыл мою холопку? — вскричал Милославский. — Сейчас признавайся! Этим одним можешь спастись от ожидающей тебя казни!

— Никакие мучения и казни, — отвечал спокойно Бурмистров, — не испугают меня и не принудят открыть убежища Натальи.

— Отведите его на тюремный двор! — закричал Милославский. Скажите, что я велел

посадить его на цепь, за решётку! Я развяжу тебе язык!

Когда увели Бурмистрова, Милославский, обратясь к Лыскову, сказал:

Напиши, Сидор, сегодня же доклад. Завтра утром поеду к царевне, буду просить её, чтобы велела этому злодею и бунтовщику Бурмистрову отрубить голову!

— Не лучше ли, Иван Михайлович, — сказал Хованский, отправить его в Соловецкий монастырь и велеть, чтобы отвели ему на всю жизнь келейку? Там под стенами, слышал я, есть такие подвалы, что и поворотиться негде.

Нет, Иван Андреевич, оттуда можно убежать. Да и на что долго его мучить? Лучше разом дело кончить.

Простясь с Хованским, Милославский и Лысков, сев в карету, отправились домой.

Через день, поздно вечером, Хованский получил следующую записку: «Боярин Иван Михайлович Милославский, по тайному указу, посылает к начальнику стрелецкого приказа, боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому, тюремного сидельца[38], стрелецкого пя-

тисотенного Ваську Бурмистрова, которого за измену, многие его воровства и похвальбу смертным убийством велено казнить смертию. Так как завтра будет венчание обоих царей, то казнить его в эту же ночь, и не на площади, а где ты сам, князь, придумаешь. Июня 24 дня 7190 года».

В этой записке была вложена другая. В ней было сказано: «Постарайся, любезный друг Иван Андреевич, у Бурмистрова выведать: где скрывается беглая моя холопка? Если он это объявит, то казнить его погоди. Тогда я попрошу ему помилование от смертной казни, и он будет только выслан из Москвы в какой-нибудь дальний город, на всегдашнее житье. Обе эти записки возврати мне, как в первый раз с тобою увидимся».

— А где тюремный сиделец? — спросил Хованский по прочтении записок, обратясь к присланному с ними гонцу.

— Стоит на дворе, с сторожами.

— Вели его привести сюда да позови ко мне моего дворецкого. Потом поезжай к боярину Ивану Михайловичу и скажи ему от меня, что всё будет исполнено по его жела-

нию.

Гонец вышел, и чрез несколько времени ввели скованного Бурмистрова в рабочую горницу князя.

— Идите домой! — сказал Хованский сторожам. — Тюремный сиделец останется здесь.

Оставшись наедине с Бурмистровым, князь спросил:

— Не был ли родня тебе покойный гость Пётр Бурмистров?

— Я сын его, — отвечал Василий.

— Сын? Жаль, что не в батюшку ты пошёл! Я был с ним знаком.

Хованский прошёл несколько раз взад и вперёд по комнате.

— Что приказать изволишь? — спросил вошедший дворецкий, Савельич, который, мимоходом сказать, отличался точностию в исполнении приказаний своего господина, добродушною физиономией, длинным носом, и способностию пить запоем две недели сряду, а иногда и более.

— Есть ли у меня в тюрьме порожнее место?

— Есть два, боярин. Одно в чулане, под

лестницей, а другое на чердаке, где сидел недавно жилец Елизаров за то, что не снял на улице перед твоей милостью шапки.

— Отведи туда вот этого и ключ принеси ко мне.

— А цепи-то снять прикажешь?

— Нет, не снимай!

Дворецкий повёл Бурмистрова к каменному, в два яруса, строению, которое примыкало к забору, окружавшему двор. Проходя по тёмному чердаку, Василий заметил справа и слева несколько обитых железом дверей, на которых висели большие замки; у одной из них дворецкий остановился, отворил её и, введя Бурмистрова, запер его. Осмотрев новое своё жилище, Василий при свете месяца, проникавшем сквозь железную решётку узкого окна, увидел у стены деревянную скамью и небольшой стол, на котором стояла глиняная кружка с водою и лежал кусок чёрствого хлеба. Сквозь покрытое пылью и паутиною стекло окна Василий рассмотрел длинную улицу, которая вела на Красную площадь, а сдали — Кремль и колокольню Ивана Великого. Усталость принудила Бурмистрова лечь на ска-

мью, и он вскоре погрузился в сон. За полчаса до полуночи, когда отдалённый колокол на Фроловской башне пробил третий час ночи, стук замка у дверей разбудил Василья. С фонарём в руке вошёл к нему Хованский.

— Прочитай! — сказал князь, подавая ему обе записки Милославского и поставив фонарь на стол.

Бегло прочитав бумаги, Василий возвратил их князю.

— Ну, что ж? — спросил Хованский. — Скажешь ли, где беглая холопка Ивана Михайловича?

— Никогда!

— Подумай хорошенько, — продолжал Хованский, — если ты будешь упорствовать, то прежде, нежели явится утренняя заря, труп твой, с отрубленною головою, будет уже зарыт в лесу, без богослужения, а душа твоя низвергнется в преисподнюю, в огонь вечный, уготованный для грешников.

— За предлагаемую цену не куплю я жизни! — отвечал с твёрдостью Бурмистров. — Милославский истощил уже надо мною все мучения пытки, но понапрасну. Охотно по-

жертвую и жизнь для спасения Натальи! Прошу одной только милости: позволить мне по-христиански приготовиться к смерти.

— Сотвори крестное знамение, — сказал Хованский.

Бурмистров, пристально взглянув на князя, перекрестился.

— Ты не можешь умереть по-христиански! — сказал князь, заметив, что Василий крестился тремя, а не двумя сложенными пальцами. — Ты богоотступник! Ты отрёкся от древнего благочестия и святой веры отцов. Душа твоя — добыча врага человеков и будет сожжена огнём вечным.

— Я уповаю на милосердие Спасителя! — сказал с жаром Бурмистров. — Вечный огонь любви Его пылал ещё до сотворения мира; этот огонь оживотворил вселенную и дал бытие человеку; этот огонь в лучах откровения и благодати блещет с Неба, освещает путь жизни смертного, согревает сердце верующего и надеющегося и в смертный час наполняет дивным спокойствием душу всякого, кто не помрачил её неверием и преступлениями, кто покаянием очистил её пред смертью. Это

спокойствие должно удостоверить нас, что вечный огонь любви и за могилою не угаснет и наполнит сердце блаженством, которого оно на земле напрасно ищет!

— Я вижу, что ты заблудшая овца, которую ещё можно исхитить из стада козлиц. В Писании сказано, что обративший грешника на путь правды спасёт душу от смерти и покроет множество грехов. Знай, что я держусь древнего благочестия. Твой покойный отец был ревностный его поборник. Я докажу тебе истину веры моей не словами, а делом. Отлагаю твою казнь. Если успею обратить тебя на путь истинный, то спасу тебя не только от смерти временной, но и от смерти второй и вечной. Милославскому скажу завтра, что ты уже казнён, а тебе принесу драгоценную книгу, которая откроет тебе заблуждение твоё и наставит тебя на путь правый. Буду часто с тобой беседовать и вступать в словопрения, чтобы духовные очи твои прозрели истину...

Сказав это, Хованский вышел. Чрез несколько времени дворецкий князя принёс подушку, толстую книгу в старом переплёте, жареную курицу и кружку с смородинным

мёдом. Сняв цепи с Бурмистрова, дворецкий поставил принесённый им ужин на стол, подушку положил на скамью, а книгу подал Бурмистрову.

— Боярин велел сказать, что Жалует тебя подушкою для сна, пищею и питьём для подкрепления тела и книгою для исцеления души. Кажись, так! Ведь он у нас мудрён: любит говорить свысока; иной раз и не поймёшь его.

— Благодарю князя! — сказал Бурмистров дворецкому.

— Ладно, поблагодарю, — отвечал дворецкий, зевая. — Нашему боярину и ночью не спится, и ночью дворецкого туда да сюда помыкает. Куда мудрён он у нас! Затем моё почтение. Пойти уснуть до рассвета.

Дворецкий вышел и запер дверь. Василий принялся прежде всего за ужин; он три дня ничего не ел; потом, разогнув принесённую книгу[39], на открывшейся странице увидел он написанное красными чернилами и крупными буквами заглавие: «*Страдание священнопротопопа Аввакума многотерпеливого*»; перевернув несколько страниц, прочитал он другое заглавие: «*Страдание за древнее благо-*

честие Василия иже бысть Крестецкаго яму»; потом третье: «Инока Авраамия, выписано о времени сём елико от отец навыхах, реку тебе рассуди писания, да познавши время совершенно». По старинному почерку, которым книга была писана, Бурмистров догадался, что она старообрядческая, хотел взглянуть на общее её заглавие, но в ней его не было. Не чувствуя охоты читать, он лёг на скамью и вскоре заснул глубоким сном.

Проснувшись рано утром, Бурмистров услышал раздавшийся по всей Москве звон колоколов. Он подошёл к окну и увидел, что вся улица, которая вела к Кремлю, наполнена была народом. В полдень раздался звук барабанов, и появились в улице, со стороны Кремля, знамёна приближавшихся стрельцов. Когда полки их проходили мимо дома Хованского, Василий рассмотрел, что впереди полков шли полковники Циклер, Петров и Одинцов и подполковник Чермной. Первый нёс на голове бумажный свиток. Это была похвальная грамота, данная стрельцам царевною Софиею за усердие их к престолу и за истребление изменников[40]. Бурмистров невольно вздохнул

и подумал: «Злодеи, вероломно нарушившие присягу и пролившие столько крови невинных, торжествуют, а я в тюрьме ожидаю смерти!». — Он отошёл от окна, сел на скамью и погрузился в горестные размышления, которые прервал дворецкий, принеся ему обед и ужин.

— Боярин, — сказал он, — не велел мне с тобой говорить ни полслова; если ты меня о чём-нибудь спросишь, я отвечать не стану.

— Мне не о чем с тобой говорить!

— Ну как не о чем! — возразил дворецкий. — Впрочем, если сам разговаривать не хочешь, так моё почтение!

Дворецкий вышел.

На другой день Василий от невыносимой скуки принялся за чтение присланной Хованским книги. Наконец, на третий день, в сумерки, вошёл к нему князь и, увидев, что он читает книгу, потрепал его по плечу.

— Читай, читай, духовный сын мой! — сказал он. — Я уверен, что эта книга откроет мысленные очи твои и спасёт душу твою от гибели. Третьего дня, увидясь со мной в Грановитой Палате, Милославский спросил о

тебе. Я сказал ему, что ты уже казнён. Не объявил ли ты моему дворецкому своего имени?

— Нет, князь.

— Хорошо. Если он вздумает когда-нибудь спросить, как тебя зовут, не отвечай ему ничего или назовись каким-нибудь выдуман-ным именем. Если ты проговоришься, то принудишь меня в тот же день казнить тебя, не ожидая твоего обращения на путь правды. Будь осторожен. Ты видишь, что я для спасения души твоей подвергаю себя опасности поспорить с Иваном Михайловичем и навлечь на себя гнев царевны Софьи Алексеевны. Впрочем, дело уже сделано! Я ничего не боюсь и очень буду рад, если успею обратить тебя к истинной вере и древнему благочестию. В этом я не сомневаюсь. Тогда я отправлю тебя куда-нибудь подальше от Москвы под чужим именем для обращения других заблудших на путь истинный и для проповедания древнего благочестия. Что ты на это скажешь?

— Во всю жизнь мою старался я следовать совести: что внушит мне она, то я и сделаю.

— Худой тот человек, кто поступает про-

тив совести. Я надеюсь, что успею убедить твою совесть и что ты упрямитесь не станешь. Впрочем, поговорим об этом в другое время. Будь откровенен со мною, как сын с отцом. Ты зла мне не сделал. Родитель твой был мне приятель; я от искреннего сердца желаю добра тебе.

Василий поблагодарил князя. Сев на скамью и приказав Бурмистрову сесть подле себя, Хованский продолжал ласковым голосом:

— Сегодня за обедом в Грановитой Палате Милославский опять заговорил со мною о тебе и спросил: где казнили тебя и где похоронили? Я отвечал ему, что тебе отрубили при мне голову и похоронили, в лесу, что подле Немецкой Слободы. Стыдно было лгать; но греха нет во лжи, если лжёшь для того, чтобы спасти душу ближнего. Что у тебя в кружке?

— Вода, князь.

— Вода? Это бездельник дворецкий умничает! Я велел подавать тебе мёду.

— Вчера и во все эти дни он приносил мёд; только сегодня подал воды.

— Я его проучу за это! Подай-ка мне кружку-то. Голова что-то кружится. Сегодня за обе-

дом нас славно употчевали! Цари в своём столовом платье сидели за особым столом с патриархом; за другой стол по левую руку сели митрополиты, архиепископы, епископы и все священнослужители, бывшие при венчании царей, а по правую руку за кривым столом посажены были мы, бояре, окольник и думные дворяне. Царевна Софья Алексеевна велела всем быть без мест, а меня посадили на третье. На первом месте сидел ближний боярин царственной печати и государственных великих посольских дел обергатель князь Василий Васильевич Голицын; подле него Иван Михайлович, а потом я с сыном. Пред венчанием царей третьяго дня пожаловали сына из стольников прямо в бояре.

— Третьяго дня было венчание?[41]

— Да. Разве ты не слыхал во весь день по всей Москве колокольного звона? Рано утром мы, бояре, собрались у государей в Грановитой Палате с окольными и думными дворянами. В сенях пред Палатою были стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и гости, все в золотом платье. Государи велели князю Голицыну принести с казённого двора животворящий

крест и святые бармы Мономаха. Для царя Петра Алексеевича сделаны были точно такие же бармы и крест, другой царский венец, другой скипетр в другая держава. Все эти царские утвари бояре отнесли на золотых блюдах под пеленами, унизанными самоцветными каменьями, в Успенский собор и передали патриарху. Там устроено было против алтаря, близ задних столпов, высокое *чертожное место*, покрытое красным сукном, с двенадцатью ступенями. На этом месте стояли для царей двой кресла, обитые бархатом и украшенные драгоценными каменьями, а по левую сторону от них кресла для патриарха. От ступеней до царских врат постлан был жёлтый бархат для шествия царей, а для патриарха лазоревый. С правой и с левой стороны от чертожного места до царских врат стояли, покрытые золотыми персидскими коврами, две скамьи, на которых сидели митрополиты, архиепископы и епископы. Принесённые утвари патриарх положил на поставленных на амвоне шести налоях, унизанных жемчугом, и после молебна послал князя Голицына с боярами звать царей во храм. Государи с Крас-

ного крыльца пошли к собору. Пред ними шли окольные, думные дьяки, стольники, стряпчие и дворяне. Протопоп, с крестом в руке, кропил пред государями путь святою водою. За ними следовали бояре, думные дворяне, дети боярские и всяких чинов люди, а по сторонам шли поодаль солдатские и стрелецкие полковники. По правую и по левую руку, от Красного крыльца до самого собора, стояли ряды стрельцов. По прибытии во храм парей начали им петь многолетие. Они приложились к иконам, Спасовой ризе и мощам, и патриарх благословил их. Потом государи и патриарх сели на места свои. Глубокая тишина воцарилась в храме. Государи, встав вместе с патриархом, сказали ему, что они желают быть венчаны на царство по примеру предков их и по преданию святой восточной церкви. Патриарх спросил: как веруете и исповедуете Отца и Сына и Святаго Духа? Государи сказали в ответ Символ Веры. После того патриарх начал речь. Вся кровь кипела во мне, когда я слушал исполненные лести и коварства слова этого хищного волка!

— Как, князь, ты называешь святейшего

патриарха?

— Хищным волком. Когда я обращу тебя на истинный путь, и ты так же станешь называть его.

Глаза Хованского заблестали. Сложив двухперстное знамение, он поднял руку и сказал с жаром:

— Клянусь, что я изгоню этого волка из стада. Благословение его недействительно: цари в другой раз должны будут венчаться и получить истинное благословение от рук чистых и праведных. В соборе я с трудом скрывал моё негодование; я готов был пред алтарём заколоть этого лжеучителя и ученика антихристового!

Хованский начал ходить взад и вперёд по комнате большими шагами. Наконец, успокоившись, спросил Бурмистрова, рассказывать ли ему конец венчания, и, по просьбе его о том, продолжал:

— После речи хищного волка царей облекли в царские одежды. С налоев, стоявших на амвоне, принесли два животворящие креста патриарху: он благословил ими государей. Потом подали ему на золотых блюдах бармы

и царские венцы: он возложил их на царей, вручил им скипетры и державы и посадил их на царском месте. Запели им многолетие. Патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы и весь собор лжеучителей встали с мест своих, поклонились и поздравили государей. Затем бояре и все, бывшие в церкви, их поздравляли, а хищный волк сказал им поучение. С того поучения есть у меня список. Я прочту его тебе; слушай: «Имейте страх Божий в сердцах и сохраните веру нашу истинную чисту, непоколебиму; любите правду и милость и суд правый; будьте ко всем приступны и милостивы и приветны. От Бога дана вам бысть держава и сила от Вышнего, вас бо Господь Бог в себе место избра на земли, и на престол посади; милость и живот положи у нас. Едина добродетель от стяжания бессмертная суть. Языка льстива и слуха суетна не приемлите цари, ниже оболгателя слушайте, ни злым человеком веры емлите, но рассуждайте все по Бозе в правду. Подобае мудрым последовати, на них же воистину, яко на престоле, Бог почивает. Не тако красная мира вся, яко же добродетель красит царей. Имате

и сами Царя, иже есть на небесех.

Аще бо Он всеми печётся, ещё потребно есть и, вам, царём, ничто ж презирати, и аще хотите милостива к себе имети Небесного Царя, милостивы, будьте и вы ко всем, да и zde добре и благо поживёте и да наследники будете небесного царствия. И тогда примите неувядаемые славы венцы, и против своих царских подвигов и трудов примите от Бога мзду сторицею». Потом началась литургия, в продолжение которой цари стояли на древнем царском месте, находящемся в правой стороне собора. От этого места к царским вратам постлали алый, бархатный ковёр, шитый золотом. Цари приблизились к вратам. Наследник антихриста вышел из алтаря. Митрополит принёс на золотом блюде, в хрустальном драгом сосуде святое место. Цари, приложась к Спасову образу, написанному греческим царём Эммануилом, к иконе Владимирской Божией Матери, написанной Св. Евангелистом Лукою, и к иконе Успения Богородицы, остановились пред царскими вратами, сняли венцы и отдали их боярам, со скипетрами и державами. Помазав царей миром,

патриарх велел двум ризничим и двум диаконам ввести их в алтарь чрез царские врата и подал им с дискаса часть животворящего тела и потир с кровию Христовой: государи, причастившись, вышли из алтаря. Потом патриарх подал им часть антидора; цари надели венцы, взяли скипетры и стали на своём месте. По окончании литургии все поздравляли царей с помазанием миром и с причащением Св. Тайн, а они пригласили на сегодняшней день патриарха и весь собор лжеучителей, также бояр, окольных и думных дворян, к своему царскому столу. Когда цари в венцах и бармах вышли из собора, сибирские царевичи Григорий и Василий Алексеевичи осыпали их золотыми монетами. Народ, в бесчисленном множестве собравшийся на площади, приветствовал государей продолжительными радостными восклицаниями. Государи по повелению красному сукну пошли к церкви Архангела Михаила, целовали там святые иконы, мощи св. царевича Димитрия, гробницы деда, их государей, родителя и брата, и прочие царские гробницы. Когда они вышли из церкви на паперть, сибирские царевичи

снова осыпали их золотом. Потом, приложась к иконам в церкви Благовещения Пречистой Богородицы, они были ещё осыпаны золотом трижды, по выходе из храма теми же царевичами. Оттуда возвратились они чрез Постельное крыльцо в свои царские палаты. Нечего сказать, празднество было славное!хлопот было много, да жаль, что всё понапрасну: царям надобно будет непременно перевенчаться. А это венчанье не в венчанье! Никон был антихрист, а Иоаким его наследник. Я читал тебе поучение этого богоотступника. Слова его исполнены лести и коварства! Так ли говорят и пишут истинные сыны Церкви, которые держатся древнего благочестия? Прочитал ли ты книгу, которую я тебе прислал?

— Ещё не всю.

— Дай-ка мне сюда книгу. Разверни любую страницу: сейчас видно, что писали люди не антихристу Никону и не наследнику его, Иоакиму, чета! Прочтём, например, хоть это; слушай: «Священный отец, священнопротопоп Логин Муромский, великий во страдании, во оно же время Никонова новозаконения, такоже исполнился великия ревности по

благочестии, учаше убо всюду, еже стояти в древнем благочестии твёрдо и непоколебимо, нового же Никонова нововнесения никакоже приимаше. Сего ради Никон, услышав ревность того, послав воины по блаженного отца, повеле того бесчестно взяти, и тому приведенну во время литургии в соборную церковь, Никону ту сушу, и царю на своём царском месте; тогда священный Логин к вопросам Никоновым с ревностию отвешаваше. Сими изрядными и ревности исполненными глаголы предивного Логина Никон уязвися, обуснев яростию, и весь изменися, ни святого устыдевся, остри же его и не токмо се, но и одежду с него сняти повеле, не токмо едину, но и вторую, и во единой срачице, остави его. Благоревностный же Логин начат Никона обличат, порицая того деяния и начинания, ими же смущаше колебая колико российские народы, и распоясався, снем с себе срачицу, верже чрез праг алтарный, Никону глаголя: отъял еси одежды моя верхняя, ругая мя, се и срачицу отдаю ти не боюся бесчестия, наг изыдох из чрева матере моя, наг и в землю возвращуся. Оттоле наипаче Никон возгорев-

ся гневом, повеле страдальца Логина в желе-
за тяжкая вложить и тако скована ругатель-
но влачити, и мётлами бити даже до Богояв-
ленского монастыря; тако того влекоша бию-
ще и ругающесе во ужасный позор всем зря-
щим, и привлекше священного мужа несвя-
щеннии во оной монастырь, еже за торгом, во
едину нага затвориша, ни единого человеко-
любия показаша, но и воины Никон приста-
вы, еже твёрдо и неослабно стрещи его, дабы
от человек или знаемых никто же посетил
его. И понеже страдалец от всех оставлен и
презрен бысть, и знаемых страха ради Нико-
на мучителя, и наг в затворении благодарно
терпяше; что же творит всесильный и всемо-
гий Бог? Благодатию своею того согревает, во
оную ночь невидимо страдальцу посылает
одежду тёплую и шапку на главу его, да от
священного Давида священное исполнится
слово: сохранит Господь вся любящия Его.
Оно внезапное удивление возвестиша Нико-
ну стрегущии. Никон же никако умилися, но
разгневался рече; знаю аз оны пустосвяты, и
повеле шапку с него снятьи, а одежду тому
оставити...» Такие ли чудеса найдёшь ты в

этой драгоценной книге? Священноиерею Лазарю за проповедание древнего благочестия отрезали язык и отрубили руку. У него вырос другой язык, и он начал проповедовать собравшемуся на площади народу древнее благочестие. Ему и этот язык нечестивцы отрубили; но что ж? Лазарь и без языка начал говорить и обличать Никоново новопредание, а отрубленная рука сложила двуперстное знамение, благословила народ и приросла к плечу. Через два года вырос у него и язык, велик и доброглаголив, в котором он, впрочем, не имел большой нужды, потому что и без языка явственно говорил. И это чудо не с одним Лазарем было, а случилось ещё с диаконом Фёдором, со старцем Епифанием, всекрасною розою благодатного сада, да с дьяконом Стефаном, по прозванию чёрным. Все они сосланы были в острог Пустоозерский, близ Ледовитого моря-окияна и полуношных стран лежащий, и там скончались. Что ты на это скажешь? Нельзя без сердечного умиления читать этого сокровища!

Хованский с благоговением поцеловал книгу, перевернул несколько листов и сказал:

— Где ни открой, везде найдёшь премудрые и душеспасительные поучения. Послушай вот это, например: «Многострадальный Иоанн от Великих Лук, от чина купеческого, великую ревность о древнем благочестии показа и множество народа научи православной вере и утверди. В Иове же граде научи некоего купца вельми славна и богата. Сего ради пройде слава и к самому епарху в царствующий град и самодержавному монарху. Оклеветан же бысть от некоего боярина ко царю, яко держится древнего благочестия и отвращает народы, еже к церкви Божией не приходити и нового учения не слушати. Посылает царь гонцы по Иоанна и ят бывает и к судии градскому представиша его. Судия же невероваше, зане возрастом бе Иоанн мал и художрачен, и возопив гласом велиим: о какая последняя худость, яко же человеком звати недостойна, таковое и толь великое потрясение и ужас людям от твари, и толикия народы прельсти. Отвещав же Иоанн к судии, глаголя: высокоблагородный воевода, не дивися моему малому возрасту и худости, но паче прослави всесильного Бога; ибо и в вашем су-

дищном состоянии таковое нечто показуется мало возрастом и художачно. Да веси, о воевода! Ты убо аще и главнейший показуешься судия, и всего градского исправления главнейший епарх, но возрастом мал бе, и видением худовиден, ещё же единым оком вреден. Удивившеся воевода дивному его ответу, преложися на кротость и повеле убо блаженного вести во узилище, дондеже от царствующего града весть приимёт». Однако я устал уже читать, да и спать хочется; дочитай сам это житие многострадального Иоанна. До свидания!

Хованский вышел, а Бурмистров начал размышлять о странном положении, в которое судьба его поставила.

II

*Я злону твёрдостью сотру.
Державин.*

Настало третье июля, день, назначенный для свадьбы Василья. В мрачной задумчивости сидел он, облокотись на стол и устре-

мив взор, выражавший безнадежную горечь, на кольцо, которое Наталья ему подарила. Стук замка у дверей прервал его мучительные размышления. Вошёл Хованский.

— Сын мой! — сказал он. — Тебя желает видеть учитель и глава наш, священноиерей Никита. Я говорил ему о тебе, и он, начав пророчествовать, сказал, что ты скоро обратишься от дел тьмы на путь правды и будешь ревностным поборником древнего благочестия. Иди за мною!

Удивлённый Бурмистров последовал за Хованским. Они дошли до другого конца чердака и спустились по узкой и крутой лестнице в слабо освещённый одним окном подвал, в котором стояло множество бочек. С трудом пробравшись между бочками, приблизились они к деревянной стене. Хованский три раза топнул ногою, и посередине стены отворилась потаённая дверь. Князь ввёл Бурмистрова в довольно обширную комнату. Окон в ней не было. Горевшая в углу перед образами лампада освещала каменный свод, налой, поставленный у восточной стены горницы, и устроенные около прочих стен деревянные скамьи.

Человек среднего роста, с бледным лицом и с длинною бородою, благословил вошедших и, обратясь к образам, начал молиться в землю. Бурмистров рассмотрел на нём священническую рясу. Это был, Никита. После нескольких земных поклонов он взял за руку Бурмистрова, подвёл его к лампаде и, устремив на него быстрый взгляд, спросил:

— Как зовут тебя, заблудшая овца, ищущая спасения?

Бурмистров, не зная, сказал ли Хованский Никите его настоящее имя, посмотрел в недоумении на князя.

— Я говорил уже тебе, отец Никита, — подхватил, Хованский, — что его имя должно остаться в тайне до тех пор, пока я не успею обратить его.

— В тайне? У кого отверзты духовные очи, для того не может быть ничего тайного. Его зовут Василий Бурмистров! Не хорошо, чадо Иоанн! Зачем хотел ты передо мною лукавить? Вижу, что ты ещё ослеплён земными помыслами! Как мог ты думать, что возможно скрыть что-нибудь пред мысленными очами? Выйди вон и слезами покаяния омой

твоё прегрешение.

Хованский смутился, хотел что-то сказать в оправдание, но Никита закричал грозным голосом:

— Горе непокоряющемуся грешнику!

Князь, закрыв лицо руками, вышел, и Никита запер за ним дверь.

— Если я не ошибаюсь, — сказал Бурмистров, — я видел тебя однажды в доме покойного сотника Семена Алексеева.

— Я вовсе не знал Алексеева и никогда в его доме не бывал. Но оставим это. Прочитал ли ты книгу, которую тебе князь доставил?...

— Прочитал.

— Прояснились ли твои очи, ослеплённые силою вражиею; сверг ли ты с себя иго антихристова и обратился ли к свету древнего благочестия?

— Я ещё более убедился в истине моего верования и от искреннего сердца пожалел, что между православными христианами вкрались расколы.

— Мы одни можем назваться православными христианами, и не тебе, осквернённому печатю антихриста, судить нас. В нас обита-

ет свет истинной веры, а вы во тьме бродите и служите врагу человеческого рода.

— Истинная вера познаётся из дел. Исполняете ли вы две главные заповеди: любить Бога и ближнего? Мы ближние ваши, а вы ненавидите нас, как врагов; мы ищем соединения с вами, а вы от нас отдаляетесь и производите там раздор, где должны быть одна любовь и братское согласие.

— Ты говоришь по наущению бесовскому и не можешь говорить иначе, потому что служишь ещё князю тьмы. Но я знаю, что ты скоро войдёшь в благодатный сад древнего благочестия.

— Почему ты так думаешь?

— Я знаю прошедшее, разумею настоящее и презираю в будущее. Слушай, сын нечестия: ты стоишь на распутии; две дороги пред тобой: одна ведёт в лес, где лежит секира и ползают гробовые черви; другая — в вертоград, где есть работа. Ты пойдёшь по последней.

— Из слов твоих я вижу, что князь открыл тебе моё положение. Будь уверен, что я не отделись от церкви православной и не изменю данной ей клятве, хотя бы мне стоило это

жизни.

Никита, нахмутив брови, подошёл к налою, взял с него крест и подошёл к Бурмистрову.

— Скоро прейдёт тьма и воссияет свет; хищный волк изгонится из стада! Сын нечестия! клянись быть с нами, целуй крест: он спасёт тебя от секиры, и ты в вертограде найдёшь убежище!

Бурмистров поцеловал крест и сказал:

— Повторяю клятву жить и умереть сыном церкви православной!

— Горе, горе тебе! — закричал ужасным голосом Никита, отскочив от Бурмистрова. — Да воскреснет Бог и расточатся враги Его! Сокрыйся с глаз моих, беги к секире; черви ожидают тебя!

Положив крест на налою, изувер подошёл к двери, и, отворив её, позвал Хованского.

Князь вошёл с смиренным видом.

— Нехорошо, чадо Иоанн! — возгласил Никита. — Ты хвалился, что приблизил этого нечестивца к вертограду древнего благочестия, и подал мне надежду, что в нём обретём мы делателя; но он не хочет исторгнуться из

сетей дьявольских.

— Ты сам пророчествовал, отец Никита, что он будет нашим пособником, исцелит от слепоты весь Сухаревский полк, поможет нам изгнать хищного волка со всем собором лжеучителей и воздвигнуть столп древнего благочестия.

— Да, я пророчествовал, и сказанное мною сбудется.

— Никогда! — возразил Бурмистров.

— Сомкни уста твои, нечестивец! Чадо Иоанн! вели точить секиру: секира обратит грешника.

— Не думаешь ли ты устрашить меня смертью? — сказал Бурмистров. — Князь! вели сегодня же казнить меня; пусть смерть моя обличит этого лжепророка! Поклянись мне пред этим крестом, что ты тогда отвергнешь советы этого возмутителя и врага православной церкви, познаешь своё заблуждение, оставишь свои замыслы и удержишь стрельцов от новых неистовств, поклянись, — и тотчас же веди меня на казнь.

— Умолкни, сын сатаны! — закричал в бешенстве Никита. — Не сворачай с пути спасе-

ния избранных! Ты не умрёшь, и предречённое мною сбудется.

— Ради Бога, князь, не медли, произнеси клятву, и я с радостию умру для защиты православной церкви от врагов её и для спасения святой родины от новых бедствий.

— Не будет тебе смерти, змей-прельститель! Чадо Иоанн, внимай и разумей: пророчество моё сбудется!... Я слышу глас с неба!... Завтра ополчатся все воины и народ за древнее благочестие; завтра Красная площадь подвинется, яко море! Завтра спадёт слепота с очей учеников антихриста и процветёт древнее благочестие, аки кедр ливанский, и низвергнется в преисподнюю хищный волк и весь собор лжеучителей. Возрадуйся, чадо Иоанн, яко слава твоего подвига распространится от моря до моря и от рек до конца вселенныя! Завтра на востоке взойдёт солнце истины, и ты принесёшь чрез три дня кровную жертву благодарения; не тельца упитанного, а коснеющего грешника, противляющегося твоему благому подвигу; и грешник, добыча ада, поможет тако воздвигнуть столп веры старой и истинной, — да сбудется пророче-

ство! И секира не коснётся до того дня главы змея-прельстителя! Шествуй, чадо Иоанн, на подвиг! Сгинь, змей-прельститель!

Сказав это с величайшим напряжением, Никита упал и начал валяться по полу с страшными телодвижениями.

Хованский, крестясь, вышел с Бурмистровым и повёл его в тюрьму. Взяв от него книгу, которою думал его обратить, князь сказал гневно, запирая дверь:

— Завтра восторжествует древнее благочестие, и ты чрез три дня принесён будешь в благодарственную жертву. Готовься к смерти!

Никита по уходе Хованского встал с пола и пошёл на чердак в намерении спуститься оттуда по другой лестнице на двор, потому что выход из подвала заложен был кирпичами. На чердаке встретился с ним Хованский.

— Куда ты, отец Никита?

— Иду на подвиг, за Язузу, в слободу Титова полка. Оттуда пойду к православным воинам во все другие полки и велю, чтобы завтра утром все приходили на Красную площадь... Ты мне давеча говорил, что был сегодня у хищного волка в Крестовой Палате. Что он

сказал?

— Я, по твоему приказу, говорил, что государи велели ему выйти на лобное место дли пред Успенским собором на площадь, для сло-вопрения о вере; но он, как видно, по науще-нию лукавого, уразумел, что мы хотим его ка-мением побить, и отвечал, что без государей на словопрение не пойдёт.

— Не пойдёт, так вытащим! Князь тьмы не исхитит его из рук наших. Поспешу за Язузу. Прощай!

— Отпусти мне, окаянному, сегодняшние прегрешения мои пред тобою!

С этими словами князь, сложив на грудь крестообразно руки, закрыл глаза и смиренно наклонился пред Никитою.

— Отпускаю и разрешаю! — сказал Ники-та, благословив князя.

Хованский поцеловал у него руку и, поже-лав ему успеха в подвиге, проводил его до во-рот.

— А мне приходится завтра на площадь? — спросил Хованский.

— Нет! С солнечного восхода начни мо-литься, да победим врагов наших, и пребудь в

молитве и посте до тех пор, пока я не возведу тебе победы.

Сказав это, Никита надвинул на лицо шапку и вышел за ворота, а князь возвратился в свои комнаты.

III

На площадь всяк идёт для дела и без дела;

Нахлынули; вся площадь закипела.

Народ толпился и жужжал

Перед ораторским амвоном.

Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал,

И ритор возвестил высокопарным тоном...

Батюшков.

На другой день, ещё до солнечного восхода, Никита с ревностнейшими сообщниками своими явился на Красной площади. Посредине её поставили сороковую бочку, покрыли коврами и с боку приделали небольшую лестницу с перилами. Дневные дела наших предков начинались не так поздно, как в нынеш-

нее время: с восходом солнца народ уже появлялся на улицах. Вскоре около воздвигнутой кафедры собралась толпа любопытных. Отряды стрельцов, шедших без всякого порядка, начали один за другим появляться, и вскоре вся площадь покрылась народом.

Никита взошёл на кафедру, поднял руки к небу и долго стоял в этом положении.

Глухой говор народа раздавался, как шум отдалённого моря. Все смотрели с любопытством и страхом на необыкновенное явление.

— Здравствуй, Андрей Петрович! — сказал шёпотом Лаптев, увидев брата Натальи, который близ него стоял с своими академическими товарищами.

— А, и ты здесь, Андрей Матвеевич!

— Шёл было к заутрене, да остановился. Видишь, какое здесь чудо!

— А меня с товарищами послал из монастыря отец-блуститель: посмотреть, что здесь делается, и ему донести. Сам-то, видишь, страшится сюда идти: ему монастырский служка насказал невесть что. Справедливо сказано, что *fama crescit eundo*.

— Что, что такое? Фома кряхтит в будни?

Ну, что ж, Андрей Петрович! Это ещё не беда, иной, горемычный, кряхтит и в праздники. Да что это за Фома?

— Не то, Андрей Матвеевич! *Fama crescit eundo*. значит по-русски: молва растёт, шествуя.

— Вот что! понимаю!... Да скажи, пожалуйста, кукла там аль живой человек стоит?

— Какая кукла! Это бывший суздальский поп Никита. Он затеял раскол, потом образумился, а нынче, видно, опять принялся за старое. Его многие называют: Пустосвят. Езоп...

Андрей, забывши басню, которую хотел рассказать, остановился.

— Пустосвят-Езоп? Первое слово я понимаю, — сказал Лаптев, — а второе-то что значит, еретик, что ли?

— Не то, Андрей Матвеевич! Езоп был греческий баснописец.

— Греческий иконописец? Понимаю! Смотри-ка, смотри, Андрей Петрович, Никита креститься начал, видно, проповедь сказать хочет. Подойдём поближе, продерёмся как-нибудь. Этакая давка, словно за заутреней в светлое воскресенье!

На площади водворилось глубокое молчание. Никита, поклонясь на все четыре стороны, начал говорить следующее:

— Священнопротопоп Аввакум многотерпеливый, великий учитель наш, ограда древнего благочестия и обличитель Никонова новозаконения не ял в великий пост четыредесять дней и видел чудное видение ; руки его, ноги, зубы и весь он распространился по всеми небеси, и вместил Бог в него небо, и землю, и всю тварь. И, познав тако всё сущее, исполнися разим его премудрости. И написа Аввакум дивную книгу и нарече ю Евангелие Вечное; не им, но перстом Божиим писано. Мнози избрании из сея книжицы познаша истинный путь спасения, его же хочу возвестити вам, народи православнии. Несть ныне истинныя церкви на земли, ни в Руси, ни в Греках. Токмо мы ещё держим православную христианскую веру и крестимся двема персты, изобразующе в том божество и человечество Сына Божия. А тремя персты кто крестится, той со антихристом в вечной муце будет, то бо есть печать антихристова. Кто же убо и где есть сей антихрист? Мнози от неве-

дения писания глаголют быти ему во Иерусалиме. Ты же уверися, глаголет пророк, яко от севера лукавство изыдет. Афанасий Великий возвестил Антиоху, еже быти антихристу в Скифополии; Скифополь же северна страна, то наша Русская земля. Святой Иоанн Златоуст сказует в Риме ему быти. И сие согласно еже zde быти ему, зане святой Селиверст папа римский, егда послан бысть от Бога к Филофею, патриарху Царя-града, на нашу Русскую землю благочестия ради, исповедал светлую Россию третиим Римом, а Греческое царство второй Рим именуется в писаниях. Святой Кирилл глаголет о антихристе, яко ни от царей, ни от рода царска будет; преподобный же Пётр Дамаскин сказует о нём же, яко чернец имать восстати в северной стране, и всех еретиков ереси подымет. И се согласно зело нынешнему времени. Кирилл святой пишет, яко антихрист церковь древнюю Соломонову с иным богомолием, прелести ради, покусится создати, совершенно же совершити не возможет. И писано о нём, яко льстец во всём хочет быти равен Христу. Кто же построил Иерусалим в северной стране, и реку

Истру Иорданом переименовал, и церковь такову, какова во Иерусалиме, построил[42], и около своего льстивого Иерусалима сёлам и деревням имена новыя надавал: Назарет, Вифлеем и прочая? У, кого есть новая Галилейская пустыня? Кто и горам имена новыя дал, и едину из оных Голгофою наименовал? Кто чернецов молодых, постригая, именовал херувимами и серафимами? Имея ум да разумеет прелесть Никона антихриста и сосуда сатанинского. Аще не явственен ещё льстец, то скажу свидетельство о нём, да на том поставите ум свой, яко на камени крепком. Число зверино явственно исполнися в тот год, егда пагубник Никон свои еретические служебники выдал, а святые прежние служебники, по которым отцы наши угодили Богу, повелел вон из церкви изнести. Блюдитесь, православный! посещати конские стоялица, еже церквами называют сыны антихристовы. Блюдитесь слушати те льстивые служебники, да не погубите душ ваших. Грядите в Кремль! Воздвигните брань за веру истинную, за древнее благочестие, да изгоним из стада хищного волка, наследника антихристового, с сонмом

лжеучителей, и да восставим церковь Божию!

— Восставим церковь Божию! — закричали тысячи голосов. — Врёт Пустосвят Никита, хочет нас морочить! Бес в нём сидит! — кричали другие. Вся площадь взволновалась. Никита сошёл с кафедры, вынул из-под рясы крест и, подняв его вверх, пошёл к Спасским воротам. Более семи тысяч стрельцов и бесчисленное множество людей разного звания, как поток лавы, устремились за Никитою.

Лаптев, видя опасность, угрожающую церкви православной, заплакал. Множество народа, не увлечённого проповедью изувера, осталось на площади. Иной плакал, подобно Лаптеву, другой проклинал Пустосвята.

— О чём плачешь, Андрей Матвеевич? — спросил Борисов, приблизясь к Лаптеву.

— Как не плакать, Иван Борисович! — отвечал печальным голосом Лаптев, отирая рукавом слёзы, — вот до каких времён мы дожили! Еретик не велит в церкви Божии ходить, грозит святейшего патриарха прогнать и навязывает всем православным свою проклятую ересь. Того и гляди, что сатана ему поможет! Посмотри-ка, сколько за ним народу

пошло: и стрельцы с ним заодно.

— Не все же стрельцы, Андрей Матвеевич; тысяч пять не верят еретику, остались в слободах и не хотят в это дело мешаться. Из нашего полка человек пятьдесят дались в обман. Если б Василий Петрович был здесь, и того бы не было. Вчера, перед полночью, приходил к нам в полк этот проклятый Никита, наговорил с три короба; думал, что всех наших обратит в свою поганую ересь. Да не тут-то было. В других полках ему более было удачи: Титов на его стороне, более половины Стремянного, Тарбеев также почти весь... да что тут считать! Горе берет! Сам ты знаешь, Андрей Матвеевич, что глупых больше на свете, нежели умных; дураков-то не сеют, а сами рождаются; не диво, что его сторона сильнее. Я было подговаривал наших молодцов схватить проклятого Пустосвята, да и стащить на Патриарший двор. Побоялись других полков. Жаль, право, что Василья Петровича здесь нет: он бы, верно, вывел этого еретика на свежую воду.

— Да куда девался Василий Петрович? — спросил Лаптев. — Вы оба словно на дно кану-

ли; я уж с вами с месяц не видался. Да вот и Андрей Петрович! Бог ему судья — совсем забыл меня!

— Василий Петрович, — шепнул Борисов Лаптеву на ухо, — приказал тебе сказать, что он получил отставку и тайком уехал в деревню своей тётки. Только, ради Бога, не говори об этом Варваре Ивановне: неравно дойдёт как-нибудь до Милославского — беда!

— Не бойсь, никому не скажу! Слава Богу, что он успел туда убраться. Я чай, поживает себе припеваючи.

— Да, слава Богу! А я с полком нашим через неделю пойду в Воронеж.

— Как так?

— Царевна Софья Алексеевна приказала.

— Жаль, жаль, Иван Борисович! Экое, слышь ты, горе! Этак совсем без приятелей останешься, не с кем будет и слова перемолвить!

— И мне идти в Воронеж-то больно не хочется. По крайней мере я рад, что мой благодетель, Василий Петрович, поживает в добром месте.

Если бы предоставили нам на выбор ка-

кую-нибудь радость или печаль, то всякой, без сомнения, избрал бы первую. Но бывают случаи, в которых лучше избирать последнюю. Что лучше было, например, для двух друзей Бурмистрова: радоваться ли, воображая, что он в безопасности, или печалиться, зная, что жизнь его висит на волоске? Конечно, они согласились бы на последнее, если бы от них зависело избрать то или другое; потому что и горькая истина предпочтительнее приятного заблуждения. Итак, почтенные читатели, будем всегда поборниками истины и врагами заблуждения, подобно Андрею, который во время разговора Лаптева с Борисовым протеснился к порожней кафедре и вошёл на неё с намерением сказать обличительную речь против Никиты. Его ревность к этому подвигу, без сомнения, удвоилась бы, если бы он знал, что, мешая успеху Никиты, он спасает жизнь Бурмистрова.

Увидев на кафедре новое лицо, окружавшая её толпа замолчала. Ободрённый тем, Андрей, избрав за образец речь Цицерона против Каталины, которую знал наизусть, принял величественное положение, приличное

оратору. Никита в это время приблизился уже к Спасским воротам и с сообщниками своими стучался в них, требуя с криком, чтобы его впустили в Кремль. Андрей, указывая на него, сказал:

— Доколе будешь, Никита Пустосвят, употреблять во зло терпение наше? — Пустосвят? Ах ты, собака! — заворчал несколько стрельцов Титова полка, стоявших около кафедры. Дай срок: что он ещё скажет? Проучим его!) Долго ли скрывать станешь от нас сие твоё бешенство? До чего похваляться будешь необузданною твоею продерзостию? Или не возмущает тебя защищение горы Палатинской... то есть Кремля? (Оратор сбился, забывший, что он говорит собственную речь без приготовления, а не Повторяет наизусть Цицеронову). Или не возмущает тебя ни стража около града, ни страх народный, ни стечение всех добрых людей, ни взоры, ни лица собравшихся здесь сен... православных христиан? (Он чуть было не сказал «сенаторов», но приметив, что около кафедры стоят большею частью мужики, нашёлся и счастливо избежал неуместного выражения). Или ты не чувству-

ешь, что твои советы явны? Или ты не видишь, что уже все сии сановитые мужи (описав рукою полукружие, он указал на мужиков) только от одной умеренности удерживают свои совести... яснее сказать, руки, и не налагают их на тебя? Кого ты из нас чаешь, кто бы не знал, что ты нынешнею и прошлую ночью делал, где был, каких людей созвал и какие имел советы? (В этом месте оратор последовал в точности Цицерону, не зная, впрочем, откуда взялся на площади Никита. Стрельцы начали шептаться между собою: — Да видно, этот краснобай — лазутчик! Как узнал он, что отец Никита в слободе у нас по ночам скрывался и с нашими старшими советовался? Убьём его!) Чего ожидаешь ты ещё, Никита Пустосвят, когда уже ночь злобных твоих сборов покрыть не может, когда уже всё ясно и наружу вышло? Перемени свои мысли, поверь мне! Позабудь... о твоей ереси: со всех сторон ты пойман; все твои предприятия яснее полуденного света. (В это время Никита и несколько стрельцов толстым чурбаном старались вышибить Спасские ворота). Что ты ни делаешь, что ни предприемлешь, что ни

замышляешь, — то всё я не токмо слышу, но ясно вижу и почти руками осязаю. Вспомни прошедшую ночь, то уразумеешь, что я тщательнее бодрствую для спасения... церкви православной, нежели ты для погубления оной. Здесь, здесь между нами, господа... православные христиане, в сём преименитом и святейшем всего земного круга совете, есть такие люди, которые думают погубить меня и всех нас и, следовательно, всю вселенную. (— Ага, догадался! — заворчали стрельцы. — Вот мы тебя!) В таких обстоятельствах, Никита Пустосвят, выйди из города: ворота отворены! (Стрельцы оглянулись на Спасские ворота, но увидели, что их ещё не выломали). Выведи с собою всех своих сообщников; очисти город, От великого меня избавишь страха, коль скоро между мною и тобою стена будет! С нами быть тебе больше невозможно. Не снесу, не стерплю, *не* попусти!

Лаптев, приметив, что стрельцы поднимают камни и собираются около кафедры, угворил Борисова и товарищей Андрея стащить оратора и избавить его от угрожающей опасности.

Кончив введение речи, заимствованное из Цицерона, Андрей продолжал:

— Ты говорил, Никита Пустосвят, что протопоп Аввакум ничего не ел четырнадцать дней, распространился по всему небу и вместил в себя всю вселенную, — о верх нелепости! Не говоря уже о том, что без всякой пищи и четырнадцать часов пробыть довольно трудно, исследуем вкратце: может ли поместиться целая вселенная в утробе человеческой? (Смех и громкое одобрение. Сердце оратора забилось от радости). Может ли...

В это время Борисов и два товарища Андрея схватили его и потащили долой с кафедры.

— Что это значит? Пусты, пусты меня, ради Бога, Иван Борисович, дай кончить речь! — кричал Андрей во всё горло. — Послушай, Петрушка, я тебя живого не оставлю! Видно, мало я тебя поколотил вчера перед ужином. Да что вы на меня напали, белены, что ли, объелись? Пустите! Куда вы меня тащите? Сенька, мошенник, совсем воротник оторвал, я с тебя твой новый кафтан сдеру!

Несмотря ни на просьбы, ни на угрозы ора-

тора, его стащили с кафедры. Стрельцы, думая, что Борисов и товарищи Андрея хотят поколотить его, бросились к ним на помощь, а стоявшие около кафедры мужики кинулись отнимать его у Борисова, чтобы ввести опять в торжестве на бочку для окончания речи. Неизвестно, чем бы кончилось всё это; но, к счастью, растворились Спасские ворота, и стрельцы бросились в Кремль, оставив поле сражения за мужиками, защищавшими оратора.

Таким образом, роковая речь Цицерона, поставившая Андрея в Ласточкином Гнезде в неприятное и смешное положение, на Красной площади чуть не навлекла ему побой. Не понимая, куда и зачем тащили его в одну сторону Борисов с товарищами, в другую мужики, а в третью стрельцы, он дивился действию своего красноречия и думал, что его постигнет участь Орфея, растерзанного вакханками. Надвинув шапку на глаза, в величайшей досаде пошёл он скорым шагом в Заиконо-спасский монастырь. Между тем Никита, сопровождаемый бесчисленным множеством народа, вошёл в Кремль и приблизился

к царским палатам. Боярин Милославский вышел на Постельное крыльцо и от имени царевны Софии Алексеевны спросил предводителя толпы, Никиту, чего он требует.

— Народ московский требует, чтобы восстановлен был столп древнего благочестия и чтобы на площадь пред конским стоялищем, которое вы именуете Успенским собором, вышел хищный волк и весь сонм лжеучителей для прения с нами о вере.

— Я сейчас донесу о вашем требовании государям, — сказал Милославский, — и объявлю вам волю их.

Боярин вошёл во дворец и, опять явясь на Постельном крыльце, сказал:

— Цари повелели прошение ваше рассмотреть патриарху, он, верно, преклонится ко всенародному молению. А для вас, стрельцы, царевна Софья Алексеевна приказала отпереть царские погреба в награду за ваше всегдашнее усердие к ней и за ревность к вере православной. Она просит вас, чтоб вы в это дело не мешались. Положитесь на её милость и правосудие. Если бы патриарх и решил это дело неправильно, то на нём от Бога взыщут-

ся, а не на вас.

Сказав это, Милославский удалился в покой дворца.

— Здравия и многия лета царевне Софье Алексеевне! — закричали стрельцы всех полков, кроме Титова. — К погребам, ребята!

Никита, видя, что воздвигаемый им столп древнего благочестия, подмытый вином, сильно пошатнулся и что ряды его благочестивого воинства приметно редеют, закричал грозным голосом:

— Грядите, грядите, нечестивцы, из светлого вертограда во тьму погребов, на дно адово! Упивайтесь вином нечестия! Мы и без вас низвергнем в преисподнюю хищного волка!

С этими словами пошёл он из Кремля, и вся толпа двинулась за ним.

IV

*Враг рек: пойдём, постигнем, поже-
нем,
Корысти разделим! Се жатва нам
обильна!
Упейся, меч, в крови...
Мерзляков.*

Между тем Хованский, исполняя приказание пребыть в посте и молитве до возведения победы, с солнечного восхода молился в своей рабочей горнице не столько об успехе древнего благочестия, сколько о скорейшем прибытии Никиты, потому что давно прошёл уже полдень, и запах жареных куриц, поданных на стол, проникнув из столовой в рабочую горницу, сильно соблазнял благочестивого князя. Сын его, князь Андрей, сидел в молчании на скамье, у окошка[43].

— Взгляни, Андрюша, — сказал он наконец сыну, кладя земной поклон, — нейдёт ли отец Никита; да вели куриц-то в печь поставить; я думаю, совсем простыли.

— Отца Никиты ещё не видно, — отвечал князь Андрей, растворив окно и посмотрев на улицу.

— И подаждь ему на хищного волка победу и одоление! — прошептал старик Хованский с глубоким вздохом, продолжая кланяться в землю. — Да скажи, чтоб Фомка не в самый жар куриц поставил; пожалуй, перегорят!... Да прейдёт царство антихриста, да воссияет

истинная церковь, и да посрамятся и низвергнутся в преисподнюю все враги её!... Андрюша, эй! Андрюша! скажи дворецкому, чтоб приготовил для отца Никиты кружку настойки, кружку французского вина да кувшин пива.

Молодой князь вышел и, вскоре возвратясь, сказал:

— Пришёл отец Никита.

— Пришёл! — воскликнул Хованский, вскочив с пола и не кончив земного поклона. — Вели скорее подавать на стол! Где же отец Никита?

— Он здесь, в столовой.

Старик Хованский выбежал из рабочей горницы в столовую и вдруг остановился, увидев мрачное и гневное лицо Никиты.

— Так-то, чадо Иоанн, исполняешь ты веления свыше! Не дождавшись моего возвращения и благовестия, ты уже перестал молиться.

— Что ты, отец Никита! Я с самого рассвета молился и до сих пор пребыл в посте, хотя уже давно пора обедать. Спроси Андрюши, если мне не веришь.

— Ты должен был молиться и ждать, пока я не подойду к тебе и не возведу победы. Но ты сам поспешил ко мне навстречу и нарушил веление свыше. Ты виноват, что пророчество не исполнилось и древнее благочестие не одержало ещё победы; ибо, по маловерию твоему, ослабел в молитве.

Хованский не отвечал ни слова; совесть его сильно смутилась от мысли, что Никита, и за глаза видя глубину его души, узнал, что ею несколько раз овладевали во время молитвы досада, нетерпение и помыслы о земном, то есть о жареных курицах. Никита же, видя смущение князя, тайно радовался, что ему удалось неисполнение своего пророчества приписать вине другого.

Все трое в молчании сели за стол. По мере уменьшения жидкостей в кружках, приготовленных для отца Никиты, лицо его прояснялось и морщины гневного чела разглаживались, а по мере уменьшения морщин слабели в душе Хованского угрызения совести. Таким образом, к концу стола опустевшие кружки совершенно успокоили совесть Хованского, тем более что он и сам, следуя примеру своего

учителя, осушил кружки две-три веселящей сердце влаги. После обеда Никита пригласил князей удалиться с ним в рабочую горницу. Старик Хованский приказал всем бывшим у стола холопам идти в их избу, кроме длинноносого дворецкого, которому велел стать у двери пред сенями, не сходить ни на шаг с места и никого в столовую не впускать. Когда князя с Никитою вошли в рабочую горницу и заперли за собою дверь, любопытство побудило Савельича приблизиться к ней на цыпочках и приставить ухо к замочной скважине. Все трое говорили очень тихо, однако ж дворецкий успел кое-что расслушать из тайного их разговора.

— Завтра, — говорил Никита, — надобно выманить хищного волка. Это твоё дело, чадо Иоанн; а мы припасём камень. Скажи, что государи указали ему идти на площадь.

— Убить его должно, спору нет, — отвечал старик Хованский, — только как сладить потом с царевной? Не все стрельцы освободились от сетей дьявольских, многие заступятся за волка!

— Нет жертвы, которой нельзя было бы

принести для древнего благочестия! Потщись, чадо Иоанн, просветить царевну, а если она будет упорствовать, то...

Тут Никита начал говорить так тихо, что Савельич ничего не мог расслышать.

— Кто ж будет тогда царём? — спросил старик Хованский.

— Ты, чадо Иоанн, а я буду патриархом. Тогда процветёт во всём русском царстве вера старая и истинная и посрамятся все враги её. Сын твой говорил мне, что ты королевского рода?

— Это правда: я происхожу от древнего короля литовского Ягелла[44].

— Будешь и на московском престоле!

— Но неужели и всех царевен надобно будет принести в жертву? — спросил князь Андрей.

— Тебе жаль их! Вижу твои плотские помыслы, — сказал старик Хованский. — Женись на Катерине-то: не помешаем; а прочих разошлём по дальним монастырям. Так ли, отец Никита?

— Внимай, чадо Иоанн, гласу, в глубине сердца моего вещающему: еретические дети

Пётр и Иоанн, супостатки истинного учения Наталия и София, хищный волк со всем сонмом лжеучителей, совет нечестивых, нарицаемый Думою, градские воеводы и все мощные противники древнего благочестия обрекаются на гибель, в жертву очищения. Восторжествует истинная церковь, и чрез три дня принесётся в жертву благодарения нечестивец, дерзнувший усомниться в глаголах духа пророчества, вешавшего и вещающего моими недостойными устами!

Последовало довольно продолжительное молчание.

— А что будет с прочими царевнами? — спросил наконец старик Хованский.

— Не знаю! — отвечал Никита. — Глас, в сердце моём вещавший, у молкнул. Делай с ними, что хочешь, чадо Иоанн! Соблазнительницу сына твоего, Екатерину, отдай ему головою, а всех прочих дочерей богоотступного царя и еретика Алексея, друга антихристового, разошли по монастырям.

— А как, отец Никита, быть со стрельцами, которые пребудут во зле и не обратятся на путь истинный? Конечно, все они меня лю-

бят, как отца родного, однако ж половина полков ещё в сетях дьявольских. Можно...

В это время дворецкий, почувствовав охоту чихнуть, большими шагами на цыпочках удалился от двери. Сгорбясь от страха, схватив левою рукою свой длинный нос и удерживая дыхание, он поспешил встать на своё место пред сенями и перекрестился, вздохнув из глубины своих лёгких, подобно человеку, которого хотели удушить и вдруг помиловали. Сердце его сильно билось. Глядя нос, который был стиснут в испуге слишком неосторожно, дворецкий шептал про себя: «Чтоб тебя волки съели, проклятого; в пору нашло на тебя чиханье!» Поуспокоившись, Савельич опять начал поглядывать на дверь рабочей горницы. Прошло более часа. Впечатление испуга постепенно ослабело, и бесёнок любопытства, высунув головку из замочной скважины, начал манить дворецкого к двери. Перекрестясь, он стал тихонько к ней приближаться; но благоразумный нос с истинным самоотвержением снова погрозил хозяину обличить его в преступлении, принудил его поспешно возвратиться на своё место и снова

был стиснут. Не он первый, не он последний на свете подвергся притеснению за благонамеренное предостережение своего властелина, увлекаемого страстию. Однако ж Савельич вскоре увидел всю несправедливость свою к носу и почувствовал искреннюю к нему благодарность: едва успел он встать перед сенями, как дверь рабочей горницы отворилась, и князя вышли в столовую с Никитою, который простясь с ними и благословив их, отправился в слободу Титова полка.

— Позови ко мне десятника! — сказал старик Хованский дворецкому.

— Что прикажешь, отец наш? — спросил вошедший десятник.

— Когда пойдёшь после смены в слободу, то объяви по всем полкам мой приказ, чтобы вперёд присылали ко мне всякий день в дом для стражи не по десяти человек, а по сту и с сотником. Слышишь ли?

— Слышу, отец наш.

— Да чтобы все были не с одними саблями, но и с ружьями. Пятьдесят человек пусть надевают кафтаны получше; они станут ходить проводниками за моею каретою, когда мне

случится со двора ехать. Слышишь ли?

— Слышу, отец наш.

— Ещё пошли теперь же стрельца ко всем полковникам, подполковникам и пятисотенным; вели им сказать, что я требую их к себе сегодня вечером, через три часа после солнечного заката. Ну, ступай!

— Про какого нечестивца, — спросил молодой Хованский, — говорил отец Никита?

— Про многих. Ныне истинно благочестивых людей с фонарём поискать.

— Он говорил, что кто-то усомнился в его даре пророчества. Кого он разумел?

— Пятисотенного Бурмистрова, который у меня в тюрьме сидит. Хорошо, что ты мне об нём напомнил. Эй, дворецкий!

— Что приказать изволишь? — сказал дворецкий, отворив дверь из сеней, у которой подслушивал разговор боярина с сыном.

— Есть ли у нас дома секира?

— Валяется их с полдюжины в чулане, да больно тупы, и полена не расколешь!

— Наточи одну поострее, Дня через три мне понадобится.

— Слушаю!

— Приготовь ещё телегу, чурбан, столько верёвок, чтоб можно было одному человеку руки и ноги связать, и два заступа. Ступай! Да смотри, делай всё тихомолком и никому не болтай об этом; не то самому отрублю голову!

— Слушаю!

— А носишь ты ещё мёд и кушанье с моего стола тому тюремному сидельцу, к которому я посылал с тобою книгу?

— Ношу всякий день, по твоему приказу.

— Вперёд не носи, а подавай ему, как и прочим, хлеб да воду. Ну, ступай! Да смотри, если проболтаешься — голову отрублю!... Пойдём в рабочую горницу, Андрюша, отдохнём немного, мы после обеда ещё не спали сегодня. Да надобно с тобой ещё кое о чём посоветоваться. Помоги нам, Господи, в нашем благом подвиге!

Вечером собрались в доме Хованского стрелецкие полковники, подполковники и пятисотенные и пробыли у него до глубокой ночи.

V[45]

*Ослепли в буйстве их сердца:
Среди крамол и пылких прений,*

*Упившись злобой и грехом.
Не видят истинных видений.
Глинка.*

На другой день, пятого июля, патриарх Иоаким со всем высшим духовенством и священниками всех московских церквей молился в Успенском соборе о защите православной церкви против отпадших сынов её и о прекращении мятежа народного.

Между тем Никита и сообщники его, собравшись за Яузою, в слободе Титова полка, пошли к Кремлю в сопровождении нескольких тысяч стрельцов и бесчисленного множества народа. Пред Никитою двенадцать мужиков несли восковые зажжённые свечи; за ним следовали попарно его приближенные сообщники с древними иконами, книгами, тетрадами и налоями. На площади пред церковью Архангела Михаила, близ царских палат, они остановились, поставили высокие скамьи и положили на налои иконы, пред которыми встали мужики, державшие свечи. Взяв свои тетради и книги, Никита, расстриги-чернецы

Сергий и два Савватия и мужики Дорофей и Гаврило начали проповедовать древнее благочестие, уча народ не ходить в хлевы и амбары (так называли они церкви). Патриарх послал из собора дворцового протопопа Василия для увещания народа, чтобы он не слушал лживых проповедников; но толпа раскольников напала на протопопа и верно бы убила его, если бы он не успел скрыться в Успенский собор. По окончании молебна и обедни патриарх со всем духовенством удалился в свою Крестовую палату. Никита и сообщники его начали с криком требовать, чтобы патриарх вышел на площадь пред собором для состязания с ними. Толпа изуверов беспрестанно умножалась любопытными, которые со всех сторон сбегались на площадь, и вскоре весь Кремль наполнился народом.

Князь Иван Хованский, войдя в Крестовую палату, сказал патриарху, что государи велели ему и всему духовенству немедленно идти во дворец через Красное крыльцо. У этого крыльца собралось множество раскольников с камнями за пазухою и в карманах. Патриарх, не доверяя Хованскому, медлил. Старый

князь, видя, что замысел его не удаётся, пошёл во дворец, в комнаты царевны Софии, и сказал ей с притворным беспокойством:

— Государыня! стрельцы требуют, чтобы святейший патриарх вышел на площадь для прения о вере.

— С кем, князь?

— Не знаю наверно, государыня; изволь сама взглянуть в окно. Господи Боже мой! — воскликнул Хованский, отворяя окно. — Какая бездна народу! Кажется, вон эти чернецы, что стоят на скамьях, близ налоев, хотят с патриархом состязаться.

— Для чего же ты не приказал схватить их?

— Это невозможное дело, государыня! Все стрельцы и весь народ на их стороне. Я боюсь, чтобы опять не произошло — от чего сохрани, Господи! — такого же смятения, какое было пятнадцатого мая.

— А я всегда думала, что князь Хованский не допустит стрельцов до таких беспорядков, какие были при изменнике Долгоруком.

— Я готов умереть за тебя, государыня; но что ж мне делать? Я всеми силами старался

вразумить стрельцов, — и слушать не хотят! Грозят убить не только всех нас, бояр, но даже... и выговорить страшно!... даже тебя, государыня, со всем домом царским, если не будет исполнено их требование. Ради самого Господа, прикажи патриарху выйти. Я просил его об этом, но он не соглашается. Чего опасаться такому мудрому и святому мужу каких-нибудь беглых чернецов? Он, верно, посрамит их пред лицом всего народа и успеет прекратить мятеж.

— Хорошо! Я сама к ним выйду с патриархом.

— Сама выйдешь, государыня! — воскликнул Хованский с притворным ужасом. — Избави тебя Господи! Хоть завтра же вели казнить меня, но я тебя не пущу на площадь: я клялся охранять государское твоё здравие — и исполню свою клятву.

— Разве мне угрожает какая-нибудь опасность? Ты сам говорил, что и патриарху бояться нечего.

— Будущее закрыто от нас, государыня! Ручаться нельзя за всех тех, которые на площади толпятся. Изволь послушать, какие

неистовые крики, словно вой диких зверей! Нет, ни за что на свете не пущу я твоё царское величество. Пусть идёт один патриарх; я буду охранять его. Если и убьют меня, бед? невелика; я готов с радостью умереть за тебя, государыня!

— Благодарю тебя за твоё усердие, князь. Я последую твоим советам. Иди к патриарху и скажи ему моим именем, чтобы он немедленно шёл во дворец.

— Через Красное крыльцо, государыня?

— Да. А мятежникам объяви, что я потребовала патриарха к себе и прикажу ему тотчас же выйти к ним для состязания.

По уходе Хованского София, кликнув стряпчего, немедленно послала его к патриарху и велела тихонько сказать ему, чтобы он изъявил на приглашение Хованского притворное согласие и вошёл во дворец не чрез Красное крыльцо, а по лестнице Ризположенской. Другому стряпчему царевна велела как можно скорее отыскать преданных ей, по её мнению, полковников Петрова, Одинцова и Циклера и подполковника Чермного и объявить им приказание немедленно к ней

явиться.

Всех прежде пришёл Циклер.

— Что значит это новое смятение? — спросила гневно София. — Чего хотят изменники-стрельцы? Говори мне всю правду.

— Я только что хотел сам, государыня, просить позволения явиться пред твои светлые очи и донести тебе на князя Хованского. Вчера по его приказанию мы собрались у него в доме. Он совещался с нами о введении старой веры во всём царстве и заставил всех нас целовать крест с клятвою хранить замысел его в тайне. Он всем нам обещал щедрые награды.

— И ты целовал крест?

— Целовал, государыня, для того только, чтобы узнать в подробности все, что замышляет Хованский и донести тебе.

— Благодарю тебя! Ты не останешься без награды. Кто главный руководитель мятежа?

— Руководитель явный — расстриженный поп Никита, а тайный — князь Хованский.

— Сколько стрелецких полков на их стороне?

— Весь Титов полк и несколько сотен из

других полков.

— Хорошо! Поди в Грановитую палату и там ожидай моих приказаний.

Циклер удалился. Войдя в Грановитую палату, он стал у окошка и, сложив на грудь руки, начал придумывать средство, как бы уведомить Хованского, что царевне Софии известен уже его замысел. Не зная, которая из двух сторон восторжествует, он хотел обезопасить себя с той и другой стороны, давно привыкнув руководствоваться в действиях своих одним корыстолюбием и желанием возвышаться какими бы то ни было средствами.

Между тем к царевне Софии пришёл Чермной.

— И ты вздумал изменять мне! — сказала София грозным голосом. — Ты забыл, что у тебя не две головы?

Чермной, давший накануне слово Хованскому наедине за боярство и вотчину убить царевну, если бы князь признал это необходимым, — несколько смутился; но, вскоре ободрившись, начал уверять Софию, что он вступил в заговор с тем только намерением,

чтобы выведать все замыслы Хованского и её предостеречь. Подтвердив уверения свои всеми возможными клятвами, он сказал наконец царевне, что готов по её первому приказанию бить изменника Хованского.

Заметив его смущение, София, хотя и не поверила его клятвам, однако ж решила скрыть свои мысли, опасаясь, чтобы Чермной решительно не перешёл на сторону Хованского.

— Я всегда была уверена в твоём усердии ко мне, — сказала царевна притворно ласковым голосом. — За верность твою получишь достойную награду. Я поговорю с тобой ещё о Хованском; а теперь поди в Грановитую палату и там ожидай меня.

Едва Чермной удалился, вошёл Одинцов.

— Готов ли ты, помня все мои прежние милости, защищать меня против мятежников? — спросила София.

— Я готов пролить за твоё царское величество последнюю каплю крови.

— Говорят, князь Хованский затеял весь этот мятеж. Правда ли это?

— Клевета, государыня! Не он, а нововведе-

ния патриарха Никона, которые давно тревожат совесть всех сынов истинной церкви, произвели нынешний мятеж. Этому надобно было ожидать. Отмени все богопротивные новизны, государыня, восставь церковь в прежней чистоте её, — и все успокоятся!

— Я знаю, что вчера у князя было в доме совещание.

— Он заметил, что все стрельцы и народ в сильном волнении, и советовался с нами о средствах к отвращению грозящей опасности.

— Не обманывай меня, изменник! Я всё знаю! — воскликнула София в сильном гневе.

Одинцов, уверенный в успехе Хованского и преданный всем сердцем древнему благочестию, отвечал:

— Я не боюсь твоего гнева: совесть меня ни в чём не укоряет. Ты обижаешь меня, царевна, называя изменником: я доказал на деле моё усердие к тебе. Видно, старые заслуги скоро забываются! Не ты ли уверяла нас в своей всегдашней милости, когда убеждала заступиться за брата твоего? Мы подвергали жизнь свою опасности, чтобы помочь тебе в твоих намерениях. Без нашей помощи не пра-

вила бы ты царством.

Поражённая дерзостью Одинцова, София чувствовала, однако ж, справедливость им сказанного и долго искала слов для ответа; наконец, сказала, стараясь скрыть овладевшее ею негодование:

— Я докажу тебе, что я не забываю старых заслуг. Докажи и ты, что усердие твоё ко мне не изменилось.

Вместе с этими словами София твёрдо решила по укрощении мятежа и по миновании опасности при первом случае казнить Одинцова.

— Что приказать изволишь, государыня? — спросил вошедший в это время Петров.

Царевна, приказав и Одинцову идти в Грановитую палату, спросила Петрова:

— Был ли ты вчера у Хованского на совещании?

— Не был, государыня.

— Не обманывай меня, изменник! Мне уже всё известно!

Петров был искренно предан Софии. Слова её сильно поразили его.

— Клянусь тебе Господом, что я не обманываю

ваю тебя, государыня! — сказал он. — Я узнал, что князь Иван Андреевич замышляет ввести во всём царстве Аввакумовскую веру, и потому не пошёл к нему на совещание, хотел разведать о всём, что он замышляет, и донести твоему царскому величеству.

— Поздно притворяться! Одно средство осталось тебе избежать заслуженной казни: докажи на деле мне свою преданность. Если стрельцы сегодня не успокоятся, то я и без тебя усмирю их, и тогда тебе первому велю отрубить голову.

— Жизнь моя в твоей воле, государыня! Не знаю, чем заслужил я гнев твой. Я, кажется, на деле доказал уже тебе мою преданность: я первый согласился на предложение боярина Ивана Михайловича, когда он после присяги царю Петру Алексеевичу...

— Скажи ещё хоть одно слово, то сегодня же будешь без головы! — воскликнула София, вскочив с кресел. — Поди, изменник, к Хованскому, помогай ему в его замысле! Я не боюсь подобных тебе злодеев! Ты скоро забыл все мои милости. Прочь с глаз моих!

Петров, оскорблённый несправедливыми

укоризнами, почти решился исполнить приказание царевны и действовать с Хованским заодно. Подойдя уже к дверям, он остановился и, снова приблизясь к Софии, сказал:

— Государыня! у тебя из стрелецких начальников немного верных, искренно преданных тебе слуг, на которых ты могла бы положиться. Один я не был на совещании у Хованского. Сторона его и без меня сильна. Не отвергай верной службы моей и не заставь меня действовать против тебя!

София, думая, что Петров устранился угрозы её и оттого притворяется ей преданным, но считая, впрочем, что в такую опасную для неё минуту может быть не бесполезен и тот, кто из одного страха предлагает ей свои услуги, сказала Петрову:

— Ну, хорошо, загладь твою измену; я прощу тебя, если увижу на деле твоё усердие ко мне.

— Увидишь, государыня, что ты меня понапрасну считаешь изменником.

По приказанию Софии Петров пошёл в Грановитую палату.

— Что ж нам теперь делать, Иван Михай-

лович? — спросила София.

Боярин Милославский, отдернув штофный занавес, за которым скрывался во время разговора царевны с Хованским и с приходившими стрелецкими начальниками, сказал ей:

— Из всего я вижу, что на стороне Хованского не более половины стрельцов и что бояться нечего. Только не должно допустить, чтобы патриарх вышел на площадь для состязания. Если его убьют, то всё потеряно. Во всяком злодействе первый шаг только страшен, а я знаю, что Хованский с сообщниками условился начать дело убийством патриарха.

— Я уже велела ему сказать, чтобы он вошёл во дворец по Ризположенской лестнице.

— Для чего, государыня, велела ты Циклеру, Петрову, Одинцову и Чермному идти в Грановитую палату? Мне кажется, что ни на одного из них положиться нельзя.

— А вот увидим.

София, кликнув стряпчего, послала в Грановитую палату посмотреть, кто в ней находится.

Стряпчий, возвратись, донёс, что он нашёл в палате Циклер а, Петрова и Чермного.

— Вот видишь ли! — сказала София, когда стряпчий вышел. — Я не ошиблась: только Одинцов изменил мне и пошёл на площадь.

Однако ж София, несмотря на свою пронзительность, очень ошибалась, потому что один Петров, на которого она всего менее надеялась, держался искренно её стороны. Чермной, расхаживая большими шагами по Грановитой палате и мечтая об обещанном боярстве и вотчине, снова решился ещё твёрже прежнего действовать с Хованским заодно и по первому его приказанию принести Софию в жертву древнему благочестию. Какая вера ни будь, новая или старая, и кто ни царствуй, София или Иван, для меня всё равно — размышлял он — лишь бы добиться боярства да получить вотчину в тысячу дворов; а там по мне хоть трава не расти! Циклер с нетерпением ожидал приказаний Софии, чтобы скорее уйти из Грановитой палаты, предостеречь Хованского и, таким образом обманув и царевну, и князя, ждать спокойно конца дела и награды от того из них, кто восторжествует.

— Не знаете ли, товарищи, — спросил Петров, — для чего царевна сюда нас послала?

— Она велела мне ждать её приказаний, — отвечал Циклер.

— А мне говорила, — сказал Чермной, — *что* она сама придёт сюда.

— Чем всё это кончится? — продолжал Петров. Признаюсь: мне эти мятежи надоели. Хоть мы и хорошо сделали, что послушались Ивана Михайловича и заступились за царевича Ивана Алексеевича, однако ж надобно и то сказать: если б не было бунта пятнадцатого мая, так не было бы и нынешнего. Я с вами говорю, как с товарищами. Вы из избы сору не вынесете?

— Стыдись, Петров! — сказал Циклер. — После всех милостей, которые нам оказала царица Софья Алексеевна, грешно слабость в усердии к ней. Этак скоро дойдёшь и до измены! Что до меня касается, так я за неё в огонь и в воду готов!

— Ия также, — сказал Чермной. — Смотри, Петров! Чуть замечу, что ты пойдёшь на непятный двор да задумаешь изменять Софье Алексеевне, так я тебе голову снесу, даром, что ты мне приятель: Я готов за неё отца родного зарезать!

— Что вы, что вы, товарищи! Кто вам сказал, что я хочу изменять царевне? Я только хотел с вами поболтать. Мало ли что иногда взбредёт на ум; а у меня что на уме, то и на языке, когда я говорю с приятелями.

— То-то с приятелями! — сказал Чермной. — Говори, да не заговаривайся.

Между тем как они разговаривали, София совещалась с Милославским, а Хованский сообщил её приказание патриарху: идти во дворец чрез Красное крыльцо. Патриарх, предуведомлённый стряпчим, согласился, и Хованский, выйдя из Крестовой палаты на площадь, вмешался в толпу.

Афанасий, архиепископ Холмогорский, с двумя епископами, с несколькими архимандритами, игуменами разных монастырей и священниками всех церквей московских, пошёл из Крестовой палаты к Красному крыльцу. Все они несли множество древних греческих и славянских хартий и книг, чтобы показать народу готовность к состязанию с раскольниками.

Вся площадь зашумела, как море. Не видя патриарха, стоявшие у Красного крыльца с

каменьями не знали, на что решиться, и шептались друг другу:

— Волка-то нет! Что Ж нам делать? Спросить бы князя Ивана Андреевича, Куда он запропастился? А, да вот он!

Хованский, протеснившись сквозь толпу, приблизился к архиепископу Афанасию и спросил:

— А где же святейший патриарх?

— Он уже с митрополитами в царских палатах, — отвечал Афанасий.

— Как! да когда же он туда прошёл? Я с Красного крыльца глаз не спускал: всё смотрел, чтобы святейшего патриарха не затеснили и дали ему дорогу.

— О святейшем патриархе заботиться нечего, он уж прошёл. А вот мы как пройдем сквозь эту толпу? Взгляни, какая теснота у Красного крыльца! Вели, князь, твоим стрельцам очистить нам дорогу.

Вместе с Афанасием и следовавшим за ним духовенством Хованский вошёл во дворец.

— Государыня! — сказал он Софии, — вели святейшему патриарху немедленно идти на площадь: проклятые бунтовщики угрожают

ворваться по-прежнему во дворец и убить патриарха со всем духовенством и всех бояр. Я опасаюсь за твоё государское здравие и за весь дом царский!

— Я назначила быть состязанию в Грановитой палате, — отвечала Софья. — Объяви, князь, бунтовщикам мою волю.

Истоцив все возможные убеждения и видя непреклонность царевны, Хованский вышел на Красное крыльцо и велел позвать Никиту с сообщниками в Грановитую палату, куда между тем пошли Софья, сестра её, царевна Мария, тётка их, царевна Татьяна Михайловна и царица Наталья Кирилловна в сопровождении патриарха, всего духовенства и Государственной Думы, немедленно собравшейся по приказанию царевны. Софья и царевна Татьяна Михайловна сели на царские престолы, подле них поместились в креслах царица Наталья Кирилловна, царевна Мария и патриарх, потом по порядку восемь митрополитов, пять архиепископов и два епископа. Члены Думы, архимандриты, игумены, священники, несколько стольников, стряпчих, жильцов, дворян и выборных из солдатских и стре-

лецких полков, в том числе Петров, Циклер и Чермной, стали по обеим сторонам палаты.

Наконец отворилась дверь. Вошёл Хованский и занял своё место между членами Думы, за ним вошли двенадцать мужиков с зажжёнными восковыми свечами и толпа избранных сообщников Никиты с налоями, иконами, книгами и тетрадами; наконец явился сам Никита с крестом в руке. Его вели под руки сопроповедники его, крестьяне Дорофей и Гаврило, за ним следовали чернецы Сергей и два Савватия. На поставленные налои были положены иконы, книги и тетради, и мужики со свечами, как и на площади, стали пред налоями.

Когда шум, произведённый вошедшими, утих, София спросила строгим голосом:

— Чего требуете вы?

— Не мы, — отвечал Никита, — а весь народ московский и все православные христиане требуют, чтобы восстановлена была вера старая и истинная и чтобы новая вера, ведущая к гибели, была отменена.

— Скажи мне: что такое вера, и чем различается старая от новой? — спросила София.

— Вера старая ведёт ко спасению, а новая к погибели. Первой держимся мы, а второй следуете все вы, оболъщённые антихристом Никоном.

— Я не о том спрашиваю. Скажи мне прежде: что такое вера?

— Никто из истинных сынов церкви об этом вопрошать не станет, всякий из них это знает. Я не хочу отвечать на твой вопрос потому, что последователи антихриста не могут понимать слов моих. Не хочу метать напрасно бисера...

— Лучше скажи, что не умеешь отвечать. Как же смел ты явиться пред царское величество, когда сам не знаешь, чего требуешь? Как смел ты надеть одежду священника, когда тебя лишили этого сана за твоё второе обращение к ереси, в которой ты прежде раскаялся?

— Хищный волк с сонмом лжеучителей не мог меня лишить моего сана: власть его дарована ему антихристом. Я не признаю этой власти и до конца земного моего странствования не буду ей повиноваться.

— Замолчи, бунтовщик, и встань сюда, к стороне! Что ж, не вздумал ли ты меня послу-

шаться? Я тотчас же прикажу отрубить тебе голову!

Никита, нахмутив брови, замолчал и отошёл к стороне.

— Говорите: зачем пришли вы? — спросила София, обратясь к сообщникам Никиты.

— Подать челобитную твоему царскому величеству! — отвечал чернец Сергей, вынув из-за пазухи бумагу.

По приказанию царевны один из членов Думы, взяв у него челобитную, начал читать её вслух[46].

Она состояла из двадцати четырёх статей и никем не была подписана. В начале было сказано: « Бьют челом святые Восточные Церкви Христовы, царские богомольцы, священнический и иноческий чин и все православные христиане опрично тех, которые новым Никоновым книгам последуют, а старые хулят».

По прочтении каждой статьи начинался спор и, по опровержении её, приступаемо было к чтению следующей.

Когда дошла очередь до пятой статьи, в которой было сказано, что в новом Требнике на-

печатана молитва лукавому духу, то Хованский, расхаживая по палате, будто бы для прекращения шума, подошёл к Никите и шепнул ему:

— Не опасайся, отец Никита, угрозы царевниных и не слабей в святом усердии к древнему благочестию.

Едва Хованский успел отойти от него, как Никита, не дав патриарху окончить начатого им возражения, закричал:

— Сомкни, хищный волк, уста свои, исполненные лести и коварства! Дела ваши обличают вас! Если б вы были не ученики антихристовы, то не стали бы молиться врагу человеческого рода!

— Ты говоришь это потому, что плохо знаешь грамматику! — сказал спокойно архиепископ холмогорский Афанасий. — Пусться в море богословия, ты у берега не заметил запятой и, наткнувшись на этот подводный камень, сам тонешь, да и других на дно с собою тащишь. В молитве на крещение сказано прежде: *«Ты сам владыко Господи Царю прииди»*; далее же следует: *«Да не снидет со крещаемым, молимся тебе, Господи, дух лука-*

вый» и проч. Итак, всё сказанное в этой молитве относится к Богу, равно как и слова «*молимся тебе, Господи*». Если б последние относились к духу лукавому, то они не были бы отделены знаками препинания, да и дух лукавый должно было бы поставить в звательном падеже и сказать: душе лукавый.

— Сатана, которому вы молитесь, говорит твоими нечестивыми устами! — воскликнул Никита. — Я смыщлю в твоё из *грамматического художества* и знаю, что оно учит не вере истинной, а знакам препинания; оно помогает полагать препинания православным на пути спасения. Оттого-то и антихрист Никон, учитель ваш, любил грамматическое художество, оттого и вы...

— Замолчи! — воскликнула София и велела продолжать чтение челобитной.

По прочтении осьмой статьи, в которой доказывалось, что должно креститься двумя, а не тремя перстами, Никита, не обращая внимания на слова царевны, приказывавшей ему замолчать, начал с жаром читать из тетради, которую взял с налю, следующее:

«Великие страдальцы Алексий и Феодор, града Ростова, начата обличат Никоново новопредание. Царь же не восхоте сих озлобити, аще и духовный наступоваху на кровопролитие, но не послуша царь, во изгнание осуждает их в Поморскую страну, во окиянские пределы, близ Кольского острога в монастырь Кандалажский, иде же всякую скорбь и тесноту и скудость приемлюще яко до сорока лет. Сего ради от всюду народи притекающе слышати от них душеполезные словеса, от всея поморские страны. Тогда на Холмогорех новопоставленному архиепископу Афанасию, лютейшу зело завистию Никоновых новопреданий любителю, возвещено бысть о сих блаженных, яко всю поморскую страну подтверждают еже о древнем благочестии. Архиерей, яростью распалився, воины взяв от воеводы, в Кандалажский монастырь посылает. Тогда взяша страдальцев, в темницу за крепкую стражу посадиша, по сём представиша архиерею, и прежде увещеваху, еже крестится тремя персты и прияти новопечатыне книги. Они же не прыемляху, но и приемлющих поношаста. Тогда архиерей повеле бити их и вопро-

шаше: покоряетелися? Страдальцы же никакого же хотяху, но терпети обещающесея за древнее благочестие. Недоумеваяся архиерей коим бы хитрее творением привлеци к своей воли, повеле их в темницу посадити и голодом морити, хотя сих некими прелестями одолети. Брашно начат к тем от себя посылати, но прежде нечто действовав над брашны и рукою пятиперстным благословением оградив, посылает. Спящу вседивному Феодору, Алексий брашно приемлет, и егда голодом преклоняем, восхоте Алексий от принесеннаго прияти брашна, восстав Феодор, удержав его за руку и рече: не прикасайся приносимым, не видиши ли змия чёрного на брашне лежаща? Прежде помолися со слезами и увидиши прелесть. Тогда Алексий начат молитися и виде на всех брашех змиево лежание. Тогда взял брашно, верзе за оконце на землю. Стрегущи зряху, возвещают сия архиерею. И начаста страдальцы голодом пребывати, от архиерея не приемлюще брашна. И некогда Алексий, жаждою объят быв, повеле стрегущему сосудец принести воды, Стрегущий шед доложися архиерею. Повеле архиерей принести воды и

взем к себе нечто действоваше, и рукою оградив пятиперстным сложением, посылает. Но духопрозрительный Феодор, взем сосуд, рече Алексиеви видиши ли яко змий в сосуде на воде плавает? Тоже дивный Феодор глагола ко стрегущему; был где с водою? Оному же отпирающуся, глаголаше старецу само видение воды являет, яко у архиерея был еси, сего ради змий чёрный по воде плавает невидимо. И тако взем воду за окно изливает на землю. Преподобный Феодор гладом преставися; много-терпеливый же Алексий девять седмиц без пищи и пития препроводив, преставися, и тако оба скончастся за древнее благочестие».

— Вот дела твои, душегубец! — воскликнул Никита, обратясь к Афанасию. — Вы повелеваете всем креститься тремя перстами, порицая истинное двуперстное сложение, а сами втайне слагаете пять перстов и призываете диавола на пищу и питье для обольщения православных! Горе тому, кто вас слушается! Ваше троеперстное сложение есть печать антихриста, а пятиперстное — знак союза с врагом человеческого рода!

— Душегубцы! богоотступники! дети антихристовы! — закричали все сообщники Никиты, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами. — Так, так должно креститься!

Стрельцы, стоявшие на площади, слыша крик в Грановитой палате, начали громко роптать, вынимая сабли. Народ, ужаснувшись, заволновался на площади.

София с тёткою и сестрою и царица Наталья Кирилловна встали с мест своих в намерении удалиться из палаты.

— Если вы попускаете бунтовщиков в нашем присутствии и при святейшем патриархе до таких неистовств, — сказала София Петрову, Циклеру и Чермному, — то ни царям, ни мне, ни всему дому царскому в Москве более оставаться невозможно; мы все удалимся в чужие страны и объявим народу, что вы этому причиною.

— Мы готовы за тебя положить свои головы, государыня! — отвечал Петров и начал умолять Софию переменить её намерение.

По усиленным просьбам его, равно Циклера и Чермного, София опять села на один из пре-

столов, и все заняли прежние места свои.

Когда восстановилось в палате молчание, архиепископ Афанасий сказал Никите:

— Греки, от которых Россия приняла православную христианскую веру при великом князе Владимире, крестятся, слагая три перста. Обычай этот сохраняет греческая церковь по преданию апостольскому. Вы ссылаетесь на Феодорита, епископа кирского, будто бы повелевающего креститься двумя перстами, но вы лжёте на Феодорита. Ещё в лето миробытия шесть тысяч шестьсот шестьдесят шестое еретик Мартин Армянин учил слагать персты по-вашему и был предан проклятию собором, бывшем двадцатого октября того же года в Киеве. Притом молитва не состоит в одном сложении перстов: должно поклоняться Богу духом и истиною. Если сердце ваше исполнено страсти к раздорам, гордости и ненависти к братьям вашим, если вы не покоряетесь установленным от Бога властям и производите мятеж народный, то как ни слагайте персты, молитва ваша не будет услышана. Бог внимлет молитвам праведных, которые соблюдают две главные заповеди Его: любить

Бога и ближнего, — которые любят даже врагов своих.

— Не тебе учить нас, душегубец! — воскликнул Никита. — Не из любви ли к ближним уморил, ты голодом великих страдальцев Феодора и Алексия?

— Ты клеветешь на меня! узнавши, что они учат народ не ходить в церкви, распространяют между ним ересь свою вопреки царскому запрещению, объявленному им при отправлении их ещё при патриархе Никоне в Кандаджский монастырь, я потребовал их к себе и старался всеми мерами обратить их к церкви православной. Не моя вина, что на кушанье и питье, которые я им посылал с моего стола грезилась им какие-то чёрные змеи и что они бросали кушанье и выливали питье за окно. По словам самого Феодора, змей по воде плавал невидимо; как же он видел его? Вольно им было, испугавшись невидимого змея, уморить себя голодом и жаждою. За это нельзя винить меня. Притом, нельзя верить твоему повествованию. Кто говорит, что человек пробыл без пищи и питья девять недель, тот явно лжёт.

— Ты уморил праведных страдальцев, душегубец! Услышьте моление моё, преподобный Феодор и многотерпеливый Алексей, помогите отомстить смерть вашу. Погибни, сын погибели!...

С этими словами Никита в исступлении бросился на Афанасия и хотел ударить его крестом в висок, но полковник Петров удержал его руку и с величайшим усилием оттащил от архиепископа. Во всей палате произошло смятение.

— Если ты осмелишься ещё сойти с твоего, места и сказать хоть одно слово, то я, как послушника царской власти, прикажу казнить тебя! — сказала София Никите.

Когда чтение челобитной кончилось, раздался благовест к вечерне. Начинало уже смеркаться. София встала с престола и сказала раскольникам:

— Теперь уже поздно решить вашу челобитную. Собрание продолжается с десятого часа дня; все устали. Завтра опять будет назначено собрание, и вам явится указ на ваше прошение.

София с тёткою и сестрою и царица Ната-

лья Кирилловна удалились в свои покои, и все вышли из Грановитой палаты, Никита и сообщники его посреди бесчисленной толпы народа пошли из Кремля на Красную площадь, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами и восклицая:

— Победили! победили! Так слагайте персты! По-нашему веруйте!

Взойдя на лобное место и положив на налои иконы, продолжали они кричать народу:

— По-нашему веруйте! Мы всех архиереев оспорили и посрамили!

После этого сказали они народу поучение, будто бы по царскому повелению, и сошли с лобного места, чтобы удалиться в главное место соборища их, в слободу Титова полка.

Вдруг глаза у Никиты закатились, и он упал на землю в страшных судорогах. Пена била у него изо рта.

Сообщники его остановились в недоумении; толпа стрельцов и народа окружила их.

Наконец Никита пришёл в чувство и встал, шатаясь, на ноги.

— Хватайте его! — закричал полковник Петров, бросаясь с отрядом стрельцов своего

полка к Никите.

— Не тронь! — закричали стрельцы, единомышленники раскольников.

— Хватайте, вяжите его! Крепче, Ванька, затягивай! — продолжал Петров. — Не мешайте нам, дурачье! Что вы за этого еретика заступаетесь, разве не видали вы, как его нечистый дух ударил оземь? От всякого православного дьявол бежит не оглядываясь. Явно, что этот бездельник-колдун и черно книжник, — и всех вас морочит.

Слова эти произвели на защитников Никиты приметное впечатление. Сообщники его в страхе разбежались, и толпа, шедшая за ним до Тюремного двора, постепенно рассеялась.

На другой день, шестого июля, рано утром вывели Никиту на Красную площадь. Палач с секирой в руке стоял уже на лобном месте. Вскоре вся площадь закипела народом.

Думный дьяк прочитал указ об отсечении головы Никите, если он всенародно не раскается в своих преступлениях и в своей ереси. В последнем случае велено было его сослать в дальний монастырь.

Никита, выслушав указ, твёрдыми шагами

взошёл на лобное место.

— Одумайся! — сказал думный дьяк.

— Предаю анафеме антихриста Никона и всех учеников его! Держитесь, православные, веры старой и истинной!

— Итак, ты не хочешь раскаяться? — спросил дьяк.

— Умираю за древнее благочестие!

Перекрестясь двумя перстами, Никита положил голову на плаху. Народ хранил глубокое молчание.

Секира, сверкнув, ударила по плахе. Брызнула кровь, и голова Никиты, отлетев от туловища, покатилаь. Все, бывшие на площади, невольно вздрогнули и, вполголоса разговаривая друг с другом, мало-помалу рассеялись.

VI

*Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нём не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.
Пушкин.*

Смерть Никиты сильно поразила и опечалила Хованского. С Одинцовым и с некоторыми другими, самыми ревностными поборниками старой веры, отслужив ночью панихиду по великом учителе своём и включив его в число мучеников, Хованский поклялся идти по следам его и во что бы то ни стало утвердить во всём Русском царстве древнее благочестие. Он начал ещё более прежнего потворствовать стрельцам, исходатайствовал у Софии указ[47] переименовании их, по обещанию её, Надворною пехотою, и всеми мерами старался их привязывать к себе, чтобы чрез них достигнуть своей цели. Вскоре все стрельцы без исключения начали называть его отцом своим, и всякий из них готов был пожертвовать жизнью за старого князя. Поступки его не укрылись от Софии. Повторяемые уверения Хованского в неизменной преданности считала она по справедливости притворством и была уверена, что он ждёт только удобного случая для исполнения замысла, разрушенного смертью Никиты. Основываясь на доносе Циклера, она думала, что вся цель Хованского состоит во введении старой веры

в России и что поэтому он опасен не ей самой, а только патриарху и духовенству. Зная при-
верженность стрельцов к князю, царевна боя-
лась вооружить его против себя, продолжала
оказывать ему прежнее доверие и искала слу-
чая удалить его под каким-нибудь благовид-
ным предлогом из столицы. Милославский
давно смотрел с завистью на возрастающее
могущество Хованского и, наконец, поссорясь
с ним явно, из друга превратился в неприми-
римого врага его. Наблюдая за всеми поступ-
ками Хованского, он доносил обо всём Софии.
Циклер вкрался в доверенность князя, чтобы
обезопасить себя и что-нибудь выиграть при
новом мятеже, и в то же время помогал Ми-
лославскому в наблюдениях за Хованским.
Незадолго до первого сентября, месяца через
полтора после смерти Никиты, Циклер рас-
сказал Милославскому, что он из некоторых
слов Хованского и сына его заметил, что за-
мыслы их не ограничиваются повсеместным
восстановлением в государстве древнего бла-
гочестия, а простираются гораздо далее. Уве-
домлённая о том София, опасаясь, чтобы Хо-
ванский не произвёл опять мятежа во время

празднования нового года в наступавшее тогда первое число сентября[48], решила удалиться из Москвы с обоими царями и со всем домом царским в село Коломенское. Хованский остался в Москве. Ещё девятнадцатого августа, в день крестного хода в Донской монастырь, замышлял он произвести мятеж и предать смерти патриарха, Государственную Думу и весь дом царский и, по избранию стрельцов, сделаться царём московским. Но София с обоими царями приехала в монастырь по прибытии уже туда патриарха, а Хованский, подумав, что она с царями вовсе не будет присутствовать при этом торжестве, отложил исполнение своего замысла до другого удобного времени. По отъезде в село Коломенское София велела объявить царское повеление Хованскому, чтобы он присутствовал при молебствии на дворцовой площади, которое должен был совершать патриарх в день нового года. Повеление это имело две цели: во-первых, под видом особой доверенности к Хованскому поручить ему надзор за порядком при назначенном торжестве и таким образом всю ответственность за нарушение порядка

возложить на того человека, которого наиболее должно было в этом случае опасаться; во-вторых, этим средством обезопасить патриарха во время молебствия посреди тех самых стрельцов, которые недавно замышляли убить его, вызвав на площадь.

Хованский, обманувшись в надежде совершить первого сентября то, что не удалось ему исполнить девятнадцатого августа, вопреки царскому повелению пробыл весь день нового года дома, не присутствовал при молебствии и послал вместо себя окольного Хлопова.

Стрельцы, державшиеся древнего благочестия, не смея без приказания их главного начальника покуситься на беспорядки, ограничились оскорбительными для патриарха восклицаниями во время молебствия и разными неопределёнными угрозами, которые навели ужас на всех московских жителей.

Поздно вечером пришли к Хованскому сын его, князь Андрей, и полковник Одинцов и долго совещались с ним наедине в рабочей горнице боярина.

Во время ужина вошёл в столовую дворец-

кий Савельич. Румяный, как вечерняя заря, нос его показывал, что он, несмотря на все свои заботы и хлопоты, не упустил в такой торжественный день сходить на Отдточный двор и с кружкою в руке заочно поздравить своего господина с наступившим новым годом.

Поклонясь низко князю и пошатнувшись немного в сторону, он оперся о стол обеими руками и сказал довольно внятно, несмотря на то, что язык плохо ему повиновался:

— На тот случай, если б ты, боярин, неравно подумал, что я сегодня пьян, пришёл я доложить твоей милости, что у меня — хоть к присяге веди — во рту капли не бывало.

— Это видно! — сказал князь Андрей, засмеявшись.

— Пошёл вон, дуралей! — закричал старик Хованский.

— Пойти-то я пойду, только надобно прежде доложить ещё, что у нас приключилась превеликая беда. Не хотелось бы мне тревожить твою милость в этакой день, да делать нечего, дело важное!

— Что такое? — спросил Хованский,

несколько испугавшись.

— А вот изволишь видеть, боярин: давеча, в то самое время, как приезжал к тебе от царевны Софьи Алексеевны гонец, стряслась такая беда, что и сказать страшно, язык не ворочается...

— Вижу, что он не ворочается, пьяница! — закричал Хованский. — Говори скорее: что за беда?

— Этого нельзя сказать тебе при других.

— Каково вам это кажется! — сказал Хованский, посмотрев на сына и Одинцова. — Ты, видно, ум пропил, разбойник! Здесь лишнего никого нет, всё сейчас говори!

— Коли ты приказываешь, то я, пожалуй, скажу. А то сам же ты велел мне молчать и грозил отрубить голову, если я проболтаюсь.

— Добьюсь ли я от тебя сегодня толку, мошенник! — закричал князь, вскочив со своего места.

— Секира-то пропала!

— Какая секира, пьяница!

— Воля твоя, боярин, виноват не я. Ты сказал мне тогда, что эта секира понадобится тебе через три дня, и велел её наточить. Я и на-

точил её, вытесал и чурбан, и верёвки, и два заступа приготовил и убрал всё в чулан, знаешь, в тот, где разный хлам валяется. Я несколько раз тебе докладывал, что надобно купить новый замок к чулану и что твой повар Федотка суший вор. Ан так и вышло! Как он накануне твоего тезоименитства прошлого года бежал и замок тогда же украл, мошенник, сверх того из погреба бутылъ любимой твоей настойки, которую ты сам изволил делать, мой вязаный колпак да ещё кой-какие мелочи...

— Что ты за вздор мелешь! Ты что-то болтал про давешнего гонца и про какую-то беду, — говори толком, пьяница, и не ври посторонщины.

— Какая тут посторонщина! Изволь только до конца выслушать. Ты мне на прошлой неделе приказывал купить на Отдаточном дворе вина для настойки. Прихожу я сегодня туда не то чтобы выпить, а чтобы вина купить для твоей милости, — глядь, в углу стоит наша секира! Я спрашиваю у продавца: откуда он взял её? Он сказал мне, что какой-то де мужик принёс секиру и заложил её в двух ал-

тынах за кружку вина. Я и смекнул: знать, кто-нибудь стянул у нас секиру из чулана. Что тут за диво, коли замка нет! Эй, вели купить замок, боярин; этак и всё растащат! Я, однако ж, беду поправил и секиру выкупил на свои деньги. Стало быть, два алтына за твоею милостью. Ну да ничего, сочтёмся.

Одинцов и князь Андрей захохотали.

— Пошёл вон, дурачина! — закричал Хованский. — Только для нового года прощаю тебя. Напейся ты у меня в другой раз!

Дворецкий низко поклонился и вышел из комнаты не по прямой, однако ж, геометрической линии, а по ломаной.

— Про какую толковал он секиру? — спросил Одинцов старика Хованского.

— Я велел её приготовить для Бурмистрова.

— Как, разве он ещё жив? Я думал, что ему давно уже голову отрубили. По всей Москве говорили об этом.

Хованский объяснил Одинцову причины, по которым, отсрочив казнь Бурмистрова, решил он тайно содержать его в тюрьме своей, и прибавил:

— Великий страдалец Никита повелел принести его в благодарственную жертву, чрез три дня по восстановлении древнего благочестия. Не сомневаюсь, что скоро принесём мы эту жертву. Господь явно по нас побораёт. Он поможет нам совершить подвиг наш во славу Божию и истребить с лица земли еретиков.

— Я положил секиру в чулан, — сказал Савельич, войдя опять в комнату, — и привесил к двери замок с моего старого сундука.

— Убирайся вон, бездельник! — закричал Хованский.

— Я купил его лет пять тому назад за четыре алтына; а так как ты не господин наш, а настоящий отец, то я уступаю тебе этот замок, хоть он и новёхонек, за три алтына. Стало быть, за твоею милостию с давешними всего пять алтын. Ещё забыл я спросить тебя: отцу-то Никите отрубили голову, — кто же теперь будет патриархом? Царём будешь ты, боярин, это уж дело решённое, а патриарха-то где бы нам взять?

— Что это значит? — воскликнул Хованский, вскочив со своего места. Схватив со сто-

ла нож, подошёл он к дворецкому и, взяв его за ворот, приставил нож к сердцу. — Говори, бездельник, где ты весь этот вздор слышал? Дворецкий как ни был пьян, догадался однако ж, что он лишнее выпил и оттого выболтал лишнее. Чтобы выпутаться из беды, решился он прибегнуть к выдумке.

— Помилуй, боярин, за что ты на меня взъелся? — сказал он. — Я всё это слышал на Отдаточном дворе.

— Что!!! На Отдаточном дворе? — воскликнул Хованский, изменяясь в лице.

— Истинно так! Там все как в трубу трубят, что ты будешь царём и выберешь другого патриарха.

Хованский, стараясь скрыть испуг свой и смущение, сел опять к столу и отёр рукою холодный пот, выступивший на лице его.

— Там насчитал я человек с тридцать подьячих, чернослободских купцов и мужиков: все пили за твоё государское здравие. Грешный человек, не удержался, и я выпил за здравие твоего царского величества!

— Поди, выпипись! Если ты скажешь кому-нибудь хоть одно слово о всех этих бред-

нях, то я велю тебе язык отрезать.

Когда дворецкий вышел, старик Хованский, обратясь к Одинцову, сказал:

— Кто-нибудь изменил нам! Нет сомнения, что царский двор всё уже знает, если уж на Отдаточном многое известно. Что нам делать?

— Не теряй, князь, бодрости, — отвечал Одинцов. — Бог видит, что мы подвигаемся за доброе дело; Он наставит нас и нам поможет.

— Однако ж не должно терять времени, — сказал молодой Хованский. — Надобно подумать о мерах предосторожности: могут вдруг схватить нас.

— Всего лучше, — сказал Одинцов, — скрыться в какое-нибудь не отдалённое от Москвы место, созвать туда всех наших сподвижников, посоветоваться и, призвав Бога в помощь, идти против еретиков. В коломенском войска-то немного.

— Я сам то же думал, — сказал старик Хованский. — Но куда мы скроемся? Что обо мне подумают мои дети, моя Надворная пехота?

— Я объявлю им, чтоб они до приказу твое-

го оставались спокойно в Москве.

— Можно оставить здесь с ними Циклера, — продолжал старик Хованский, — и поручить ему, чтобы он наблюдал за всеми поступками еретиков и нас обо всём извещал.

— Циклера? Давно я хотел сказать тебе, князь, что он человек ненадёжный. Хоть он и притворяется тебе преданным, но я бьюсь об заклад моею головою, что он ищет во всём своей только выгоды и при первой твоей неудаче на тебя восстанет.

— Почему ты так об нём думаешь? Он на деле доказывает своё усердие к древнему благочестию.

— Притворяется! Ведь он переkreщён в нашу веру из немцев, а верно, втайне держится своей лютеранской ереси. Того и гляди, что он нам изменит! Я даже думаю, что никто другой, как он, донёс о наших намерениях супостатке истинной церкви Софье и что от него разнеслись по Москве все эти слухи, о которых говорил твой дворецкий. Мне сказывал один из стрельцов, что видел недавно, как Циклер поздно вечером пробирался в дом Милославского.

— Милославского? Точно ли это правда?

— Какая надобность стрельцу лгать на Циклера!

— Благодарю тебя, Борис Андреевич, что ты меня предостерег. Однако ж... Мудрено поверить, чтоб Циклер был изменник. Отчего бы ему так действовать решительно? Мне кажется, он готов голову положить за истинную церковь.

— Он всегда решителен, когда видит, что можно чужими руками жар загрести. Покуда есть опасность, он виляет на ту и на другую сторону, а как начнёт одна сторона одолевать, так он к ней как раз и пристанет, тогда в огонь и в воду лезть готов; подумаешь, что он-то всё и сделал. Знаю я его! До пятнадцатого мая был он тише воды ниже травы, а как счастье повезло Ивану Михайловичу, наш Циклер так вперёд и рвётся. За то и поместье ему досталось получше, чем нам, грешным. По мне, так изменник Петров лучше этого Иуды!

— А где Петров? — спросил старик Хованский.

— Уехал сегодня утром в Коломенское.

— Туда и дорога! — сказал князь Андрей. — Мы с ним скоро там увидимся.

Во время последовавшего затем молчания старый князь ходил взад и вперед по комнате, на лице его изображалось сильное душевное волнение.

— Андрюша! — сказал он сыну, — осмотри нашу стражу: все ли сто человек налицо? Вели всем зарядить ружья. На всю ночь поставить у ворот часовых. Да скажи дворецкому, чтобы подал мне ключ от калитки, что на чёрном дворе, и чтобы велел оседлать наших лошадей и поставить у калитки.

— Куда ты, князь, собираешься? Теперь уже скоро полночь, — сказал Одинцов.

— Я хочу идти спать. Ночуй у меня, Борис Андреевич, а лошадь твою вели с нашими вместе поставить. Хоть опасаться нечего, однако ж всё-таки лучше приготовиться на всякий случай; спокойнее спать будем. Да не лучше ли теперь же нам уехать из Москвы, как ты думаешь?

— К чему так торопиться? Ляжем, благословясь, спать. Утро вечера мудренее. Успеем и завтра уехать. Прежде надобно посовето-

ваться со всеми нашими сподвижниками, да и их всех взять с собой. Пускай и Циклер с нами едет; а в Москве оставим с Надворною пехотою Чермного, он будет один знать, где мы. Когда придёт время подвига, пошлём к нему приказ, чтобы поспешил к нам с войском, и пойдём истреблять еретиков.

В это время вошёл в комнату Циклер. Приметив беспокойство старика Хованского и перемену в его обращении с ним, он тотчас подумал: не узнал ли что-нибудь старый князь об его сношениях с Милославским.

— Я пришёл к вам с важными вестями, — сказал он. — Слышал ли ты, князь, что Милославский вчера вечером, а Петров сегодня утром уехали в Коломенское?

— Всё это знаю, — отвечал старик Хованский. — Знаю и то, что ты по вечерам ходишь в гости к Ваньке Подорванному![49]

— Я только что хотел об этом говорить. По старой дружбе призывал он меня на днях к себе, сулил золотые горы и звал меня с собою в Коломенское. Я и притворился, что держусь стороны еретиков, а он сдуру и выболтал мне все, что на сердце лежало. Уж как тебя трусят

еретики! Однако ж ни он, ни супостатка истинной веры Софья ничего не знают о наших намерениях. Не худо бы застать их врасплох! Когда ты, князь, думаешь приступить к делу?

— Мера терпения Божия ещё не исполнилась! Господь укажет час, когда должны мы будем извлечь мечи наши на поражение учеников антихриста. Завтра вечером уезжаем мы из Москвы.

— Куда?

— Увидишь куда. Тебе надобно будет ехать с нами. Ночуй у меня. Завтра целый день ты мне будешь нужен, а вечером отправимся вместе в дорогу.

— Очень хорошо! Вели, князь, теперь же послать за моею лошадыю. Я пришёл сюда пешком, завернувшись в опашень. Милославский велел подглядывать объезжим и решёточным за всеми, кто к тебе приезжает или приходит.

— Так ты его и испугался?

— Есть кого бояться! Я для того только решил приходить к тебе тайком, чтобы этот Подорванный всё думал, что я на стороне еретиков. Я хочу на днях побывать в Коломенском.

Он мне ещё что-нибудь разболтает, а я всё тебе перескажу. Я слышал, что он советовал Софье послать в Москву и во все города грамоты с указом, чтобы стольники, стряпчие, дворяне, жильцы, дети боярские, копейщики, рейтары[50], солдаты, боярские слуги и всяких чинов ратные люди съехались к Коломенскому. Хоть этой сволочи бояться нечего — что она делает против храброй Надворной пехоты и стройного Бутырского полка[51] — однако ж надобно поразведать: правда ли это? Если в самом деле так, то лучше, не теряя времени, нагрянуть в Коломенское, да и концы в воду. А там изберём царя и нового патриарха; хищного волка низвергнем в преисподнюю и составим новую Думу. Ты наш отец, а мы дети твои. Будешь царём, а мы боярами. Я люблю говорить прямо! Что на сердце, то и на языке!

— Не пленяйся, Иван Данилович, боярством и не прельщай меня царским венцом. Я дожил до седых волос и уверился, что всё в мире этом суета сует, кроме веры истинной. Для неё подвизаюсь я, для неё извлекаю меч против оболыцённых антихристом еретиков, проливших кровь праведника. Если я и же-

лаю царского венца, то для того только, чтобы ниспровергнуть царство антихриста, восстановить древнее благочестие и спасти душу мою. Мне уже недолго осталось жить на свете, пора и о спасении души подумать! Впрочем, да свершается воля Всевышнего со мною, я с верою следую, куда рука Его ведёт меня. Если Он судил мне быть на престоле для восстановления в Русском царстве матери нашей истинной церкви, потщусь совершить Его назначение; если же Он повелит мне прославить имя Его моею кровию, секира и плаха не устрашат меня. Великие страдальцы Аввакум сожжённый и Никита обезглавленный заслужили уже небесный мученический венец, который славнее всех земных венцов царских. Прославлю Господа, если Он и меня сподобит этого-венца!

Сказавши это, Хованский удалился в свою спальню. Одинцов и Циклер в комнате, для них отведённой, легли на ковры и, не сказав друг другу ни слова, заснули, а князь Андрей пошёл осматривать стражу и исполнять все другие приказания отца. Когда часовые были поставлены и лошади осёдланы, он лёг в по-

стель и целую ночь не смыкал глаз, мечтая о браке своём с царевною Екатериною. Будет, думал он, сожалеть, недостойная сестра её, надменная Софья, что отвергла предложение отца моего. Родственный союз с князьями Хованскими, происходящими от короля Ягеллы, показался ей унижительным! Пусть же погибает она, пусть погибают все её родственники, кроме моей невесты! По смерти отца я взойду с нею на престол московский. Я докажу свету, что Хованские рождены царствовать: завоюю Литву, отниму у турок Грецию и заставлю трепетать русского оружия всех государей земли; подданные будут обожать меня; я восстановлю правосудие, прекращу все церковные расколы. Не буду слушаться, подобно отцу моему, какого-нибудь расстриженного попа, воля моя для всех будет законом.

Утренняя заря появилась уже на востоке, когда заснул преступный мечтатель.

VII

*Исчезли замыслы, надежды.
Сомкнулись алчны к трону вежды.
Державин.*

Второго сентября на рассвете преданный Софии стрелецкий полковник Акинфий Данилов пробрался окольною дорогою к селу Коломенскому. Он выехал из Москвы ночью для донесения царевны о всём, что произошло в столице в день нового года. Окна коломенского дворца, отражавшие лучи восходящего солнца, казались издали рядом горящих свеч. Данилов заметил, что вдруг блеск среднего окна исчез, и заключил, что его кто-нибудь отворил. «Неужели царевна уже встала?» — подумал он. Подъехав на близкое расстояние к дворцу, он увидел у окна Софию.

Привязав лошадь к дереву, которое росло неподалёку от дворца, Данилов подошёл к воротам. Прибитая к ним какая-то бумага бросилась ему в глаза. Он снял её с гвоздя и увидел, что это было письмо с надписью: *«Вручить государыне царевне Софии Алексеевны»*. Немедленно был он впущен в комнату царевны. Она стояла у окна. Мирославский сидел у стола и писал.

— Что скажешь, Данилов? Что наделалось

в Москве?— спросила царевна, стараясь казаться равнодушною.

— Вчерашний день прошёл благополучно, государыня. Только во время молебствия раскольники из стрельцов говорили *непригожие слова*.

— Был Хованский на молебствии?

— Он послал вместо себя окольникового Хлопова, а сам пробыл весь день дома.

— Слышишь, Иван Михайлович? Он явно ослушается моих повелений. Теперь я согласна поступить, как ты сегодня мне советовал... Что это за письмо? От кого?

— Не знаю, государыня, — отвечал Данилов. — Оно было прибито к воротам здешнего дворца.

София, распечатав письмо, прочитала с приметным волнением:

«Царём Государем и Великим Князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу вся Великая и Малыя и Белья России Самодержцем извещают московский стрелец, да два человека посадских на воров, на изменников, на боярина князь Ивана Хованского да на сына его князь

Андрея. На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом девяти человек пехотного чина да пяти человек посадских и говорили, чтобы помогали им достигнути царства Московского и чтобы мы научали свою братью Ваш царский корень извести и чтоб придти большим собранием изневести в город и называть Вас Государей еретическими детьми и убить Вас Государей обоих и Царицу Наталью Кирилловну, и Царевну Софию Алексеевну, и Патриарха, и властей; а на одной бы Царевне князь Андрею жениться, а достальных бы Царевен постречь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить Одоевских троих, Черкасских двоих, Голицыных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметьевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; а как то злое дело учинят, послать смущать во всё Московское государство по городам и по деревням, чтоб в городех посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян поучать, чтоб побили бояр своих и людей боярских; а как государство замутится, и на Московское б царство выбрали царём его, князь Ивана, а Пат-

риарха и властей поставитъ кого изберут народом, которые бы старые книги любили; и целовали нам на том Хованские крест, и мы им в том во всём, что то злое дело делать нам вообще, крест целовали ж; а дали они нам всем по двести рублёв человеку и обещались пред образом, что если они того доступят, пожаловать нас в ближние люди, а стрельцам велел наговаривать: которые будут побиты, и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им стрельцам на все приказы[52]. И мы, три человека, убоясь Бога, не хотя на такое дело дерзнуть, извещаем Вам Государем, чтобы Вы Государи Своё здорвье оберегли. А мы, холопы Ваши, ныне живём, в похоронках; а как Ваше Государств здравие сохранится, и всё Бог утишит, тогда мы Вам Государем объявимся; а имён нам своих написать невозможно, а примет у нас: у одного на правом плече бородавка чёрная, у другого на правой ноге поперёк берца рубец, посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет».

В тот же день весь царский дом поспешно

удалился из села Коломенского в Савин монастырь, и тайно посланы были оттуда по приказанию Софии в разные города царские грамоты, в которых предписывалось стольникам, стряпчим, дворянам, жильцам, детям боярским, копейщиками, рейтарам, солдатам, всяких чинов ратным людям и боярским слугам спешить днём и ночью к государям для защиты их против Хованских, для очищения царствующего града Москвы от воров и изменников и для отмщения невинной крови, стрельцами во время бунта пятнадцатого мая пролитой.

Вскоре после этого царский дом из Савина монастыря переехал в село Воздвиженское. Получаемые из Москвы от Циклера известия то тревожили, то успокаивали Софию. Хованский в течение двух недель оставался в Москве в совершенном бездействии. София приписывала это его нерешительности и придумывала средство силою или хитростию избавиться от человека, столько для неё опасного. Приверженность стрельцов к старому князю всего более препятствовала в этом царевне и устрашала её.

Между тем Хованский начал тем более чувствовать угрызения совести, чем менее представлялось препятствий к исполнению его замысла. С одной стороны, ложно направленное и слепое усердие к вере, увлекавшее его к восстановлению древнего благочестия и к отмщению за смерть Никиты, с другой стороны, ужас, возбуждаемый в нём мыслию о цареубийстве, которое казалось ему необходимым для достижения цели, указанной, по ложному его убеждению, Небом, производили в душе Хованского мучительную борьбу. Нередко со слезами молил он Бога наставить его на Путь правый и ниспослать какое-нибудь знамение для показания воли Его, которой он должен был бы следовать. Однажды на рассвете после продолжительной молитвы старый князь взял Евангелие. На раскрывшейся странице первые слова, попавшиеся ему на глаза, были следующие: «Воздадите кесарева кесареви, и Божия Богови».

Эти слова Спасителя произвели непостижимое действие на князя. Он вдруг увидел бездну, на краю которой стоял до сих пор с закрытыми глазами. Грех цареубийства пред-

ставился ему во всём своём ужасе. Совесть, этот голос Неба, этот нелицемерный судья дел и помыслов наших, иногда заглушаемый на время неистовым криком страстей, совесть громко заговорила в душе Хованского. Слезы раскаяния оросили его бледные щеки. Он упал пред образом своего ангела и долго молился, не смея поднять на него глаз. Ему казалось, что ангел его смотрит на него с небесным участием, сожалением и укоризною во взорах. В тот же день вечером Хованский с сыном, Циклером и Одинцовым тихонько уехал в село Пушкино, принадлежавшее патриарху. Он твёрдо решился оставить все свои преступные замыслы, служить царям до могилы с непоколебимою верностию и усердием нелицемерным и просьбами своими со временем склонить царей к восстановлению церкви, которую считал истинною.

Узнавши, что сын малороссийского гетмана едет к Москве, Хованский через Чермного, оставшегося в столице, послал донесение к государям и в выражениях, которые показывали искреннюю его преданность им, испрашивал наставления: как принять гетманского

сына? Шестнадцатого сентября Чермной, знавший один место убежища князя, привёз к нему присланную в Москву царскую грамоту, в которой содержались похвала его верной и усердной службе и приглашение приехать в Воздвиженское для словесного объяснения по его донесению.

Одинцов и молодой Хованский, зная что в Воздвиженском всё делается не иначе, как по советам Милославского, предостерегали старого князя от сетей этого личного врага его и не советовали ему ехать в Воздвиженское. Оба они тайно осуждали его за нерешительность и трусость, считая их причиною неисполнения его прежних намерений. Как удивились они, когда услышали от старика Хованского, что он оставил все свои замыслы и решился до гроба служить царям как верный подданный.

Молодой Хованский, глубоко огорчённый разрушением всех своих мечтаний властолюбия и потерю надежды вступить в брак с царевною Екатериною, немедленно уехал из села Пушкино в принадлежавшую ему подмосковную вотчину на реке Клязьме.

Циклер проводил его туда, дал ему совет не предаваться отчаянию и поскакал прямо в село Воздвиженское.

В селе Пушкино остался со стариком Хованским Одинцов. Он истощил всё своё красноречие, чтобы возбудить в князе охладевшую,— как говорил он, ревность к древнему благочестию, представлял ему невозможность примириться с Софиею и с любимцем её Милославским и угрожал ему неизбежною гибелью. Хованский показал ему царскую грамоту, в которой с лаской звали его в Воздвиженское, и сказал:

— Завтра день ангела царевны Софьи Алексеевны: завтра поеду я в Воздвиженское и раскаюсь пред нею: в моих преступных, вероятно, ей уже известных, замыслах. Она, верно, меня простит, и я до конца жизни моей буду служить ей верой и правдой. Это не мешает мне подвизаться за церковь истинную. По словам Спасителя, буду я воздавать кесарева кесареви, и Божия Богу. Сердце царёво в руке Божией! Может быть, я доживу ещё до того радостного дня, когда юный царь Пётр Алексеевич по достижении совершенно-

летия убедится просьбами верного слуги своего и восстановит в русском царстве святую церковь в прежней чистоте её и благолепии.

Одинцов, слушая внимательно князя, закрыл лицо руками и заплакал.

— Губишь ты себя, Иван Андреевич, и всех нас вместе с собою! Охладело в тебе усердие к вере старой и истинной! Смотри, чтобы Бог не наказал тебя и не потребовал на Страшном Суде ответа, что ты не исполнил воли Его и не довершил твоего подвига! Я своей головы не жалел и не жалею и с радостью умру, если Всевышний так судил мне, за древнее благочестие!

Рано утром семнадцатого сентября боярин, князь Иван Михайлович Лыков с несколькими стольниками и стряпчими и с толпою вооружённых служителей их выехал по приказанию Софии из Воздвиженского. Циклер открыл ей, где скрываются Хованские, и получил за это в подарок богатое поместье.

Приблизясь к селу Пушкину, вся толпа остановилась в густой роще. Лыков послал в село одного из служителей разведать, там ли старый князь.

Сняв с себя саблю, посланный при входе в село встретил крестьянина и спросил его:

— Не знаешь ли, дядя, где тут остановился князь Хованский?

Где остановился князь Хованский? А Господь его знает!

— Нельзя ли как-нибудь поразведать?

— Поразведать... а на что тебе?

— Як нему прислан из Москвы с посылкой.

— Из Москвы с посылкой... Нешто. Экое горе! — продолжал крестьянин, почёсывая затылок. — Сказал бы тебе, где остановился князь Хованский, да не знаю, дядя. Поспросай у бабы, вон что корову-то гонит, авось она тебе скажет.

Служитель, приблизясь к указанной крестьянке, повторил свой вопрос.

— Почём нам знать, где Хованский! — отвечала крестьянка. — Ну, ну, пошла, окаянная! — закричала она, ударив свою корову хлыстом. — Что рыло-то приворотила к репейнику! экую нашла невидаль!

— У кого бы мне спросить, тётка?

— А у кого хошь!... Куды тебя черт понёс! — закричала крестьянка, пустясь вдогонку за

побежавшей короной. — Экое зелье какое! словно бешеная кляча скачет!

— Эй, дедушка! — сказал служитель, увидевши старика, который вышел из ворот ближней избы, — где бы мне найти здесь князя Ивана Андреевича?

— Князя Ивана Андреевича?

— Да.

— А что это за князь Иван Андреевич?

— Хованский, начальник Надворной пехоты.

— А что это за Надворна пехота?

— Ну, стрельцы. Слышал, я чай, что-нибудь про стрельцов?

— Как не слышать, вестимо, что слышал!

— Где же Хованский-то?

— А разве ты не знаешь?

— Как бы знал, так и не спрашивал бы.

— Вестимо, что не спрашивал бы! Экое, парень, горе, ведь и я не знаю. Да постой! Спросить было у дочки: она больно охоча калякать со всеми молодыми мужиками и парнями. Пытал я её журить за то. Я чай, она всё знает. — Эй, Малашка! — закричал старик, постучав кулаком в окно.

— Что, батюшка? — отвечала дочь крестьянина, высунув заспанное лицо в окно.

— А вот дядя спрашивает: где князь Хованский?

— Хованский?... Бог его знает. Он с саблей, что ль, ходит?

— С саблей, — отвечал служитель.

— Видела я ономясь, как по грибы в лес ходила, немолодого уж парня с саблей, знаешь, там, под горой, где крестьянские гумна. Никак и шатёр там в лесу стоит.

— Где же это? — спросил служитель.

— А вот ступай прямо-то, большой Троицкой дорогой, да и поверни в сторону, как дойдёшь вон до той избушки, что на сторону-то пошатнулась, а как повернёшь, то и увидишь пригорок, а как пригорок-то увидишь, так и обойди его, да смотри не забреди в болото: и не великонько оно, а по уши увязнешь; а как обойдёшь пригорок, так и увидишь гумна, а за гумнами лес. Тут-то шатёр и есть.

Обрадованный этим сведением, служитель поспешил сообщить своё открытие, князю Лыкову. Немедленно со всею толпою князь выехал из роци и вскоре, миновав указан-

ный приговор, увидел в лесу шатёр, который белелся между деревьями.

В шатре сидел старик Хованский с Одинцовым. Оба вздрогнули, услышав конский топот. Одинцов, вынув саблю, вышел из шатра.

— Ловите! хватайте изменников! — кричал Лыков.

Толпа служителей бросилась на Одинцова и, несмотря на отчаянное его сопротивление, скоро его обезоружила.

Хованский сам отдался им в руки. Его и Одинцова связали и, посадив во взятую из села крестьянскую телегу, повезли.

Когда они доехали до подмосковной вотчины, которая принадлежала молодому Хованскому, то Лыков повелел немедленно окружить дом владельца.

Вдруг из одного окна раздался ружейный выстрел, и один из служителей, смертельно раненный, упал с лошади. В то же время в других окнах появились вооружённые ружьями холопы князя.

— Ломай дверь! в дом! — кричал Лыков.

Раздалось ещё несколько выстрелов, но пули ранили только двух лошадей.

Дверь выломали: Сначала служители, а за ними Лыков с стольниками и стряпчими вбежали в дом. Князь Андрей встретил их с саблею в руке.

— Не отдамся живой. Стреляйте! — кричал он своим холопам. Те, видя невозможность защитить своего господина, бросили ружья, побежали и начали прыгать один за другим в окна. Молодого князя обезоружили, связали и, посадив на одну телегу с отцом его и Одинцовым, привезли всех трёх в Воздвиженское.

Ио приказанию Софии все бывшие в этом селе бояре немедленно собрались во дворец. Когда все сели по местам, Милославский вышел из спальни царевны и объявил её повеление: судить привезённых преступников.

Хованских ввели в залу. Думный дьяк Фёдор Шакловитый прочитал сначала письмо, которое снял второго сентября с ворот дворца полковник Данилов, а потом приготовленный уже приговор. В этом приговоре Хованские были обвиняемы: в самоуправстве в раздаче государственных денег без царских указов, в самовольном содержании разных лиц под стражею, в потворстве Надворной пехоте

с отягощением других подданных и монастырей, в ложном объявлении царских указов, в неуважении к дому царскому и презрении ко всем другим боярам, в покровительстве раскольникам и Никите-пустосвяту, в замысле ниспровергнуть православную церковь, в неисполнении царских повелений об отправлении полков в Киев, в село Коломенское и против калмыков и башкирцев, в неповиновении царскому указу присутствовать при торжестве в день нового года, в ложных докладах царевне Софии и, наконец, в умысле истребить царский дом и овладеть Московским государством. В конце приговора было сказано: *«И Великие Государи указали вас, князь Ивана и князь Андрея Хованских, за такие ваши великие вины и за многие воровства и за измену казнить смертию».*

Когда думный дьяк прочитал громким голосом эти последние ужасные слова, то старик Хованский, сплеснув руками и взглянув на небо, глубоко вздохнул, а князь Андрей, содрогнувшись, побледнел, как полотно.

— Нас без допроса осуждаете вы на смерть! — сказал старый князь. — Пусть явят-

ся наши тайные обвинители! Последний из подданных вправе этого требовать. Допросите нас в их присутствии, выслушайте наши оправдания — и тогда нас судите!

— Твои обвинители — дела твои! — отвечал Милославский.

— Дела мои? Иван Михайлович! не для меня одного будет Страшный Суд!... Я не пролил столько невинной крови, сколько пролили другие!... Одной милости прошу у вас, бояре: позвольте мне упасть к ногам милосердой государыни царицы Софии Алексеевны и оправдаться пред нею. Успеете ещё казнить меня!

— Что ж? Почему не согласиться на его просьбу? — начали говорить вполголоса некоторые из бояр.

— Хорошо, — сказал Милославский, — и я согласен. Я спрошу государыню царицу, велит ли она предстать изменникам пред её светлые очи?

Милославский встал и пошёл в спальню Софии. Выйдя из залы в другую комнату, он несколько минут постоял за дверью, опять вошёл в залу и объявил, что царица не хочет

слушать никаких оправданий и повелевает немедленно исполнить боярский приговор.

Хованских и Одинцова, который стоял на дворе, окружённый стражею, вывели за дворцовые ворота. Все бояре вышли вслед за ними на площадь.

— Где палач? — спросил Милославский полковника Петрова.

— По твоему приказу искал я во всех окольных местах палача, но нигде не нашёл, — отвечал Петров в смущении.

— Сыщи, где хочешь! — закричал Милославский.

Петров удалился и чрез несколько минут привёл Стремянного полка стрельца, приехавшего вместе с ним из Москвы. Последний нёс секиру.

Два крестьянина по приказанию Петрова принесли толстый отрубок бревна и положили на землю вместо плахи.

— К делу! — сказал стрельцу Милославский.

Служители подвели связанного старика Хованского к стрельцу и поставили его подле бревна на колени.

— Клади же, князь, голову! — сказал стрелец.

Читая вполголоса молитву, Хованский начал тихо склонять голову под секиру. Несколько раз судорожный трепет пробежал по всем его членам, и он, вдруг приподнимаясь, устремлял взоры на небо.

— Делай своё дело? — закричал Милославский стрельцу.

Стрелец, взяв князя за плечи, положил голову его на плаху.

Раздался удар секиры, кровь хлынула, и голова, в которой недавно кипело столько замыслов, обрызганная кровью, упала на землю.

Князь Андрей, ломая руки, подошёл к обезглавленному трупу отца, поцеловал его и лёг на плаху.

Раздался второй удар секиры, и голова юноши, мечтавшего некогда носить венец царский, упала подле головы отца.

— Теперь твоя очередь, — сказал Милославский Одинцову, который стоял, связанный и окружённый служителями, близ боярина.

Одинцов содрогнулся; кровь оледенела в его жилах в прилилась к сердцу.

— Как? — сказал он дрожащим голосом. — Меня ещё не допрашивали и не судили.

— Не твоё дело рассуждать! — закричал Милославский. — Исполни, что приказывают! Эй вы! положите его на плаху.

Служители, схватив Одинцова, потащили его к плахе.

— Бог тебе судья, Софья Алексеевна! — кричал Одинцов. — Так это мне награда за то, что я помог тебе отнять власть у царицы Натальи Кирилловны! Бог тебе судья! Не ты ли обещалась всегда нас жаловать и миловать! Бог тебе судья, Иван Михайлович! Сжальтесь надо мной, бояре: дайте хоть время покаяться и приготовиться по-христиански к смерти; здесь недалеко живёт наш священник.

— Руби! — закричал Милославский, и не стало Одинцова.

Тела Хованских положили в один приготовленный гроб и отвезли в находившееся неподалёку от Воздвиженского Троицкое село, Недельное[53], а труп Одинцова зарыли в ближнем лесу.

На другой день, осьмнадцатого сентября, был отправлен в Москву к патриарху стольник Пётр Зиновьев с объявительною грамотою об измене и казни Хованских. Милославский, между прочим, поручил ему по приказанию царевны Софии освободить всех тех, которые содержались в тюрьме старого князя; но Зиновьева предупредил комнатный стольник царя Петра Алексеевича князь Иван Хованский, другой сын казнённого. Выехав в ночь на осьмнадцатое сентября из Воздвиженского, прискакал он в Москву и объявил стрельцам, что его отец, брат и Одинцов казнены смертью без царского указа и что бояре, находившиеся в Воздвиженском, набрав войско, хотят всех стрельцов, жён и детей их изрубить, а дома их сжечь. Ярость стрельцов достигла высочайшей степени. В полночь раздался звук набата и барабанов. Вся Москва ужаснулась. Стрельцы немедленно бросились к Пушечному двору[54] и его разграбили, Несколько пушек развели по своим полкам, другие поставили в Кремле; ружья, карабины, копья, сабли, порох и пули раздали народу; поставили сильные отряды для стражи в

Кремле, на Красной площади, в Китай-городе, у всех ворот Белого города и во многих местах Земляного, в котором устроили несколько укреплений, загородили улицы насыпями и палисадами. Жён и детей своих совсем имением перевезли они из стрелецких слобод в Белый город. На всех площадях и улицах Москвы во всю ночь раздавались неистовые крики мятежников, ружейные выстрелы, звук барабанов и стук колёс от провозимых телег, пушек и пороховых ящиков. Посреди этого смятения Зиновьев успел въехать в Москву. Приблизясь к Кремлю, увидел он, что ему невозможно туда пробраться для вручения грамоты патриарху, потому что у всех ворот кремлёвских стояли на страже толпы мятежников. Он принуждён был остаться в Китай-городе в ожидании удобного случая проехать в Кремль и решился покуда исполнить другое поручение Милославского, которое состояло в том, чтобы освободить всех содержащихся в тюрьме Хованского.

Зиновьев с помощью встреченного им во дворе холопа, отыскал дворецкого Савельича, который, испугавшись бунта, скрылся в ко-

нюшню, лёг в порожнее стойло и велел завалить себя сеном.

— Эй, дворецкий! где ты тут запрятался?

— А вот он здесь! — сказал холоп, разгребая сено. — Иван Савельич! вот к тебе прислан его милость с приказом от царевны Софьи Алексеевны. Ведь ты у нас набольший в доме-то.

Дворецкий высунул из сена голову, напудренную сенною трухою, и, отирая пот с лица, катившийся градом от страха и удушливой теплоты под сеном, уставил глаза на Зиновьева.

— У тебя ключи от тюрьмы князя Ивана Андреевича? — спросил Зиновьев.

— Ключи?... — Кажись, у меня. Батюшки светы, стреляют! — закричал он, услышавши несколько выстрелов, которые раздались в это время на улице, и снова зарылся в сено.

— Вытащи его оттуда, — сказал Зиновьев холопу. Тот с немалым трудом исполнил приказанное и поставил на ноги Савельича, у которого нижние зубы стучались о верхние, как в самой лихорадке.

— Давай скорее ключи от тюрьмы! — про-

должал Зиновьев. — Царевна Софья Алексеевна приказала выпустить всех тюремных сидельцев.

— Не спросясь князя Ивана Андреевича, я не смею дать ключей твоей милости, — отвечал Савельич дрожащим голосом.

— Ну так сходи на тот свет да спросись. Князю отрубили вчера голову за измену и сыну его также.

— Как! — воскликнул дворецкий, сплеснув руками. Он был самый старинный слуга Хованского и искренно был к нему привязан. Сильная горесть вмиг прогнала его трусость. — Ах мои батюшки! — завопил Савельич, обливаясь слезами, — отец ты мой родной, князь Иван Андреевич! Уж не увижу я на сём свете твоих очей ясных! Некому будет меня уму-разуму поучить. Батюшка ты наш! Отрубили тебе твою головушку! Пропали мы, бедные, осиротели без тебя!

Холоп, глядя на дворецкого, также заплакал.

— Ну полно выть! Давай ключи! — закричал Зиновьев.

— Возьми, пожалуй, — сказал дворецкий,

продолжая плакать и отвязывая ключи от кушака. — Я уж не дворецкий теперь. Ох, горе, горе! Не найти уж нам, Антипка, такого доброго господина! — продолжал он оборотясь к холопу. — Сгибли мы, окаянные![55]. Из дворецких попадусь я в дворники, а тебя, Антипка, заставят каменья ворочать! Натерпимся горя! Не нажить уж нам такого господина! Пропали наши головушки!

Зиновьев, приказав дворецкому выпустить всех содержавшихся в тюрьме князя, велел им всем встать в ряд на дворе. В числе их находился и Бурмистров. С начала июля всякий день ждал он казни, обещанной Хованским, и давно уже потерял надежду на избавление.

Можно легко вообразить, как удивился он, когда было ему объявлено, что смертельный враг его, Милославский, по приказанию царицы Софьи прислал нарочного для его освобождения. Он заключил из этого, что после смерти Никиты и Хованских ни одному человеку в мире не известно, что старый князь, нарушив повеление Софьи, сохранил ему жизнь и в тайне берег её, чтобы лишить его

жизни тогда, когда восторжествует древнее благочестие. Бурмистров не знал, что ещё Одинцову известна была тайна его сохранения, равно не знал и того, что Одинцов унёс с собою эту тайну в могилу, потому что Зиновьев объявил только о казни одних Хованских.

В искренней жаркой молитве вознеся благодарность Богу за своё неожиданное освобождение, Бурмистров поспешил прямо в дом к приятелю своему, купцу Лаптеву.

VIII

*Добро лишь для добра творить.
Державин.*

— **М**олись, Варвара Ивановна, молись, не отставай, — говорил Лаптев жене, своей, которая при своей дородности давно уже устала вместе с ним класть перед иконами земные поклоны. — Писание велит непрестанно молиться!

— Я чаю, скоро светать начнёт, Андрей Матвеич! Не время ли уж и обед готовить!

— До обеда ли теперь! По всему видно, что настали последние времена. Что это? Ну, пропали мы! Кажется, кто-то стучит в калитку. Да, чу! где-то из пушек палят! А колокола-то, колокола-то как воют!

— Господи, Боже мой! помилуй нас, грешных! — прошептала с глубоким вздохом Лаптева.

Муж и жена начали ещё усерднее кланяться в землю.

Вдруг отворилась дверь, и вошёл Бурмистров. От долгого пребывания в тюрьме, худой пищи и продолжительных душевных страданий он так похудел и сделался бледен, что не только ночью в горнице, освещённой одной лампадою, но и днём можно было его счесть за мертвеца.

— С нами крестная сила! — воскликнул Лаптев, повалясь на пол и закрыв лицо руками. — Ну, прощай Варвара Ивановна! Преставление света! Мёртвые встают из гробов!

Лаптева, оглянувшись на вошедшего в горницу и рассмотрев лицо его, закричала, что было силы, и полезла под кровать.

— Что вы, что вы так перепугались! — ска-

зал Василий. — Я такой же живой человек, как и вы. Встань— ка, Андрей Матвеевич, да поздоровайся со мною, мы уж с тобой давно не видались.

С этими словами поднял он своего приятеля с пола.

Лаптев, несколько времени посмотрев пристально в лицо Бурмистрову и уверясь, что перед ним стоит не мертвец, а старинный друг его, заплакал от радости и бросился его обнимать.

— Жена! — кричал он. — Вылезай скорее!... Господи, Боже мой! не ждал я такой радости!... Варвара Ивановна! вылезай!... Да как это Бог тебя сохранил, Василий Петрович? Я уж давно по тебе панихиду отслужил... Варвара Ивановна! Да что ж ты не вылезаеть!

Лаптева, лёжа под кроватью, от сильного испуга расслышала только то, что муж её кличет.

— Прощай, Андрей Матвеевич, прощай голубчик мой! Пусть уж он тебя одного тащит, а я не вылезу! Приведи меня Господь на том свете с тобой увидеться!

— Авось и на этом ещё увидимся! — сказал

Лаптев, подходя к кровати. — Помоги мне, Василий Петрович, её вытащить. Она так тебя перепугалась, что её теперь оттуда калачом не выманишь. Да помоги, Василий Петрович! Видишь, как упирается! Мне одному с нею не сладить!

Бурмистров, едва удерживаясь от смеха, подошёл к Лаптеву, который с величайшим усилием успел уже вытащить сожительницу свою из-под кровати. Василий начал помогать ему, чтобы поднять её с пола.

Варвара Ивановна в ужасе зажмурила глаза, махала руками и в полной уверенности, что её тащит мертвец в преисподнюю, кричала жалобным голосом:

— Охти, мои батюшки! помилуй меня, отец родной! отпусти душу на покаяние! Отслужу по тебе сорок панихид; колокол велю вылить, чтобы тебя из аду выблаговестил! Уф! какие холодные руки!

Между тем вошёл в горницу Андрей, брат Натальи, и в изумлении остановился у двери. Лаптев и Бурмистров, хлопотавшие около Варвары Ивановны, вовсе его не заметили.

«Что бы это значило? — подумал он. — Ка-

ким образом очутился здесь Василий Петрович, которому давно голову отрубили и которого я давно оплакал? Если он не мертвец, то отчего Варвара Ивановна в таком ужасе, и для чего и куда он её ночью тащит? Если же он мертвец, то почему Андрей Матвеевич так равнодушен в его присутствии и почему он с таким усердием помогает ему тащить жену свою?». Вспомнив, что Плиний повествует о явлении мертвеца в одном римском доме, он разрешил своё недоумение тем, что Бурмистров после казни был брошен где-нибудь в лесу, и что он явился Лаптеву как Патрокл другу своему, Ахиллесу, требуя погребения. При этой мысли Андрей почувствовал пробежавший от ужаса по всему телу озноб, перекрестился и хотел бежать вон из горницы. На беду его он при входе в светлицу Варвары Ивановны плотно затворил за собою дверь, не зная, что замок этой двери испорчен и что её нельзя отворить, если она захлопнется. Схватив за ручку замка, начал он её проворно вертеть то в ту, то в другую сторону; с каждым безуспешным поворотом ручки ужас его возрастал и достиг высшей степени, когда

Бурмистров и Лаптев положили на кровать обеспамятевшую от страха Варвару Ивановну, и когда Василий, увидев Андрея, пошёл к нему с распростёртыми объятиями.

— Чур меня! чур меня! — закричал Андрей во всё горло, бросаясь опрометью от двери. В испуге перескочил он через Варвару Ивановну, лежавшую на краю постели, приподнял другой край перины, касавшийся стены, и под неё спрятался.

Бурмистров не мог удержаться от смеха; Лаптев также захохотал, схватясь обеими руками за бока.

— Ах ты, Господи! и смех и горе! — проговорил он прерывающимся от хохота голосом. — Добро моя жена, а то и Андрей Петрович подумал, что ты мертвец. Этак он от тебя бросился, словно мышь от кошки! Ох, батюшки мои! бока ломит от смеху!

— Неужто ты думаешь, Андрей Матвеевич, что я в самом деле испугался? Хе! хе! хе! Я не так суеверен, как ты думаешь, — оказал Андрей, приподняв перину и высунув улыбающееся лицо, на котором не изгладились ещё признаки недавнего ужаса. — Мне вздума-

лось пошутить и насмешить вас. Не правда ли, что я очень удачно притворился и весьма естественно представил испуг и ужас?

— Кто это тут говорит? — спросила слабым голосом Лаптева, которая пришла между тем в память и ободрилась, видя, что и муж и Бурмистров хохочут.

— Это я, Варвара Ивановна! — отвечал Андрей, вылезая из-под перины.

— Господи, твоя воля! да откуда ты это взялся, Андрей Петрович, вместе со мной на постели? — сказала удивлённая Лаптева, оглянувшись на Андрея.

— В самом деле это забавно! Хе, хе, хе! Я пошутил, Варвара Ивановна! — отвечал последний, перешагнув через неё и спрыгнув на пол.

— Осрамил ты мою головушку! — сказала Лаптева, слезая с постели.

По просьбе Андрея, Лаптева и жены его Бурмистров объяснил, отчего прошёл по Москве общий слух об его казни, и каким образом избежал он смерти.

Несколько отдалённых пушечных и ружейных выстрелов обратили разговор к ужас-

ному мятежу, который в Москве так неожиданно вспыхнул.

— Что-то будет с нами? — сказал со вздохом Лаптев.

— Признаться, — сказал Андрей, — эта ночь долго не выйдет у меня из памяти. Вчера, утомясь дневными трудами, лёг я спокойно в постель. В самую полночь слышу набат, стрельбу на улице из ружей, крик, стукотню и Бог знает что!... Я вскочил с постели и оделся; все мои товарищи также. Мы все словно обезумели. Бегаем из комнаты в комнату и спрашиваем друг у друга: что такое наделалось? Вдруг вбегает к нам подполковник Чермной с саблей в руке, а за ним толпа стрельцов. Выгнали всех нас на улицу и начали раздавать нам оружие: кому саблю, кому пикю, кому секиру. Сев на лошадь, Чермной закричал: «Ступайте все за мной на Красную площадь». Пришли мы туда: Господи, Боже мой! Площадь зачерпнулась народом. Шум, крик, беготня, сумятица! У меня голова закружилась. Тут мужик с ружьём, здесь посадский с пикой, там купец с саблей. Чермной подвёл меня к толпе мужиков и сказал им: «Вот ваш

пятисотенный! Он человек грамотный, даром, что молод; слушайте его как самого меня; а не то всех велю перестрелять, как галок!» Сказавши это, он ускакал. «Что вы за люди?» — спросил я у мужика, стоявшего близ меня с рогатиной, «Мы ямщики, — отвечал он. — Не знает ли твоя милость, зачем нас сюда пригнали?». Я ему ничего не ответил, потому что сам его хотел о том же спросить. Я постоял, постоял, смотрю: в руке у меня сабля. Народ со всех сторон теснит меня как при выходе из церкви. «Что за ахинея! — подумал я. — Не во сне ли я всё это вижу? Какими судьбами из учеников академии попал я в пятисотенные!». Вспомнив совет Горация: *Nil admirari... et cetera*[56], который переведу вам в другое время, я по кратком размышлении бросил саблю и побежал, Андрей Матвеевич, к тебе, чтобы посоветоваться и узнать, что за чудеса у нас в Москве совершаются? У меня и теперь голова не на месте. Мудрено ли, что после такого переполоха я испугался... то есть чрезвычайно обрадовался, когда неожиданно увидел здесь воскресшего из мёртвых Василия Петровича, и с радости вздумал пошу-

тить. Недавно я с товарищами, в воскресенье под вечер, ходил в лес, что подле Немецкой слободы, и отыскивал твою, Василий Петрович, могилу. Не помню, кто говорил мне, что тебя там будто бы при его глазах похоронили.

— Что ж мы станем делать? — сказал Лаптев. — Не убраться ли нам поскорее из Москвы подобру-поздорову, например, хоть в поместье к твоей тётушке, Василий Петрович?

— Это невозможно, — отвечал Бурмистров, — на всех заставах стоят отряды мятежников. Они никого не выпускают за город и не пропускают в Москву.

— Экое горе какое!

— Позавидуешь, право, матушке и сестре! — сказал Андрей. — Они, я думаю, ничего не знают, что здесь делается.

— Здоровы ли они? — спросил Бурмистров.

— Я уж месяца три не получал от них никакого известия, — отвечал Андрей, — с тех самых пор, как в конце июня приезжал сюда из Ласточкина Гнезда твой слуга Гришка. Он спрашивал меня, что с тобой сделалось после того, как схватили тебя в селе Погорелове. Я сказал ему, что о тебе нет ни слуху, ни духу.

Он заплакал, да с тем и поехал назад.

В это время вбежал в комнату приказчик Лаптева, Иван Кубышкин, и бросился ему в ноги.

— Взгляни-ка, хозяин, как меня нарядили! — воскликнул он сквозь слёзы. — Научи меня, глупого, что мне делать! Бунтовщики всучили мне в руки вот это ружьецо, напялили на меня кожаный кушак с этими окаянными пистолетами, да прицепили эту саблю, и велели, чтобы я с ними заодно бунтовал. Не то, де, голову снесём! Я с самой Красной площади бежал сюда без оглядки.

— Господи, Боже мой! Что ж, гонятся, что ли, они за тобой?

— А мне невдомёк, хозяин. Кажись, что погони нет.

— Слава Богу! — сказал Лаптев. — Сними-ка скорей саблю и кушак-то, да засунь куда-нибудь и с ружьецом вместе; вот хоть сюда, под кровать, да подальше; или нет, постой! брось лучше всю эту дрянь в помойную яму.

— Для чего бросать? — сказал Бурмистров. — Может быть, эта дрянь пригодится. По-

дай всё сюда. Какой славный карабин! Сними-ка саблю. Это кто тебе надел её на правый бок?

— Дали-то мне её бунтовщики, а нацепил-то я сам, — отвечал приказчик, подавая Василью саблю вместе с пистолетами.

— Ого! какая острая! И пистолеты не худы. Жаль, что полк мой далеко от Москвы; с ним бы я что-нибудь да сделал.

Вынув из кожаного пояса две пули и две жестяные трубочки с порохом, заткнутые пыжами, Бурмистров начал заряжать пистолеты. Приказчик, сдав оружие, перекрестился и вышел из комнаты.

Безоблачный восток зарумянился зарею, и вскоре лучи утреннего солнца осыпали золотом струи смиренной Яузы.

Вдруг под окнами дома Лаптева послышался шум. Бурмистров, взглянув в окно, увидел, что несколько солдат тащат мимо дома связанного офицера. Схватив саблю и пистолеты и надев на себя кожаный пояс с зарядами, Василий выбежал из комнаты.

Нагнав солдат, закричал он им:

— Стой! Куда вы его тащите, бездельники?

— А тебе что за дело? — отвечал один из солдат.

— Сейчас развяжите офицера!

Солдаты остановились.

— Да что ты нам за указчик? Знать мы тебя не хотим! — бормотали некоторые из них.

— Что? Вы смеете ослушаться! Вас всех расстреляют!

— Не расстреляют! — сказал один из солдат. — Что вы рты-то разинули, да слушаете этого выскочки! Потащим нашего-то гуся, куда надобно!

— Так умри же, бездельник! — воскликнул Бурмистров и выстрелил в бунтовщика из пистолета. Солдат, раненный в плечо навывлет, упал.

— Хватайте, вяжите его! — закричал он толпе мужиков, собравшейся около солдат из любопытства.

Охота с кем бы то ни было подраться за правое дело, презрение к опасностям и желание блеснуть удалством составляли и составляют отличительные, врождённые черты русского характера. Мужики по первому слову Бурмистрова, вооружась одними кулака-

ми, бросились на бунтовщиков, вмиг их обезоружили и перевязали.

Офицера, отнятого у солдат, Бурмистров пригласил войти в дом Лаптева, а связанных солдат велел ввести к нему на двор и запереть в сарай.

— Кому обязан я моим избавлением? — спросил офицер, войдя за Васильем в светлицу Лаптевой и поклонясь хозяину, хозяйке и Андрею. — Кого должен благодарить я за спасение моей жизни?

— Без помощи этих добрых посадских я бы ничего не успел сделать, — отвечал Бурмистров. — Меня благодарить не за что.

— Как не за что? Как бы не ты, так капитана Лыкова поминай как звали! Бездельники тащили меня на Красную площадь и хотели там расстрелять.

— Капитан Лыков?... Боже мой! Да мы, кажется, с тобой знакомы. Помнишь, в доме полковника Кравгофа...

— То-то я смотрю: лицо твоё с первого взгляда показалось, мне знакомо. Да отчего ты так похудел и побледнел? Как бишь зовут тебя? Ты ведь пятисотенный?

— Был пятисотенным. После бунта пятнадцатого мая вышел я в отставку. Ну, что поделявает Кравгоф? Где он теперь?

— Он через неделю после бунта уехал со стыда в свою Данию. Полуполковник наш, Биевке, умер — вечная ему память! — и майор Рейт начал править полком. Недели на две уехал он в отпуск и сдал мне свою должность, а без него, как нарочно, и стряслась беда. Сегодня в полночь услышал я, что в Москве бунт. «Ах, ты дьявол! — подумал я, — да будет ли конец этим проклятым бунтам!». Как раз собрал я весь наш полк, и хотел из нашей слободы нагрянуть на бунтовщиков, этих окаянных стрельцов... виноват! Из ума вон, что ты сам служил в стрелецких полках.

— Да не угодно ли сесть, господин капитан? Я чаю, твоя милость устала! — сказал Лаптев, поклонясь Лыкову и придвигая для него к столу скамейку.

— Как не устать! Я-таки поработал сегодня: пятерых бездельников своими руками заколол за упрямство.

— Не пойдём! — кричат — да и только. Меня горе взяло. Ах, вы, мошенники! Я вам дам

знать не пойдём! Весь наш полк довёл уж я из Бутырской слободы до Земляного города. «Ребята! — закричал я. — От меня не отставай! Катай бунтовщиков, чтобы небу было жарко!». Первая рота, нечего сказать, отличилась, молодцы! настоящие русские солдаты: так на вал за мной и лезут. Стрельцы начали было отстреливаться. «Погодите, дружки!... Дуй их прикладами!» — закричал я. Струсила хваленая Надворная пехота. Бунтовать — её дело, а драться — так нет! Побежали, мошенники, врассыпную. Я с вала кричу прочим ротам: «За мной!». А они, подлецы, ни с места! «Провалитесь же вы сквозь землю, поганые трусы! — крикнул я. — Я и с одной храброй ротой раскатаю бунтовщиков. Вперёд, ребята! Дадим себя знать этой Надворной пехоте». Спустились мы с вала, да стали подбивать приятелей в затылок свинцовым горохом. Бегут себе, не оглядываясь, ну так, что смотреть жалко! «Вперёд!» — кричу я своим молодцам, да грехом и насунулся на пушки. Тьфу ты, пропасть! Черт же знал, что у вас, мошенников, и эти чугунные дуры есть. Вижу я, что дело неладно, да уж коли на то пошло: «Бери пуш-

ки! — закричал я солдатам. — За мной!». Бросились мы вперёд, а нас вдруг как вспрыснут картечью! Нечего сказать: умеючи выстрелили — легло и наших довольно! Вижу я, что делать нечего и что у нас храбрости много, да людей мало, и велел я своим отступать, а чугунные дуры, разозлились, так на нас и лают да ухают одна за другой! Вышли мы из Земляного города. Я прямо к прочим ротам, и начал их ругать на чём свет стоит; а меня, подлецы, схватили, руки назад, затащили верёвкой, да и потащили к этому сатане, Чермному, на Красную площадь. Они хотели, спросясь его, меня расстрелять. Тьфу, какая досада! Я бы согласился лучше удавиться! Ведь полк-то наш, кроме первой роты, опять себя опозорил и пристал к этим окаянными бунтовщикам. Срам, да и только! Право, пришлось удавиться с досады!

Лыков от сильного негодования вскочил со скамьи, начал ходить большими шагами взад и вперёд по комнате, и слёзы навернулись у него на глазах.

— А знаешь ли, что поганые бунтовщики было затеяли? — продолжал он, обратясь к

Бурмистрову. — Поймали они стольника Зиновьева, который прислан был из Воздвиженского с царскою грамотой к патриарху, привели его к святейшему отцу и велели грамоту читать вслух. Как услышали они, что Хованские казнены за измену — батюшки-светы! — взбесились и заорали в один голос: «Пойдём в Воздвиженское и перережем там всех!». И патриарха то убить грозились. А как услышали, что царский дом со всеми боярами едет в Троицкий монастырь, что там есть войско, крепкие стены, а на стенах-то чугунные дуры, так и храбрость прошла. Как раз хвосты поджали, бездельники, и объявили, что если из монастыря придёт войско к Москве, то они поставят посадских с жёнами и детьми перед собой и из-за них станут драться. Я думаю как-нибудь из Москвы дать тягу в монастырь. Не поедешь ли и ты вместе со мною?

— Душой был бы рад, — отвечал Бурмистров, — да нет возможности отсюда вырваться. Станем здесь что-нибудь делать.

— А что, в самом деле! Двое-то что-нибудь да свахляем.

— Можно подговорить поболее посадских

и других честных граждан. Бунтовщики всем жителям раздали оружие. Нападём на них врасплох, ночью. Жалеть их нечего!

— Ай да пятисотенный! — воскликнул Лыков, вскочив со своего места и бросаясь обнимать Бурмистрова. — Одолжил, знатно выдумал! Поцелуй! поцелуй ещё раз!

Лаптев, тихонько дёрнув Бурмистрова за рукав, повёл его из светлицы, в нижнюю комнату, затворил дверь и сказал ему шёпотом:

— Не во гнев тебе будет сказано, Василий Петрович, мне кажется, что тебе лучше всего спрятаться на несколько дней у меня в доме, а потом при помощи Божьей тихомолком выбраться из Москвы. Если дойдёт до царевны Софьи Алексеевны и Милославского, что ты жив, того и смотри, что тебя схватят, отрубят голову али пошлют туда, куда ворон костей не заносит. Милославский, сам ты знаешь, на тебя пуще сатаны зол и по-своему всеми делами ворочает. Уж он тебя, слышь ты, не помирует да выпытает ещё, где Наталья Петровна? Ты и себя и её погубишь. Милославский ведь не посмотрит на то, что ты бунтовщиков уймёшь. Их — Бог милостлив — и без тебя уй-

мут, а Софье-то Алексеевне вперед наука — прости, Господи, моё согрешение! Её, видимо, Бог наказывает за то, что она обидела царицу Наталью Кирилловну. Как бы не взбунтовала она против неё, нашей матушки, стрельцов, так они и теперь бы против неё самой не бунтовали. Пусть капитан один усмиряет разбойников, а тебе, Василий Петрович, лучше из Москвы подальше убраться. Поезжай с Богом в Ласточкино Гнездо и обрадуй твою невесту. Я чаю, бедненькая, по тебе с утра до вечера плачет. Женился бы и зажил Как в раю! Капитану-то можно поусердствовать для Софьи Алексеевны: она, верно, его наградит; а тебе чего ждать от неё?

— Неужели ты думаешь, — отвечал Бурмистров, — что тогда, только должно действовать, когда можно ожидать награды? Нет, Андрей Матвеевич, ты любишь читать Священное Писание, вспомни-ка, что там сказано. Велено делать добро, не думая о награде; велено полагать душу свою за ближнего. Если мы делаем добро для того только, чтобы заслужить похвалу, награду или славу, то поступаем нечисто. Тогда, только исполняем мы обязан-

ности наши, когда руководствуемся в действиях одною бескорыстною любовью к Богу и ближним. Вот, Андрей Матвеевич, долг всякого христианина. Я прожил уже тридцать лет на свете. Жизнь коротка: не должно терять время на дела нечистые или бесплодные! Кто может назвать будущий день, будущий час — своим? Кто может быть уверен, что он долго ещё не предстанет пред Нелицемерным Судией для отчёта в делах своих?

— Так, Василий Петрович, истинно так! — сказал со вздохом Лаптев. — Однако ж мне, право, жаль тебя! Ты уймёшь бунтовщиков, а тебя положат на плаху или пошлют в ссылку, ты знаешь Милославского-то.

— Знаю, что он злой человек, но уверен в том, что власть, какая бы ни была, лучше безначалия. Например, теперь всякий презренный бездельник, всякий кровожадный злодей может безнаказанно ворваться в дом твой, лишит тебя жизни, разграбит твоё имение, может оскорбить каждого мирного и честного гражданина, обесчестить его жену и дочерей, зарезать невинного младенца на груди матери. Милославский, как ни зол, НО

этого не сделает. Если не любовь к добру, то, по крайней мере, собственная польза и безопасность всегда будут побуждать его к охранению общего спокойствия и порядка, которых ничем нельзя прочнее охранить, как исполнением законов и строгим соблюдением правосудия. Может быть, по страсти или злобе окажет он несправедливость нескольким гражданам, но зато целые тысячи найдут в нём защитника и покровителя. Итак, скажи: не лучше ли безначалия власть, даже несправедливыми путями приобретённая? Справедливо, что Бог не оставляет её долго в руках недостойных. Годунов, при всём своём уме, Лжедмитрий, при всей своей хитрости, вместе с жизнью лишились царских венцов, святотатственно ими похищенных. Прочная, истинная власть даруется Богом помазанникам Его. Не должны ли мы охранять этот священный дар Всевышнего, не жалея последней капли крови? Не должны ли мы считать противниками самого Бога восстающих против власти царской? Какое преступление может быть ужаснее поднятия святотатственной руки и на пролитие крови помазанника Божия?

— Так, Василий Петрович, истинно так, и в Писании сказано: «Несть бо власть, аше не от Бога». Она страшна одним злодеям и мошенникам. Писание говорит: «Хощеши же ли не бояться власти, благое твори», и ещё сказано: «Противляйся власти, Божию повелению противляется». Святой Апостол Пётр поучает: «Братство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите».

— Итак, я надеюсь, что ты не станешь мне советовать, чтобы я оставил своё намерение. Если б даже стрельцы бунтовали против одной Софьи Алексеевны, и тогда бы я стал против них действовать. Но вспомни, что злодеи хотят погубить весь дом царский и царя Петра Алексеевича — надежду отечества. Не клялся ли я защищать его до последней капли крови?

— Эх, Василий Петрович, да мне тебя-то жаль! Подумай о своей головушке; вспомни о своей невесте: ведь злой Милославский, пожалуй, запытает тебя до смерти, чтобы узнать, куда ты скрыл её?

— Ну, что ж? я умру, но Милославский не узнает её убежища.

Лаптев хотел что-то ещё сказать, но не мог ни слова более выговорить, заплакал и крепко обнял Бурмистрова.

— Да благословит тебя Господь! — сказал он наконец, всхлипывая. — Делай, что Бог тебе на сердце положил, а я буду за тебя молиться. Он посильнее и царевны Софьи Алексеевны, и Милославского. Он защитит тебя за твоё доброе дело.

После этого оба пошли в светлицу.

— Ну Что, пятисотенный, когда же приступим к делу? У нас есть ещё помощник!

— Кто? — спросил Бурмистров.

— А вот этот молодец! — отвечал Лыков, взяв за руку Андрея. — У него так руки и зудят на драку с бунтовщиками! Ей-Богу, молодец! Я бы его сегодня же принял в наш полк прапорщиком! Брось-ка, Андрей Петрович, свою академию, возьми вместо пера шпагу, да начни писать вместо чёрных чернил красными.

— Можно владеть и мечом и пером вместе! — отвечал Андрей. — Юлий Цезарь, по другому же произношению Кесарь, был и отличный полководец и отличный писатель.

— Чудная охота марать бумагу! Ну да уж

пусть так! оставайся в академии; только теперь помогай нам.

— Пойдём, капитан, и ты, Андрей Петрович, в нижнюю горницу, — сказал Бурмистров, — надобно нам посоветоваться. Не пойдёшь ли и ты с нами, Андрей Матвеевич? Я думаю, мы наскучили Варваре Ивановне, верно, ей уж давно пора заняться хозяйством.

— Посоветоваться? Ой уж мне эти советы! — воскликнул Лыков. — Кравгоф был смертельный до них охотник и до того досоветовался, что нас чуть было всех не перестреляли, как тетеревей!

— А нам надобно, — сказал Василий, — посоветоваться для того, чтобы перестрелять бунтовщиков, как тетеревей.

— Право? Вот для этого так и я от советов не прочь!

Лыков пошёл с Бурмистровым и Лаптевым в нижнюю горницу. Андрей, восхищаясь, что его пригласили для военного совета, последовал за ними, перебирая в памяти латинских и греческих писателей, которые рассуждали о военном искусстве.

— Да не лучше ли вам здесь посоветовать-

ся? — сказала Варвара Ивановна. — Ведь я никому ничего лишнего не выболтаю.

— Нет, жена! Не мешай дело делать, а лучше приготовь-ка обед. Помнишь сеновал-то?

— Да, я чаю, и ты его не забыл! — отвечала Лаптева.

— Ну, ну, полно! Кто старое помянет, тому глаз вон!

IX

*Грядую тянутся в наш стан;
Главу повинную приносят.
Лобанов.*

Через несколько дней после описанного в предыдущей главе совещания капитан Лыков пришёл утром к Лаптеву.

— Не здесь ли Василий Петрович? — спросил он хозяина, который вышел в сени ему навстречу.

Здесь, господин капитан, в верхней светлице.

— Ну, пятисотенный, — воскликнул Лыков, войдя в светлицу, — все труды наши пропали, всё пропало!

— Как! Что это значит? — спросил Бурми-
стров с беспокойством.

— Да что, братец, досадно! Ведь не удастся
нам с тобою потешиться над проклятыми
бунтовщиками! Дошёл до них слух, что около
Троицкого монастыря собралось сто тысяч
войска. Я слышал от верного человека, что
сто хоть не сто, а тысяч с тридцать. Что же?
Ведь собачьи-то дети не знают, куда деваться
со страха. Бросились к боярину Михаилу Пет-
ровичу Головину, который на днях от госуда-
рей в Москву приехал, и кутка в ноги ему кла-
няться. «Нас-де смутил молодой князь Иван
Иванович Хованский!» — режут, как бабы, и
помилования просят. Уф, как бы я был на ме-
сте боярина, помиловал бы я вас, мошенни-
ков! С первого до последнего велел бы вздёр-
нуть на виселицу!

— Слава тебе, Господи! — воскликнул Лап-
тев, перекрестясь. — Стадо быть, бунтовщики
унимаются?

— Унялись, разбойники! А, право, жаль:
смерть хотелось мне с ними подраться! Вот,
потом они бросились от боярина Головина к
святейшему патриарху, и тому бух в ноги.

Патриарх отправил в Троицкий монастырь архимандрита Чудова монастыря Адриана, а после того ещё Илариона, митрополита суздальского и юрьевского, с грамотами к царям, что бунтовщики-де просят их помиловать и обещаются впредь служить верой и правдой. Софья Алексеевна прислала в ответ на эти грамоты приказ, чтобы до двадцати человек выборных из каждого полка Надворной пехоты пришли в Троицкий монастырь с повинною головою. Собрались все, мошенники, на Красной площади и начали советоваться, идти ли выборным в монастырь? Ни на одном лица нет. Ходят, повеся голову, как шальные. Я хотел было ещё постоять да посмотреть, а как услышал, что затевается у мошенников совет, я и пошёл оттуда без оглядки. Терпеть не могу советов!

— Какие чудеса происходят на Красной площади! — сказал Андрей, войдя в светлицу, — такие чудеса, что и поверить трудно.

— Что, что такое? — спросили все в один голос.

— Сотни две главных бунтовщиков надели на шеи петли и вытянулись в ряд гусем. Пе-

ред каждым из них встали два стрельца с плахой, а сбоку ещё стрелец с секирой. И Чермной надел на себя петлю. Тут подошли к бунтовщикам жены и ребятишки их, чтобы проститься с ними. Какой начался вой да плач! Оглушили, просто оглушили! Ребятишки-то схватились ручонками за ноги отцов, кричат и не пускают их идти. Хоть они и злодеи, но мне, признаюсь, их жалко стало. Все побледнели, как полотно, целуют своих ребятишек, а слёзы у самих так градом и катятся. А жены-то, жены-то их! Я не мог смотреть более на эту раздирающую сердце картину. Прощание Гектора с Андромахой, если б я был свидетелем этой трогательной сцены, едва ли бы произвело на меня такое впечатление. Я сам заплакал, как дурак, и ушёл с площади.

— Есть о чём плакать! Хорошо они сделали, что петли сами на себя надели. Тут же я велел бы всем им шею-то покрепче перетянуть, разбойникам, Ах, да! Хорошо, что вспомнил. Велика, Андрей Матвеевич, моих солдат, что у тебя в сарае сидят, вывести на двор. Я сейчас приду.

— Обедали ль они, Варвара Ивановна? —

спросил Лаптев, обратясь к жене.

— Нет ещё!

— Как, Андрей Матвеевич! Да неужто ты кормишь этих злодеев?

— Не с голоду же их уморить, господин капитан. И Писание велит накормить алчущего.

— Не стоят они этого. Охота же была тебе кормить десятерых мошенников! Ну да уж пусть так. Что съедено, того не воротишь. Вели же, пожалуйста, их вывести. Я тотчас возвращусь.

Лыков поспешно вышел. Через полчаса привёл он на двор Лаптева около тридцати солдат первой роты и поставил их в ряд. Один из них держал пук верёвок. Бурмистров, Лаптев и Андрей вышли на крыльцо, а Варвара Ивановна, отворив из сеней окно, с любопытством смотрела на происходившее.

— Ребята! — закричал Лыков солдатам первой роты. — Вы дрались с бунтовщиками по-молодецки! Я уж благодарил вас и теперь ещё скажу спасибо и, пока у меня язык не отсохнет, всё буду говорить спасибо!

— Рады стараться, господин капитан! — гаркнули в один голос солдаты.

— За Богом молитва, а за царём служба не пропадают. Будь я подлец, если вам чрез три дня не выпрошу царской милости. Всех до одного в капралы, да ещё и деньжонок вам выпрошу, чтобы было чем на радости пирушку задать.

— Много благодарствуем твоей милости, господин капитан!

— А покуда сослужите мне ещё службу! Всем этим подлецам, трусам, бунтовщикам и мошенникам наденьте петли на шеи. Я научу вас не слушаться капитана и таскать его по улицам, словно какую-нибудь куклу! Отведите их всех на Красную площадь. Оттуда идут стрельцы в Троицкий монастырь просить помилования; там с ними разделаются: пойдут с головами, а воротятся без голов! Проводите и этих всех бездельников в монастырь. Надевайте же петли-то!

— Взмилуйся, господин капитан! — заговорили выведенные из сарая солдаты.

— Молчать! — закричал Лыков, взошёл на крыльцо и, вместе с Бурмистровым, Лаптевым и Андреем войдя в нижнюю горницу, сел спокойно за стол, на котором стояли уже пи-

рог и миса со щами.

Прошло несколько дней. Наконец возвратились в Москву все мятежники, которые пошли в Троицкий монастырь с повинною головою. София объявила им, чтобы они немедленно прислали в монастырь князя Ивана Хованского, возвратили на Пушечный двор взятые оттуда пушки и оружие, покорились безусловно её воле и ждали царского указа. Патриарх Иоаким послал между тем к царям сочинённый им *Увет Духовный*, содержащий в себе опровержение челобитной, которую подал Никита с сообщниками, и увещание всем раскольникам, чтобы они обратились к церкви православной. Он получил в ответ царскую грамоту о принятии царями приношения его с благодарностью и о прощении мятежников, если они всё то исполнят, что объявлено было тем из них, которые приходили в Троицкий монастырь. Осьмого октября собрались стрельцы и солдаты Бутырского полка на площади пред Успенским собором. По окончании обедни патриарх прочёл *Увет Духовный* и объявил указ, что цари, по ходатайству его, приемля раскаяние бунтовщиков, их

прощают. Все, бывшие в церкви, после того целовали положенные на налоях Евангелие и руку святого апостола Андрея Первозванного, изображавшую тремя сложенными перстами крестное знамение. Один Титов полк остался непреклонным, не захотел отречься от древнего благочестия и с площади возвратился в слободу.

На другой день, девятого октября, пришли в Крестовую палату выборные из покорившихся стрельцов, со слезами благодарили патриарха за его ходатайство и просили его донести царям, что они вполне чувствуют их милосердие и клянутся служить им верой и правдой. Патриарх немедленно пошёл в Успенский собор. На площади пред церковью стояли ряды стрельцов и Бутырский полк. Раздался звон колоколов, и бесчисленное множество народа собралось во храм.

Отслужив благодарственный молебен, патриарх сказал раскаявшимся мятежникам:

— Люди Божии! Видите сами явленное вам милосердие Творца, иже в руке Своей царские сердца имеет. Творец неба и земли вложи в сердца благочестивых наших царей

помиловать вас и прощение вам даровать. Аз им, государем, о вас во Христе чадах великаго прощения сотворих, да оставят вам долги ваши, и оставиша. Сего ради помните сие и мене, суща яко в поручении по вас, не предадите; оставите всякое зломысльство сердец ваших и поживёте благо лета многа. И не возможете навести на мене и на себе злобного и клятвенного порока.

— Да не будет на нас, — воскликнули тронутые стрельцы, — милость Божия и Пречистая Богородицы, если мы крестное целование и обещание наше нарушим! Да будет на изменниках проклятие Божие!

Патриарх, благословив крестом всех, бывших в соборе, пошёл в сопровождении многочисленного духовенства в Крестовую палату. Народ и стрельцы вышли из церкви на площадь. Радость сияла на всех лицах; все славили милосердие государей, обнимались и поздравляли друг друга.

По просьбе стрельцов название «Надворная пехота» было отнято, столб, в честь них поставленный на Красной площади, был сломан, и находившиеся на них жестяные доски

с похвальной грамотою, и с именами убитых ими пятнадцатого мая мнимых изменников брошены были в огонь.

После того дом царский вознамерился возвратиться в Москву. Прежде въезда в столицу цари остановились в селе Алексеевской. Патриарх с выборными из стрельцов прибыл в село, и последние со слезами просили государей отпустить им вины их, и возвратиться в престольной город. Им подтверждено было прощение, и весь дом царский поехал в Москву. От самого села до столицы стрельцы без оружия стали по обеим сторонам дороги и, при проезде царей падая на землю, громко благодарили их за оказанное им милосердие. Царь Иоанн Алексеевич, бледный и задумчивый, ехал, потупив глаза в землю и, по-видимому, обращал мало внимания на происходившее. Огненные взоры юного Петра, обращаемые на мятежников, выражали попеременно то гнев, то милость, У городских ворот стрельцы поднесли государям хлеб а соль и похвальную грамоту, данную им после бунта пятнадцатого мая, за истребление мнимых изменников, которая по приказанию царей в

то же время была уничтожена.

Ивана Хованского сослали в Сибирь. Чермной по ходатайству Милославского получил прощение. Циклеру пожалована была вотчина в триста дворов, а Петрову в пятьдесят, и всё многочисленное войско, собравшееся к Троицкому монастырю для защиты царей против мятежников, было щедро награждено и распущено. София, повелев разослать всех не покорившихся стрельцов Титова полка по дальним городам, назначила начальником Стрелецкого приказа думного дьяка Фёдора Шакловитого и пожаловала его в окольничие.

Х

*Будь твёрд в злосчастные минуты,
Но счастью тож не доверяй!
Капнист.*

По восстановлении в Москве спокойствия Бурмистров тайно выехал ночью из города. Лаптев, Андрей и капитан Лыков проводили его до заставы. Первый при прощанье обещал неусыпно наблюдать за Варварой Ива-

новной, чтобы она кому-нибудь не проговори-лась о том, что Василий жив.

Начинало светать, когда Бурмистров въехал в село Погорелово. Расплатись с своим извозчиком, он купил в селе лошадь, надел на неё седло и сбрую, взятые им из Москвы, и немедленно поскакал далее. Вскоре увидел он просёлочную дорогу, которая вела в Ласточкино Гнездо. Сердце его забилося сильнее. Нетерпение обрадовать свою невесту заставило его погонять лошадь, которая и без того неслась во весь опор. Но так как во всей вселенной нет ничего быстрее мысли человеческой, которая в один миг может перескочить в Камчатку, из Камчатки на луну, а с луны спрыгнуть в комнату, где читается эта книга, то почтенные читатели на крылатой мысли без труда обгонят нетерпеливого жениха, прежде него придут в Ласточкино Гнездо, и узнают, что там ещё за несколько дней до выезда его из Москвы случилось следующее необыкновенное происшествие.

Крестьянин Мавры Савишны Брусницыной, Иван Сидоров, под вечер пошёл по её поручению в Чёртово раздолье, чтобы настро-

лять дичи. Не смея зайти далеко в бор, бродил он между деревьями шагах в двадцати от озера, на берегу которого стояло Ласточкино. Гнездо. На беду его не попало ему на глаза ни одной птицы до позднего вечера. Заря утасла уже на западе. Бедный охотник того и смотрел, что попадётся ему навстречу леший, ростом с сосну, или пустится за ним в погоню Баба Яга в ступе с пестом в одной руке и с помелом в другой. Наконец, с величайшею радостью заметил Сидоров на берёзе тетерева. «Слава тебе, Господи! — прошептал он. — Застрелю этого глухого черта, да и домой вернусь! Нет, Мавра Савишна, вперёд изволь сама ходить сюда за дичью по вечерам, а уж я не ходильщик — воля твоя!».

Второпях прицелившись в тетерева, Сидоров только что хотел выстрелить, как вдруг услышал позади себя чей-то голос. Руки опустились у него от страха, ноги подкосились, и он, упав на землю, пополз, как лягавая собака, и скрылся под ветвями густого кустарника. Вскоре услышал он, что сухие листья и ветви, покрывавшие землю, хрустят под чьими-то ногами. Шум приближается к нему, и голос,

его испугавший, становится явственнее и громче. Прижавшись к земле от страха и творя молитву, Сидоров слышит следующие слова:

— Сядем здесь, на эту кочку. Не знаю, как ты, а я очень устал.

— И я чуть ноги волочу! — говорит другой голос. — Ведь мы целый день бродили. Ну уж лесок! Нечего сказать. Как бы не солнышко, так мы, верно бы, заблудились. Думали ль мы, когда жили в Москве, что нас Господь приведёт скитаться в этаким омуте. Злодей этот Милославский! Не дрогнула бы у меня рука воткнуть ему эту саблю в горло по самую рукоять: он погубил нас!

Сидоров, ездивший часто по поручениям своей помещицы в село Погорелово за разными покупками, узнавал от тамошних поселян, а иногда от проезжих обо всём, что происходило важного, и примечательного в столице. В последнюю поездку свою услышал он там от одного из знакомцев, что князя Хованские по наговорам Милославского были преданы патриархом анафеме и потом повешены где-то в захолустье на осине. Наслышав-

шись прежде от достоверных старых людей, что в Чёртовом раздолье кроме нечистых духов, ведьм и леших водятся и мертвецы, Сидоров смекнул, что бесы сняли проклятых патриархом Хованских с осины и перенесли в своё гнездо, в Чёртово раздолье. Жалоба на Милославского, произнесённая голосом неизвестного, навела Сидорова на эту мысль. Он оледенел от страха и начал прощаться с белым светом. Долго лежал он ничком на земле, удерживая дыхание и не смея сквозь ветви кустарника взглянуть на мертвецов, которые, сидя на кочке, неподалёку от него, продолжали разговаривать. Наконец, они встали. Сидоров слышит, что она подходят к нему. В ужасе запустил он обе руки в рыхлую и мшистую землю и уцепился за корни кустарника. Если б в это время вздумал кто-нибудь тащить Сидорова, хоть не в преисподнюю, а в его собственную избу, то пришлось бы ему прежде вырвать из земли кустарник — так крепко неустрашимый охотник ухватился за корни. Мертвецы прошли мимо него приблизились к берегу озера и остановились шагах в пятнадцати от Сидорова, обернувшись к нему спи-

ною.

«Знать, они меня не видали! — подумал он. — Кажись, они ушли. Зевать-то нечего! Встать было, да и бежать отсюда без оглядки домой, покамест они не воротились». Он вытащил тихонько руки из земли, взял лежавшее подле него ружьё и, стиснув зубы, которые били тревогу не хуже самого искусного барабанщика» решил посмотреть сквозь ветви кустарника в ту сторону, куда мертвецы удалились.

«Ах вы, дьяволы! — прошептал Сидоров, — да это, кажись, не мертвецы, на них и саванов нет! Чтоб волк вас съел, окаянные побродяги! Натко! шатаются вечером в лесу, калякают, да добрых людей пугают! Я вам за это всажу по пригоршне дрови в затылки, да ещё и пулю в придачу!». Вынув из висевшей у него сбоку сумки пулю, опустил он её в дуло ружья. «Леший вас знал, что вы живые люди! Кажись, что живые!... Так и есть! На обоих сабли, шапки да кафтаны стрелецкие. Никак это стрельцы беглые. Погодите, дружки! Живых — то я и десятерых не испугаюсь!»

Сидоров, всё ещё лёжа под кустарником,

прицеливался в одного из стрельцов, размышляя: «Одного-то я застрелю, а другого пришибу прикладом». Уж он готов был выстрелить, но вдруг опустил ружьё: «Да за что ж я ухожу их? — подумал он. — Ведь они не хотели меня настращать, а я сам, по своей охоте, их испугался. Может быть, они и добрые люди. Дай-ка послушаю, о чём они толкуют».

Положив ружьё на землю, Сидоров решил-ся подслушать разговор стрельцов. Приблизясь к берегу озера, они долго смотрели на Ласточкино Гнездо, и один из них, продолжая говорить, несколько раз указал на дом Мавры Савишны. Потом оба возвратились к той самой кочке, на которой прежде отдыхали, и сели боком к Сидорову в таком от него расстоянии, что он мог рассмотреть их лица и явственно слышать все слова их.

— Нет, Иван Борисович, не ропщи на Милославского! — сказал один из стрельцов. — Я больше потерял, нежели ты. Я был сотником, а ты пятидесятником. У меня был дом в Москве, а ты жил у приятеля. Конечно, мы всего лишились; однако ж я за всё благодарю

Господа! Во всём этом я вижу перст Его, указующий мне путь спасения. Девять лет хранил я тайну, которую тебе теперь открою. Теперь могу я возвестить тебе все, что у меня таилось так долго на сердце. Срок, назначенный преподобным Аввакумом многотерпеливым, настал, и я должен исполнить его повеление. В изгнании нашем из Москвы, в лишении нашем всех суетных благ, земных, в найденном нами во глубине этого леса убежище, в усердии твоём ко мне, в покорности всех бывших в моей сотне стрельцов — во всём я вижу знамение, что наступило время к совершению дела, возложенного на меня свыше. Я не только не ропщу на Милославского, но считаю его моим благодетелем, желаю ему всякого добра и рад всё для него сделать. Теперь всё готово для моего подвига. Священнослужителя только не достаёт нам, но сегодня в полночь пошлёт его нам Господь; в этом я не сомневаюсь.

— В последний раз, — сказал другой стрелец, — как ходил я, переодетый крестьянином, в деревню за съестными припасами, спрашивал я об ней мальчика и узнал, что её

зовут Наталья. Нам легко будет её похитить. В доме помещицы теперь нет ни одного мужчины... Она была помолвлена. Жених её жил несколько Бремни в этой деревне, но с тех пор, как схватили его в селе Погорелове, ни один мужчина к помещице не приезжал. Крестьян у неё также немного, всего человек семь или восемь; что они сделают против десятерых? Я велел всем взять ружья и дожидаться нас у холма, вон там, на берегу этого озера.

— Пойдём в деревню ровно в полночь, а куда отдохнём здесь. В ожидании ночи открою тебе тайну, о которой говорить начал. Ты знаешь, что я учился четыре года в Андреевском монастыре[57]... Прилежанием и добрым поведением заслужил я любовь всех учителей и был одним из лучших учеников, но на двадцатом году случилась со мною странная перемена: я пристрастился к пьянству и был исключён из училища. Все родственники, товарищи и знакомые винили меня; но я вовсе был не виноват. Враг человеческого рода, ходящий по земле и рыгающий, как лев, который ищет добычи, погубил меня. О свят-

как случайно познакомился я с каким-то неизвестным мне человеком. Он выдал себя за новгородского дворянина. Однажды зазвал он меня на Кружечный двор и, несмотря на все мои отговорки, принудил выпить с ним ковш вина. Я заметил, что, принявшись за ковш, он не перекрестился, и, не знаю сам каким образом, принудил и меня выпить оставшееся вино, не дав мне времени сотворить крестное знамение. После этого я с ним никогда не видался, и во мне явилась страсть к вину, которой я не в силах был преодолеть. Иногда предавался я ей в течение целого месяца и более. Я чувствовал, что гублю себя. Все говорили, что я пью запоем, но все очень ошибались. Меня беспрестанно, днём и ночью, смущал и тянул к вину этот новгородской дворянин. Ковш, выпитый мною с ним вместе, не выходил у меня из головы. Я старался думать о чём-нибудь другом, но чем более употреблял усилий, тем сильнее мучила меня неутолимая жажда. Самая молитва мне не помогала. Иногда удавалось мне однако ж с неописанными мучениями превозмочь обольщения лукавого, и я вдруг переста-

вал пить. Тогда совесть моя успокаивалась, на сердце делалось легко и весело, и я возносился духом туда, куда обыкновенные люди, преданные суете мира и работающие греху, не имеют доступа. Сколько видений, самых восхитительных и самых ужасных, являлось тогда предо мной! Сколько открывалось пред глазами моими таинств, ни одному смертному неизвестных. Когда я приходил в это необыкновенное состояние духа, все говорили про меня, что я мешаюсь в рассудке. Я не оскорблялся этим; я чувствовал превосходство своё над обыкновенными людьми, глядел на них с состраданием и из любви к ним желал, чтоб и они могли видеть и постигать то же, что я видел и постигал. Однажды, после победы, одержанной мною над искусителем, вознёсся я духом так высоко, как никогда ещё не возносился, и шёл чрез одно подмосковное село. Вдруг яркое пламя и густой, клубящийся дым поразили глаза мои. Я пошёл вперёд и увидел, что горит сельская церковь. Поселяне старались гасить пожар, но напрасно: огонь обхватил всё здание, крыша и колокольня с треском рухнули. Когда ветер разнёс

густой дым, столбом поднявшийся над горящими развалинами церкви, один пылающий иконостас с затворёнными царскими вратами представился моим глазам. Наконец загорелись царские врата и начали медленно отворяться. Из алтаря блеснуло яркое сияние и осветило дальнюю окрестность. Вдруг заметил я, что за алтарём стоит в белой одежде Аввакум многотерпеливый с пальмовой ветвью и крестом в руке. Выйдя из алтаря, начал он восходить по дыму, который нёсся к небу с развалин церкви. С дыма святой мученик перешёл на белое облако, которое стояло на востоке, и, взглянув на меня, указал в небесной вышине золотую дверь. Я упал на землю и начал молиться. После молитвы увидел я ещё три тысячи мучеников, пострадавших за древнее благочестие. Все они, один за другим, вышли также из пылающего алтаря и по чёрному дыму перешли на белое облако вслед за Аввакумом, и начали все они подниматься к золотой двери, которая сияла ярче звезды. Вскоре потерял я их из виду. Тогда оглянулся я на церковь и что ж увидел? Иконостас с царскими вратами и алтарь превратились

уже в груди горящих углей, с которых нёсся синеватый мрачный дым. Вдруг из этого дыма поднимается... кто бы ты подумал?... новгородский дворянин! Я задрожал. Он указал мне глубокую бездну, на краю которой стоял я, сам того не примечая. На самом дне этой бездны увидел я раскалённую железную дверь. Зелёный пламень, как расплавленная медь, прорывался сквозь щели и замочную скважину двери. Она медленно отворилась, я взглянул в неё — и обмер от ужаса. Я дал обет Аввакуму многотерпеливому никогда и никому не говорить, что я за дверью увидел. Если б я и не дал этого обета, то всё бы не нашёл слов для описания видения, которое мне представилось. Новгородский дворянин захопал в ладоши, начал прыгать и запел песню, от которой у меня волосы на голове поднялись дыбом. Преподобный Аввакум сказал мне, что всякий, кого он особенно не охраняет, погибнет навеки, если хоть одно слово услышит из этой песни. Я решил никогда не повторять её, чтобы не погубить кого-нибудь из ближних. Почему могу я знать, кого многотерпеливый праведник охраняет и кого

нет? И начал новгородский дворянин спускаться в бездну к железной двери, а за ним пошли вслед, появляясь один за другим, из синеватого дыма, антихрист Никон и ещё три тысячи единомышленников его, которые вместе с ним гнали древнее благочестие. Все они были в чёрных саванах. Никон, заменивший жезл учителя Петра чудотворца иудейским жезлом со змеями, с головы до ног был обвит чёрным змеем. Я отворотился от ужасного зрелища. В это самое время кто-то взял меня за руку. Я оглянулся, и невольно благоговейный трепет пробежал по всем моим членам: подле меня стоял Аввакум. «Иди за мною!» — сказал он мне и повёл меня из села на какую-то высокую гору, с которой спустились мы в густой лес. «Видел ли ты видение у горящей церкви?» — спросил он меня, «Видел», — отвечал я. «Девять годов храни в сердце твоём все, что ты видел, — продолжал он, — и все, что я ещё покажу тебе. В нынешнее антихристово время мир утопает в нечестии; нигде нет истинной церкви; всё на земле осквернено и нечисто. Удались в глубину леса, сокройся навеки от мира и восставь ис-

тинную церковь, которую покажу тебе. Для этого подвига должен ты принять крещение водою небесною; ибо на земле нет воды неосквернённой. Все моря, озера, реки и источники заражены прикосновением слуг антихристовых. Сказав это, повёл он меня далее, в самую середину леса и, показав истинную церковь, исчез. Меня нашли в лесу дровосеки чуть живого, принесли домой, и я долго был болен горячкою. По выздоровлении страсть к пьянству во мне совершенно исчезла. Девять лет хранил я молчание о моём видении, терпел часто голод и холод и, наконец, по убеждению дяди вступил в стрельцы. В конце прошедшего августа минуло девять лет с тех пор, как я сподобился беседовать с преподобным Аввакумом. Памятуя слово его, удалился я однажды в лес, наломал ветвей, скрепил их тонкими прутьями, древесною смолою и глиною, и устроил купель. В то время шёл дождь несколько дней сряду. Когда купель наполнилась до половины небесною водою, я погрузился в неё и принял крещение, мне заповеданное. Возвратясь в Москву, начал я помышлять о воздвижении истинной

церкви. Ты знаешь, что потом случилось с нашим полком. Я с радостью услышал весть о нашем изгнании из Москвы, с радостью вышел из этого Содома. Здесь, в этом лесу, скроемся навсегда от служителей антихриста и от всего нечестивого мира, воздвигнем в тайне истинную церковь и достигнем золотой небесной двери.

Вечерняя заря угасла. Стрельцы встали и пошли по берегу озера к холму, у которого их ожидали десятеро сообщников. Сидоров, выслушав весь разговор, вылез из-под куста и побежал без оглядки в дом своей помещицы.

— Ну что, принёс ли дичи? — спросила его Мавра Савишна, которую он вызвал в сени.

— Какая дичь, матушка! Я насилу ноги уплёл, чуть не умер со страху.

— Ах ты, мошенник! Дуру, что ли, ты нашёл; не обманешь меня, плут! Видно, ты и в лес-то не ходил, а весь вечер пролежал на полатях.

— Нет, Мавра Савишна, не грехи! Я пролежал не на полатях, а под кустом.

— Что? под кустом? Да ты никак потешаешься надо мной, или с ума спятил! Завтра

нечего будет на обед подать! Я тебя научу надо мной потешаться! Видно, борода-то у тебя густа! Смотри, разбойник, вцеплюсь!

— Воля твоя, Мавра Савишна! Изволь над моей бородой тешиться, сколько душе угодно, а только уж я в другой раз за дичью под вечер не пойду. Уж лучше утопиться!

— Не белены ли ты объелся? Что на тебя за дурь нашла, мошенник!

— Поневоле найдёт дурь, коли душа со страху в пятки ушла! Изволь-ка, Мавра Савишна, выслушать меня, так и гневаться перестанешь.

— Ну что, что такое? говори, плут, скорее.

— А вот изволишь видеть. Бродил я долго по лесу, нет ни одной птицы, хоть ты плачь! Напоследки вижу я: сидит на дереве глухой тетерев. Я как раз прицелился да и услышал голос. Я и смекнул, что дело неладно, и нырнул под куст; и увидел я двух человек. Хованские ль они, стрельцы или, али лешие какие — лукавый их знает! Сели они неподалёку от меня и понесли такую околёсную, что я ни словечка не понял. Болтали они что-то про пожар, про золотую дверь, да ещё

про железную, про антихриста, про какого-то дворянина, про Милославского, и про всякую всячину! Один, который постарше и с бородавкой на щеке, указывал, кажись, на твой дом и болтал, что он прежде пил запоем и что надо сегодня ночью, никак, утащить Наталью Петровну.

— Утащить Наталью Петровну! Да что ты, мошенник, в самом деле меня пугаешь! Ведь как начну со щеки на щёку, так дурь-то и выбью.

— Бей, матушка, Мавра Савишна! Дело наше крестьянское; за всяким тычком не угоняешься; только уж будут к тебе сегодня ночью гости.

Испуганная Семирамида, приказав Сидорову собрать к ней на двор всех крестьян её с их семействами, побежала в верхнюю светлицу, чтобы сообщить ужасную весть старухе Смирновой и Наталье. Работница Акулина, мимоходом услышав кое-что из разговора Мавры Савишны с Сидоровым, выбежала за ворота и, остановив проходившую мимо дома куму свою, сказала ей несколько слов на ухо. Кума пошла далее и поговорила что-то с другой

крестьянкой. Вмиг по всему Ласточкиному Гнезду распространилась молва, что Сидоров в Чёртовом раздолье встретил лешего и прибежал оттуда без памяти. Другие же, менее суеверные, говорили, что он вовсе лешего не видал и утверждали, напротив, что из леса выехала в ступе Баба Яга, пустила в Сидорова пестом, чуть-чуть не попала ему в затылок и до самой деревни гналась за ним, без отдыха колотя его в спину помелом.

Вскоре все жители Ласточкина Гнезда собрались на дворе помещицы. Мавра Савишна, посоветовавшись со старухой Смирновой и Натальею, осталась при том мнении, что какая-нибудь шайка воров собирается ограбить её дом, который стоил ей столько трудов и издержек. Она решила защищаться до последней крайности, приказала Сидорову зарядить ружьё целою пригоршнею дроби, всем же другим крестьянам, жёнам их, сыновьям и дочерям велела вооружиться топорами, косами, вилами и граблями. Давно известно, что отчаяние может придать и трусливому человеку необыкновенную храбрость. Это случилось и с Маврой Савишной. Принудив старуху Смир-

нову и Наталью из верхней светлицы переместиться на ночь в баню и уверив их, что опасаться нечего, Семирамида с косою в руке и в мужском тулупе, надетом сверх сарафана, вышла к своему войску.

— Смотрите, вы, олухи! — закричала она, — не зевать! Только лишь воры нос вынесут, колоти их, окаянных, чем попало!

— Слушаем, матушка, Мавра Савишна! — закричало войско на разные голоса, в числе которых были женские и детские. Прошёл целый час. Войско Семирамиды всё ещё стояло в боевом порядке. Предводительница для возбуждения своей храбрости удалилась на минуту в чулан и подкрепила себя стаканом настойки; потом, явясь опять перед войском, подняла она косу на плечо, подбоченилась и начала бодро расхаживать взад и вперёд по двору. Наконец, настала полночь. Большая часть войска, к несчастью, убеждена была, что должно отразить нападение не воров, а Бабы Яги, и совершенно потеряла уверенность в победе, а без этой уверенности в войске ничего бы не успел сделать и сам Наполеон, если б судьба поставила его в трудное по-

ложение Мавры Савишны.

Вскоре после полуночи вдруг раздался у ворот стук. Войско Семирамиды вмиг рассыпалось в разные стороны, как груда сухих листьев от набежавшего вихря. Сама предводительница, кинув оружие на землю, опротя бросилась в курятник, захлопнула за собою дверь и всполошила спавших его обитателей. Петухи и курицы подняли страшный крик и начали бегать и летать из угла в угол как угорелые. Один Сидоров доказал свою неустрашимость. Он подошёл к самым воротам, прицелился, выстрелил, вlepил всю дробь в ворота и последний убежал с поля сражения. Семирамида, услышав выстрелы, упала навзничь и простилась со светом, почувствовав, что её колют пикою в горло. И никто бы на её месте не мог в темноте рассмотреть, что уколол её когтями петух, соскакнувший с насеста к ней на шею. До сих пор историки не разрешили, кто кого более тогда перепугал: петух ли Семирамиду, или Семирамида петуха?

История также не объясняет, долго ли пробыла владетельница Ласточкина Гнезда в ку-

рятнике. Известно только то, что она, на рассвете войдя в баню, нашла там одну старуху Смирнову, которая горько плакала. От неё узнала она, что два человека, вооружённые саблями, вырвали из рук её Наталью и, несмотря на крик и сопротивление бедной девушки, унесли её за ворота.

Нужно ли говорить, что почувствовал Бурмистров, когда приехал в Ласточкино Гнездо и узнал о похищении Натальи? Напрасно расспрашивал он бестолкового Сидорова о разговоре, им подслушанном, и о приметах похитителей его невесты, напрасно искал он её по всем окрестным местам. Услышав от Сидорова, что похитители упоминали в разговоре не один раз имя Милославского, Василий уверился, что его Наталья попала в руки сладострастного злодея и что он разлучён с нею навсегда. В состоянии, близком к отчаянию, простясь с её матерью и с своею тёткою, сел он на коня и поскакал по первой попавшейся ему на глаза дороге. Мавра Савишна стояла на берегу озера и, обливаясь слезами, смотрела ему вслед. Долго ещё в отдалении топот копыт раздавался. Наконец всё утихло, и Мавра

Савишна тихонько побрела к своему дому, чтобы утешить вдову Смирнову, которую Бурмистров поручил её попечению.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

I

*Бежишь от совести напрасно:
Тиран твой — сердца в глубине;
Она с тобою повсечасно;
Летит на корабле и скачет на коне.
Дмитриев.*

Прекрасный майский день вечерел. Заходящее солнце золотило верхи отдалённых холмов. Поселянки гнали с полей стада свои и при звуке рожка, на котором наигрывал песню молодой пастух, дружно и весело пели: «Ты поди, моя коровушка, домой!».

На скамье под окнами опрятной и просторной избы сидел священник села Погорелова, отец Павел. Вечерний ветер развеивал его се-

дые волосы. Пред ним, на лугу, играл мячом лет пяти мальчик в красной рубашке. Задумчивые взоры старика выражали тихое удовольствие, ощущаемое при виде прелестной природы человеком, который, несмотря на седины свои, сохранил ещё свежесть чувств, свойственную юности.

Всадник, по-видимому, приехавший изда- лека и остановивший перед священником свою лошадь, прервал его задумчивость.

— Нельзя ли, батюшка, мне ночевать у те- бя? — спросил всадник, спрыгнув с лошади и подойдя к благословению священника. — Ло- шадь моя очень устала, и я не надеюсь по- спеть до ночи туда, куда ехать мне надобно...

— Милости просим, — отвечал гостепри- имный старик.

Всадник, привязав лошадь к дереву, кото- рое густыми ветвями осеняло дом священни- ка, сел подле него на скамью.

— Издалека ли, добрый человек, и куда едешь? — спросил отец Павел.

— Еду я в поместье моей родственницы, с которою уже шесть лет с лишком не видался.

— А кар прозываешься ты?

— Другому бы никому не сказал своего имени, а тебе скажу, батюшка. Я давно уж знаю тебя.

— Давно знаешь? — оказал священник, пристально взглядываясь в лицо незнакомца. — В самом деле, я, кажется, видал тебя. Однако ж не помню, где. Разве давно когда-нибудь? Не взыщи на старике, память у меня уж не та, что в прежние годы.

— А помнишь ли, батюшка, как приезжал к тебе однажды стрелецкий пятисотенный и спросил тебя обвенчать его ночью, без свидетелей?

— Да неужто это ты в самом деле? Быть не может! С тех пор прошло около шести лет. Когда ж ты успел так состариться?

— Горесть прежде времени заставит хоть кого состариться, — отвечал незнакомец, которого имя, вероятно, не нужно уже сказывать читателям.

— Не то чтобы ты состарился, а похудел. Видно, был нездоров? Бог милостив, поправишься, так опять будешь молодец. Сколько тебе лет от роду?

— Тридцать четыре года.

— А мне так уж восьмой десяток идёт.

В это время подошла к разговаривавшим пожилая женщина со смуглым лицом и, взглянув на приезжего, бросилась его обнимать, восклицая:

— Господи Боже мой! да откуда ты взялся, мой дорогой племянник?

— А ты как попала сюда, тётушка? Я ехал к тебе в поместье.

— В поместье? — сказала, вздохнув, женщина. — Было оно у меня, да сплыло! И домик мой, который я сама построила, достался в недобрые руки. Что делать! видно, Богу так было угодно.

— Как, разве ты продала свою деревню?

— Нет, племянничек; давай мне Софья Алексеевна свои палаты за мой домик, не променялась бы я с нею. Выгнали по шее, так делать было нечего. Взыла голосом, да и пошла по миру. Как бы не укрыл нас со старухой, с наречённой твоей тётцей, отец Павел — дай Господи ему много лет здравствовать! — так бы мы обе с голоду померли.

— Полно, Мавра Савишна! — сказал священник. — Кто старое помянет, тому глаз вон.

— Нет, батюшка, воля твоя, пусть выколуют мне хоть оба глаза, а я всё-таки скажу, что ты добрый человек, настоящая душа христианская. Во веки веков не забуду я, что ты приютил нас, бедных. Много натерпелась я горя без тебя, любезный племянничек! Вскоре после того, как ты от нас уехал, Милославский узнал, — знать, сорока ему на хвосте весть, принесла, — что невеста твоя жила у меня в доме. Прислал он тотчас за нею холопов; а как услышал, что Наталья Петровна пропала, так и велел меня выгнать в толчки на большую дорогу, а поместье моё подарил, злодей, и с домиком, своему крестному сыну, площадному подьячему Лыскову. Долго мы с твоей наречённой тёщей шатались по деревням да милостыни просили. Как бы не батюшка, так бы мы...

— Ну, полно же, Мавра Савишна! — прервал священник, — что ни заговоришь, а всё сведёшь на одно.

— Да уж воля твоя, батюшка, сердись, не сердись, а я до гробовой доски стану твердить встречному и поперечному, что ты благодетель наш.

Бурмистров, тронутый несчастьем тётки и оказанною ей помощью скромным благотворителем, хотел благодарить священника; но последний, желая обратить разговор на другой какой-нибудь предмет, спросил:

— А куда пошла наша старушка?

— Смирнова-то, батюшка? В церковь, отец мой. Сегодня, вишь ты, поминки по Милославскому. По твоему совету мы каждый год ходим с нею вместе во храм Божий за его душу помолиться.

— Как, разве умер Милославский? — воскликнул Бурмистров.

— Умер, три года ровно тому назад[58], — отвечал священник. — Боярин князь Голицын да начальник стрельцов Шакловитый мало-помалу пришли в такую милость у царевны Софьи Алексеевны, что Ивану Михайловичу сделалось на них завидно. Он уехал в свою подмосковную вотчину — она вёрст за пять отсюда — и жил там до самой своей кончины. Он призывал меня к себе, чтоб исповедать и приобщить его пред смертью. Господь не сподобил его покаяться и умереть по-христиански.

— Расскажи, батюшка, племяннику-то, сказала Мавра Савишна, — как скончался Милославский. Не приведи Бог никого этак умереть!

— Да, — сказал священник, — не в осуждение ближнего, а в доказательство, как справедливы слова Писания, что смерть грешников люта, расскажу я тебе, сын мой, про кончину Милославского. Три года прошло с тех пор, а я как будто теперь ещё слышу все слова его и стенания. Молись и ты за его душу. Я знаю, что в жизни сделал он тебе много зла; но истинный христианин должен и за врагов молиться... Ночью прискакал от Милославского за мною холоп его. Я взял с собою святые дары и поспешил в село к боярину. Вошёл я в спальню и увидел, что он в жару мечется на постели. Несколько раз приходил он в память. Я хотел воспользоваться этими минутами и начинал исповедь; но он кричал ужасным голосом: «Прочь! прочь отсюда! Кто сказал тебе, что я умираю? Я ещё буду жить, долго жить!». Отирая холодный пот с лица, он потом утихал, говорил, чтобы всё имение его раздать по монастырям; но после того, как бы

вдруг что-то вспомнив ужасное, начинал хохотать. И теперь ещё этот судорожный смех у меня в ушах раздаётся! «Всё вздор! — восклицал он. — Я не умру ещё! Успею ещё покаяться! Голицын и Шакловитый узнают Милославского!». Пред последним вздохом своим подзвал он меня к себе и слабым голосом сказал, чтобы я его исповедовал. На вопросы мои не отвечал он ни слова и всё смотрел пристально на дверь. В глазах его изображались тоска и ужас. Думая, что он не в силах говорить, я продолжал глухую исповедь и, кончив её, хотел его приобщить. «Одинцов! — закричал он вдруг страшным голосом. — Дай, дай мне приобщиться... не дави мне горло... ох, душно!... уйди прочь!... не мучь меня!». Помолчав несколько времени, он схватил меня за руку и с трепетом указал мне на дверь. «Батюшка! — сказал он шёпотом. — Вели запретить крепче дверь, не впускай их сюда... мне страшно! Зачем они пришли? Скажи им, что меня нет здесь; уговори их, чтоб он» меня не мучили. А!... они указывают на меня в окошко!... Заприте, заприте окно крепче!... Видишь ли, батюшка; сколько безголовых мертвецов

стоят у окошка? Кровь их течёт к моей постели!... Видишь ли... вот это Хованские, а это Долгорукий и Матвеев! Не пускайте, не пускайте их сюда!... Ради, Бога, не пускайте!». Голос его начал постепенно слабеть, и он умер на руках моих.

— Мы молились сегодня за его душу, помолись и ты, племянник, чтобы... Этаким ты баловень Ванюша, ведь прямёхонько мне в лоб мячом попал!

— Играй, Ваня, осторожнее! — сказал священник мальчику в красной рубашке.

— Что это за дитя? — спросил Бурмистров.

— Он сиротинка, — отвечала Мавра Савишна. — Отец Павел принял его к себе в дом вместо сына. Да уж не кивай мне головой-то, батюшка, уж ничего не смолчу, все твои добрые дела племяннику выскажу.

— Какая холодная роса поднимается! — сказал священник. — Не лучше ли нам в дом войти? Милости просим.

— Вишь как речь-то заминает, — продолжала Мавра Савишна, входя с племянником в дом вслед за священником. — Знаем, что роса холодна, да знаем и то, что у тебя сердечушко

куда горячо на добро — дай Господи тебе здоровья и многие лета.

II

*Вилась дорожка; тёмный лес
Чернел перед глазами.
Жуковский.*

Бурмистров рассказал священнику, своей тётке и возвратившейся вскоре после входа их в горницу старухе Смирновой, что *от* более шести лет ездил по разным городам, напрасно старался заглушить свою горестъ и наконец не без труда решился побывать в тех местах, где был некогда счастлив.

— Мне бы легче было, — говорил он, — если б Наталья умерла; тогда бы время могло постепенно утешить меня. Мысль, что потеря моя невозвратна, не допускала бы уже никогда в сердце моё надежды когда-нибудь снова быть счастливым и не возбуждала бы во мне желанія освободить из рук неизвестного похитителя мою Наталью, желанія, которое беспрестанно терзало меня, потому что я чувствовал его несбыточность.

— Да, да, любезный племянник! — сказала Мавра Савишна со вздохом. — До сих пор о ней ни слуху ни духу! Да и слава Богу!

— Как слава Богу, тётушка?

— А вот, вишь ты, Милославский завещал кое-какие пожитки свои крестному сыну, этому мошеннику Лыскову, да и Наталью-то Петровну назначил ему же после своей смерти. Прежний мой крестьянин Сидоров приезжал прошлою осенью сюда и сказывал, что Лысков везде отыскивает твою невесту, что она, дескать, принадлежала его крестному батьке по старинному холопству, что он волен был её кому хотел завещать и что Лысков норovit, её хоть на дне морском отыскать и на ней жениться.

— Так не Милославский её похитил? — воскликнул Бурмистров.

— Какой Милославский! — отвечала Мавра Савишна. — Если б тогда попалась она в его руки, так уж верно бы давно была замужем за этим окаянным Лысковым и проживала бы с ним, проклятым, в моём домике. Уж куда мне горько, как я об нём вспомню: ведь сама строила!

Мавра Савишна, растрогавшись, захныкала и начала утирать кулаками слёзы.

На другой же день Бурмистров сел на коня и поскакал в Ласточкино Гнездо. Отыскав Сидорова, начал он его снова расспрашивать о приметах похитителей Натальи, о месте, где он их подслушал, и об их разговоре. Ответы Сидорова были ещё бестолковее, нежели прежде. Он прибавил только, что недавно, рано утром отправясь на охоту в Чёртово Раздолье, видел он там 248 опять несколько человек в стрелецком платье, и между ними того самого, у которого в первую встречу в лесу со стрельцами заметил на щеке чёрную бородавку.

— Его рожа-то больно мне памятна! — говорил Сидоров. — Он так настращал меня тогда, проклятый, что и теперь ещё меня, как вздумаю об этом хорошенько, мороз по коже подирает.

— Не заметил ли ты, куда он пошёл из лесу?

— Кажись, он пошёл по тропинке, в лес, а не из лесу. Тропинку-то эту я заметил хорошо потому, что она начинается в лесу, за овра-

гом, подле старого дуба, который, знать, громовой стрелой сверху донизу расколото надвое, словно полено топором. Да здорова ли, Василий Петрович, Мавра Савишна? Я уж давно в Погорелове не бывал. Чай, ты оттуда?

— Она велела тебе кланяться и попросить тебя, чтоб ты сослужил мне службу. Проводи меня теперь же к той тропинке, по которой стрелец в лес ушёл.

— Нет, Василий Петрович, воля твоя, теперь я ни для отца родного в Чёртово Раздолье не пойду. Взглянь-ка, ведь солнышко закатывается. Разве завтра утром?

— Я бы тебе дал рубль за работу.

— И десяти не возьму!

— Ну, нечего делать! Хоть завтра утром проводи меня да покажи тропинку.

— Хорошо-ста. Да на что тебе показать-то? Разве ты этих побродяг искать хочешь? Да вот и мой теперешний боярин, Сидор Терентьевич, собирается также послоняться по лесу. Он ездил нарочно в Москву и просил своего милостивца, Шакловитого, чтобы прислал к нему десятка три стрельцов. У меня-де в лесу завелись разбойники. Тот и обещал прислать.

А ведь обманул его Сидор-то Терентьич. Он хочет искать не разбойников, а Наталью Петровну. Никак он смекает на ней жениться. Не ехать ли вам в лес вместе? Авось вы двое-то лучше дело сладите. Ты сыщешь этих окаянных побродяг, а он Наталью Петровну. Да ведь и ты в старину к ней никак сватался?

— Отчего Лыскову вздумалось ехать в лес?

— Отчего! Я надумил его. Поезжай-де, барин, в Чёртово Раздолье, авось там клад найдёшь. Ну, да если и шею сломит, плакать-то я не стану: ведь житья нам нет от него. Авось его там ведьма удавит! Ну, ему ля там отыскать Наталью Петровну! Коли она и впрямь попалась в этот омут, так, я чаю, её давным-давно поминай как звали!

Ночевав в избе Сидорова, Бурмистров на рассвете оседлал лошадь и поспешил к Чёртову Раздолью, сопровождаемый своим путеводителем, который без седла сел на свою клячу. Въехав в лес, они вскоре прискакали к оврагу; слезли с лошадей; осторожно перебрались с ними на другую сторону оврага, увидели расколотый молниею дуб и подле него тропинку, которая, извиваясь между огромными

соснами, терялась в глубине бора. Отдавши Сидорову обещанный рубль, Василий накрепко наказал ему ни слова не говорить об их свидании и разговоре Лыскову, сел опять на своего коня и поскакал далее по тропинке. Путеводитель его, несколько времени посмотрев ему вслед, махнул рукою, проворчал что-то сквозь зубы и, вскочив на свою клячу, отправился домой. Чего далее ехал Василий, тем лес становился мрачнее и гуще, а тропинка менее заметною. Часто густые ветви деревьев, наклонившиеся почти до земли, преграждали ему дорогу. Иногда принуждён он был слезать с лошади, брать её за повод и пробираться с большим трудом далее. По знакам, вырезанным справа и слева на деревьях, удостоверился он, что едва заметная тропинка, по которой он ехал; давно уже была проложена и вела, вероятно, к какому-нибудь человеческому жилищу. Долго углубляясь, таким образом в лес, увидел, он наконец довольно широкую просеку и вдали покрытую лесом гору. Приблизясь к горе и поднявшись на неё, Василий влез на дерево и рассмотрел на вершине горы обширное деревянное здание весьма

странной наружности, обнесённое высокою земляною насыпью. Спустясь с дерева, сел он снова на свою лошадь и между мрачными соснами, окружавшими со всех сторон насыпь, объехал её кругом и увидел» запертые: ворота. Он начал в них стучаться.

— Кто там? — закричал за воротами грубый голос.

— Впусти меня! — отвечал Василий. — Я заблудился в этом лесу.

Чрез несколько времени ворота отворились. Бурмистров въехал в них и едва успел слезть с лошади, как человек, впустивший его за насыпь, опять запер ворота и, подбежав к лошади Василья, воткнул ей в грудь саблю. Бедное животное, обливаясь кровью, упало на землю.

— Что это значит? — воскликнул Бурмистров, выхватив свою саблю.

— Ничего! — отвечал ему хладнокровно неизвестный. — Волею или неволею ты сюда попал, только должно будет тебе здесь навсегда остаться; уж у нас такое правило. Да не горячись так, любезный, здесь народу-то много: с тобою сладят. Ты ведь знаешь, что с своим

уставом в чужой монастырь не ходят. Пойдём-ка лучше к нашему старшему. Да вот он никак сюда и сам идёт.

Василий увидел приближавшегося к нему человека в чёрном кафтане; за ним следовала толпа людей, вооружённых ружьями и саблями. Бурмистров, всмотрясь в него, узнал в нём бывшего сотника Титова полка Петра Андреева. Последний, вдруг остановясь, начал креститься и, глядя на Василья, не верил, казалось, глазам своим.

— Что за чудо! — воскликнул сотник. — Не с того ли света пришёл ты к нам, Василий Петрович? Разве тебе не отрубили головы?

— Ты видишь, что она у меня на плечах, — отвечал Бурмистров, заметив между тем на щеке сотника чёрную бородавку и вспомнив рассказ Сидорова.

— Да какими судьбами ты попал в наше убежище?

— Я рад где-нибудь приклонить голову. Ты ведь знаешь, что Милославский наговорил на меня Бог знает что царевне Софье Алексеевне и что она велела мне давным-давно голову отрубить. Я бежал из тюрьмы Хованского и с

тех пор всё скрывался в этом лесу. Не дашь ли ты мне уголка в твоём доме, Пётр Архипович?

— Это не мой дом, а Божий. Все в него входящие из него уже не выходят и не сообщаются с нечестивым миром.

— Я готов здесь на всю жизнь остаться!

— Искренно ли ты говоришь это?

— Ты знаешь, что я никогда не любил лукавить. Я искренно рад, что нашёл наконец убежище, которого давно искал.

— Иван Борисович! — сказал сотник, обращаясь к стоявшему позади его пожилому человеку, бывшему пятидесятнику Титова полка. — Отведи Василья Петровича в *келью оглашённых* и постарайся скорее *уделить* его.

Бурмистров, обольщаясь слабою надеждою выведать что-нибудь у Андреева о судьбе своей Натальи, решился во всём ему повиноваться и беспрекословно последовал за пятидесятником.

Андреев, подозвав последнего к себе, шепнул ему что-то на ухо и ушёл в небольшую избу, которая стояла близ ворот.

Пятидесятник ввёл Бурмистрова в главное здание, которое стояло посреди двора, спу-

стился с ним в подполье и запер его в небольшой горнице, освещённой одним окном с железною решёткою. Осмотрев горницу, в которой более ничего не было, кроме деревянного стола и скамьи, покрытой войлоком, Василий нечаянно увидел на стене несколько едва заметных слов, написанных каким-нибудь остриём. Многие слова невозможно было разобрать, и он с трудом мог прочитать только следующее: «Лета 194-го месяца июля в 15-й день заблудился я в лесу и... во власть... долго принуждали... их ересь, но я... морили голодом... повесить... через час на смерть... священнический сын Иван Логинов».

Нужно ли говорить, какое впечатление произвела на Василья эта надпись, по-видимому, ещё ни разу не замеченная Андреевым, который один был грамотен из всех обитателей таинственного его убежища?

Наступила ночь. Утомлённый Бурмистров лёг на скамью, но не мог заснуть до самого рассвета. Тогда послышалось ему в верхних горницах дома пение и потом шум, производимый несколькими бегущими людьми. Вскоре опять всё затихло, и Василий, как ни

напрягал слух, не мог ничего более расслышать, кроме ветра, который однообразно свистел в вершинах старых сосен и елей.

III

*От милых ближних вдалеке
Живёт ли сердцу радость?
И в безутешной бы тоске
Моя увяла младость!
Жуковский.*

Вскоре после солнечного восхода вошёл в Горницу Василья бывший пятидесятник Титова полка Иван Горохов. После длинной речи, в которой он доказывал, что на земле нет уже нигде истинной церкви и что антихрист воцарился во всём русском царстве, Горохов спросил:

— Имеешь ли ты желание *убедиться*?

Бурмистров хотя и не вполне понял этот вопрос, однако ж отвечал утвердительно, потому что к спасению себя и своей невесты, которая, по догадкам его, находилась во власти Андреева, не видел другого средства, кроме притворного вступления в его сообщники.

Притом желал он приобрести этим способом доверенность сотника и узнать, не томится ли в убежище его ещё какая-нибудь жертва изуверства, которую ожидает такая же участь, какая постигла несчастного, возбудившего в Василии глубокое сострадание прочитанною на стене надписью.

Пятидесятник взял Василия за руку и сказал ему:

— Горе тебе, если притворяешься. Ужасная казнь постигнет тебя, если ты из любопытства или страха изъявил согласие соделаться сыном истинной церкви. *Пророческая обедня* изобличит твоё лукавство.

После этого вывел он его из подполья и, взойдя вместе с ним по деревянной лестнице в верхние горницы дома, остановился перед небольшою дверью, которая была завешена чёрною тафтою.

— Отче Пётр! — сказал пятидесятник. — Я привёл к двери истинной церкви осквернённого человека, желающего убедиться.

— Войдите! — отвечал голос за дверью, пятидесятник ввёл Бурмистрова в церковь, наполненную сообщниками Андреева. Все сте-

ны этой церкви от потолка до полу покрыты были иконами. Пред каждою иконою горела восковая свеча. Нигде не было заметно ни малейшего отверстия, чрез которое дневной свет проникал бы в церковь. Вместо алтаря устроено было возвышение, обитое холстом и расписанное в виде облака, а на возвышении стояла деревянная дверь, увешанная бисером, стеклянными обломками и другими блестящими вещами. Отражая сияние свеч, она уподоблялась яркому золоту.

— Скоро начнётся обедня, — сказал Андрей Бурмистрову. — Ты прежде должен показаться по нашей вере. Встань на колена, наклони голову до земли и ожидай, покуда священник не позовёт тебя.

Бурмистров исполнил приказанное, внутренне жалея отпадших сынов церкви и чувствуя невольное отвращение, смешанное с удивлением, при виде нелепых обрядов, столько удалившихся от истинного христианского богослужения.

Все бывшие в церкви запели:

Приидите последнее время,

*Грядут грешники на суд,
Дела на раменах несут!
И глаголет им Судия:
Ой вы, рабушки-рабы!
Аз возмогу вас простите,
И огонь вечный погасит.*

Когда кончилось пение, Бурмистров слышит, что дверь, находившаяся на возвышении, отворилась. Чей-то нежный голос говорит ему!

— Иди ко мне!

Бурмистров встал... и кого же увидел? На возвышении, пред блестящею дверью, стояла в белой одежде с венком из лесных цветов на голове и с распущенными по плечам волосами Наталья. Радость и изумление сильно потрясли его душу. Он долго не верил глазам своим. И бедная девушка, увидев жениха своего, едва не лишилась чувств. Страх обличить его пред изуверами придал ей сверхъестественные силы. С неизобразимым трепетом сердца подала она знак рукою Василию, чтобы он к ней приблизился.

— Поклонясь священнику, что ты отрека-

ешься от прежнего своего нечестия и всякой скверны, — сказал Андреев, — покайся ему во всех беззакониях твоих и скажи, что ты хочешь убедиться.

Все стоявшие близ возвышения удалились от него, чтобы не слышать исповеди Бурмистрова. Подойдя к своей невесте, он по приказанию её стал пред нею на колени и тихо сказал:

— Наталья, милая Наталья, скажи ради Бога, как попалась ты в этот вертеп, изуверов? Научи меня, как спасти тебя?

— Да, спаси, спаси меня! — отвечала трепещущим голосом Наталья. — О! если б ты знал, сколько я перенесла мучений от этих извергов!

— Ты бледнеешь, милая Наталья! — прошептал Бурмистров. — Ради Бога, собери все твои силы, скрой своё волнение. Во что бы то ни стало я спасу тебя!

— Тише, тише говори, они нас услышат.

— Научи меня, как избавить тебя, я на всё готов.

— Отсюда невозможно убежать. Всякого беглеца изверги называют Иудою-предателем

и вешают на осине!

— Скажи, что ж нам делать? Я ещё не знаю ни правил, ни обрядов этого убежища изуверов. Неужели нет никаких средств к побегу?

— Никаких. Прошу тебя об одном: беспрекословно повинуйся здешнему главе. За малейшее непослушание он сочтёт тебя клятвопреступником и закоснелым противником истинной церкви. Пятеро уже несчастных случайно попались в его руки... Я убеждала их исполнять все его приказания, но они, считая меня сообщницей еретиков, не послушались меня, с твёрдостью говорили, что они не изменят церкви православной, и все погибли.

— И я не изменю истинной церкви. Клянусь спасти тебя и истребить это гнездо изуверов.

От тебя еретики потребуют торжественной клятвы, что ты волею вступаешь в их сообщество и никогда им не изменишь.

— Я дам эту клятву и её нарушу. Если бы безумный, бросаясь на меня с ножом, принудил меня произнести какую-нибудь нелепую клятву, неужели я должен был бы исполнить её или упорством заставить его меня заре-

зать?

— Слова твои успокаивают мою совесть. Меня часто мучило раскаяние, что я, спасая жизнь свою, решилась исполнить все нелепости, которые мне предписывал мой похититель. Много раз решалась я неповиновением избавиться от мучительной жизни, но всегда ты приходил мне на ум. Слабая надежда когда-нибудь спастись из рук моих мучителей и с тобою увидеться воскресала в моём сердце. Для тебя переносила я все мучения и дорожила жизнью.

— Милая Наталья! Сам Бог послал меня сюда для твоего избавления. Положимся на его милосердие. Я не предвижу ещё средств, как спасти тебя, но Он наставит меня!

— Я всякий день со слезами Ему молилась! Кто ж, как не Он, послал тебя сюда? Преддимся Его воле и, хотя спасение наше кажется невозможным, но для Него и невозможное возможно!... Пора уже кончить исповедь. Глава пристально на нас смотрит. Не забудь моей просьбы исполнять все, что он тебе скажет. Не измени себе и подивись нелепостям, которые ты ещё увидишь!

Наталья, положив руку на голову Бурмистрова, сказала:

— Буди убелён!

Андреев и сообщники его подошли к возвышению и начали целовать Бурмистрова.

— Поклянись, — сказал он Василию, — что ты добровольно вступаешь в число избранных сынов истинной церкви.оборотись лицом к небесным вратам, подними правую руку с двоеперстным знамением и повторяй, что я буду говорить. Никон, антихрист и сосуд сатанинский, бодый церковь рогами и уставь её стираяй! — отрекаюся тебе и клянусь соблюдать уставы истыя церкви; аще ли нарушу клятву, да буду предан казни и сожжён огнём, уготованным диаволу.

По произнесении клятвы Андреев подвёл Бурмистрова к двери, находившейся на возвышении, и сказал ему, чтобы он три раза пред нею повергся на землю. После того все вышли вон из церкви, надели на себя белые саваны и взяли в руки зажжённые свечи зелёного воска. Андреев, подавая саван Бурмистрову, приказал ему надеть его на себя и также взять свечу. Когда все возвратились в

церковь, Наталья в белой широкой одежде с чёрным крестом на груди и подпоясанная кожаны́м поясом, на котором было начертано несколько славянских букв, вышла из небесных врат и стала посередине церкви. Андреев и все его сообщники составили около Натальи большой круг и начали бегать около неё восклицая, чтобы на неё сошёл дух пророчества.

Через несколько времени все остановились, и Андреев, встав пред Натальею на колени, спросил:

— Новый сын истинной церкви будет, ли всегда ей верен?

— Будет! — отвечала Наталья.

— Нет ли у него в сердце какого-нибудь злого умысла против меня?

— Нет!

— Не грозит ли мне какая-нибудь опасность?

— Не грозит!

— Не буду ли я когда-нибудь схвачен слугами антихриста?

— Не будешь!

Таким образом все сообщники Андреева,

один после другого, предлагали вопросы. Нелепость их часто затрудняла Наталью, однако ж она по врождённой остроте ума её всегда находила приличные ответы.

Наконец дошла очередь до Бурмистрова. Он встал на колени и спросил:

— Не смутит ли меня когда-нибудь враг человеческого рода, и не изменю ли я истинной церкви?

— Ты всегда будешь ей верен!

Андреев, услышав этот двусмысленный ответ, ласково взглянул на Бурмистрова.

Когда очередь спрашивать опять дошла до Андреева то он предложил вопрос:

— Антихрист Никон давно уже пришёл и умер; когда же будет кончина мира, и нынешние времена последние или ещё не последние?

— Я скажу тебе это чрез три дня, — отвечала Наталья, несколько затруднённая таким вопросом, и пошли из церкви. За нею и все последовали.

Объясним читателям, каким образом Наталья сделалась священником раскольников.

Когда Софья повелела Титов полк за непо-

корность разослать по дальним городам, Андреев, которому назначено было идти в Астрахань, отправляясь туда из Москвы со своею сотнею, убил на дороге посланного с ним проводника и пошёл окольными дорогами в другую сторону... Случайно проходив близ Ласточкина Гнезда и увидев на берегу озера густой лес, он скрылся в него с пятидесятником Гороховым и со своими стрельцами, почитавшими его за набожность святым, и решился избрать в глубине этого леса место для устройства истинной церкви, которую, по его убеждению, показал ему Аввакум. Церковь эта, без сомнения, была создана бредом воображения его, которое приходило в сильное расстройство после каждого припадка запоя. От последнего избавила его другая сильная болезнь — горячка, в воображение его не излечилось. Найдя удобное место для осуществления призрака, который представился ему в бреду, он увидел однажды Наталью, когда она прогуливалась по берегу озера, подсмотрел, что она ушла в дом Мавры Савишны, и решился её похитить, потому что в церкви, которую он хотел воздвигнуть, следовало быть

священником молодой девушке. Он вовсе не знал, что Наталья была невеста Бурмистрова. Читателям известно всё остальное.

Андреев, помня пророчество Натальи о Бурмистрове, начал обходиться с ним ласково и доверчиво, возлагал на него разные поручения и ходил однажды с ним вместе в лес на охоту, которая составляла главный способ пропитания членов воздвигнутой им церкви.

Вечером, накануне дня, назначенного Натальею для разрешения предложенного Андреевым вопроса, он послал Василия в её горницу, чтобы спросить, в какое время можно будет на другой день служить пророческую обедню? Бурмистров воспользовался случаем, чтобы условиться с Натальею о средствах к их побегу. Долго не находили они никакого, наконец Василию пришла мысль счастливая и решительная. Он сообщил её с восторгом своей невесте и решился испытать придуманное им средство, хотя и видел ясно всю его опасность.

Наталья назначила служить обедню за три часа до захождения солнца. Бурмистров прежде ухода в свою келью сообщил об этом

Андрееву, сказал, что священник для открытия великой тайны о времени кончины мира находит нужным совершить самое торжественное служение, повелевает весь завтрашний день всем поститься и надеется ответить на предложенный ему великий вопрос в ту самую минуту, когда солнце закатятся.

И Василий и Наталья целую ночь не смыкали глаз, нетерпеливо ожидая рассвета. Наконец солнце появилось на востоке. Оба думали, что готовит им наступивший день: спасение или гибель?

За три часа до солнечного заката собрались все в церкви, одевшись в саваны и взяв в руки свечи зелёного воску. Когда Наталья в своей одежде стала посредине церкви, началось пение и потом бегание вокруг по-прежнему. В утомлении несколько раз все останавливались и, отдохнув, снова начинали бегать. Поставленному на кровле дома часовому было приказано известить бывших в церкви о минуте, когда солнце начнёт закатываться. Все поглядывали на церковную дверь, не исключая Василия и Натальи, хотя они по другим побуждениям, нежели прочие, нетерпе-

ливо ждали вестника. Наконец он вошёл торопливо в церковь и сказал:

— Закатывается!

Любопытство еретиков достигло высшей степени. Они перестали бегать и, храня глубокое молчание, устремили взоры на Наталью.

— Я не в силах ещё возвестить вам великой тайны, которую вы знать желаете, — сказала Наталья торжественным голосом. — Повергнитесь все на землю и вознесите души ваши к небу. Изгоните из сердец все суетные помыслы. Да не смущает слуха вашего никакой земной звук и да не прельщают зрения никакие суетные призраки этого мира: ни камень, ни дерево, ни вода, ни свет, ни мрак; всё земное заражено прикосновением слуг антихриста. Скоро по молению вашему услышите тайну тайн!

Все раскольники с благоговением легли на пол, ниц лицом, зажали уши и зажмурили глаза.

Бурмистров с сильным трепетом сердца тихонько встал с пола и, взяв Наталью за руку, повёл из церкви. Бедная девушка едва дышала. Они подошли к двери. Василий начал

её медленно отворять, опасаясь, чтобы она не закрипела. Наконец вышли они из церкви, спустились с лестницы и, пройдя поспешно двор, приблизились к воротам. Через высокую насыпь перелезть было невозможно, другого же выхода, по словам Натальи, не было. По её совету Бурмистров вошёл в избу привратника, стоявшую близ ворот, и начал искать в ней ключа.

Осмотрев все уголки, он в недоумении остановился перед деревянным столом у окошка, не смея выйти к Наталье и сказать ей о безуспешности своих поисков. Он почти уже решился сломать висевший на воротах замок, избегая, сколько возможно, неминуемого при том шума. В эту самую минуту вошла в избу с радостным лицом Наталья, держа ключ в руке.

— Он висел на верее, — сказала она шёпотом.

Бурмистров осторожно отворил ворота и вывел невесту свою за насыпь. Оба перекрестились и поспешно начали спускаться с горы к известной уже читателю просеке. Вскоре они достигли её и побежали к тропинке.

Между тем раскольники, лёжа на полу с зажмуренными глазами и заткнутыми ушами, с нетерпением ожидали повеления священника встать для услышания тайны, которая сильно заняла их воображение. Прошло около часа. Андреев, долго лёжа на полу наравне с другими, наконец вышел из терпения. Священник истинной церкви не может быть заражён прикосновением слуг антихриста — размыслил Андреев и решился тихонько взглянуть на Наталью. Увидев, что её посередине церкви нет, он вскочил и закричал ужасным голосом:

— Измена! предательство!

Все раскольники, услышав крик его, вскочили. Вмиг выбежали они вслед за своим главою из церкви, переоделись в стрелецкие кафтаны, схватили сабли и пустились в погоню за беглецами.

Между тем Василий и Наталья, добежав уже до знакомой первому тропинки, поспешно шли по ней к выходу из леса. Видя утомление девушки, Бурмистров принуждён был идти потише и, наконец, остановиться, чтобы дать ей время отдохнуть. С трудом переводя

дыхание, она села на кочку, покрытую мхом. Вдруг позади их послышался отдалённый шум.

— Побежим, милая Наталья, за нами погоня! — воскликнул Бурмистров.

Оба побежали. Бедная девушка вскоре потеряла последние силы. Схватив Василия за руку и прислонясь к плечу его, сказала она слабым голосом:

— Я не могу бежать далее!

Бурмистров, схватив её на руки, продолжал бежать по тропинке. Наклонившиеся до земли ветви и широко раскинувшиеся кустарники часто его останавливали. Наконец тропинка пересеклась оврагом, и оставалось уже не более версты до выхода из леса, который приметно редел. Перебравшись через овраг, утомлённый Бурмистров остановился для короткого отдыха и посадил Наталью на камень, лежавший между кустами. В это самое время раздался в отдалении голос:

— Вон, вот они! — и вскоре начали один за другим появляться бегущие толпою раскольники с поднятыми саблями.

Василий хотел снова взять Наталью на ру-

ки, но она, вскочив с камня, указала ему в ту сторону, куда им бежать было должно, и произнесла голосом, который выражал изнеможение и отчаяние:

— Мы погибли!

Василий, взглянув туда, куда Наталья ему указывала, увидел Лыскова, ехавшего верхом им навстречу в сопровождении конного отряда стрельцов. Сидоров шёл подле него, сняв шапку. Оружия с Бурмистровым не было, потому что он бежал с Натальею прямо из церкви. Что оставалось ему делать? На что он должен был решиться: отдаться ли в руки раскольников или же Лыскова? Он стоял в недоумении, поддерживая Наталью за руки. Между тем бегущие раскольники и Лысков к нему приближались. Последний, однако ж, был от него вдвое ближе, нежели первые. Схватив толстый сук с земли, решил он защищать свою невесту до последней крайности и умереть под саблями противников.

— Обоих на осину! — кричал Андреев своим сообщникам. — Не уйдёте, предатели! Бегите, друзья, бегите за мной скорее!

— Тропинка уже близко отсюда, барин, вон

там, за оврагом, — говорил Сидоров Лыскову, — мы как раз до неё доберёмся! Я тебе покажу, куда ехать, а там и ступай всё прямо... Господи твоя воля! — воскликнул он в ужасе.

— Что с тобой сделалось, дурачина? — опросил Лысков. — Чего ты испугался?

Сидоров не мог ничего отвечать от страха и, дрожа, указал на Василия и Наталью. Они стояли неподвижно. Белая одежда их освещена была вечернею зарею, алое сияние «которой проникало сквозь ветви деревьев и кустарников».

— Что в самом деле за дьявольщина! — воскликнул Лысков, несколько испугавшись я всматриваясь в показанных ему Сидоровым двух человек. — Они как будто бы в саванах! Тут должны быть какие-нибудь плутни! За мной, ребята! Схватим этил мошенников!

Он поехал со стрельцами вперёд, а Сидоров пустился бежать из леса с такою быстротою, что гончая собака едва ли бы перегнала его. Прибежав без души в Ласточкино Гнездо, объявил он там прочим крестьянам, что господин их встретил из лесу двух мертвецов и хотел было бежать, но что они его по дьяволь-

скому наваждению потянули к себе со всеми стрельцами.

Прискакав на близкое расстояние ж Бурмистрову, Лысков закричал:

— Кто вы таковы? Отдайтесь нам в руки, а не то я велю изрубить вас.

— Прежде размозжу я тебе голову, а потом сдамся! — закричал Бурмистров.

Лысков, услышав знакомый голос и всмотревшись в лицо Василия, содрогнулся и от ужаса опустил из руки повод своей лошади. Он был уверен, что Василию давно уже отрубили голову, и никак не ожидал увидеть его в саване посреди леса. Натальи, вероятно, он не узнал или счёл её за привидение.

— Что ж ты медлишь? — закричал Бурмистров. — Нападай на меня, если смеешь!

Лысков дрожащею рукою навал доставать повод в намерении скакать из леса без оглядки. Лошадь, приметив, что седок на ней ворочается и, ожидая удара поводом, подвинулась ещё ближе к Бурмистрову. Стрельцы остались на прежнем месте, в некотором от Лыскова отдалении и, ожидая его приказаний, смотрели со страхом и изумлением на

происходившее, Бурмистров заметил ужас Лыскова и тотчас понял причину этого ужаса. В голове его блеснула счастливая мысль.

— Час твой настал, злодей! — закричал он торжественным голосом, бросив на землю толстый сук, который держал в руке. — Никто на свете не спасёт тебя! Иди за мною!

Лысков, обеспамятев от страха, опустился с лошади и повалился на землю перед Бурмистровым.

— Позволяю тебе жить на этом свете ещё десять лет, если ты сделаешь хоть, одно доброе дело, — продолжал Бурмистров. — Схвати этих разбойников, которые бегут сюда, и предай их в руки правосудия.

Лысков вскочил с земли, сел на лошадь, махнул стрельцам и пустился с ними навстречу раскольникам.

Началась, между ними: упорная драка. Долго раздавались удары сабель, и крики сражающихся, долго ни та, ни другая сторона; не уступала... Наконец, раскольники побежали, и Лысков со стрельцами пустился их преследовать. Тем временем, Василий, и Наталья, выбежав из леса, пошли в Ласточкино Гнездо;

Заря уже угасла на западе. Бурмистров решился идти в избу Сидорова, выпросить у него телегу и немедленно ехать с Натальей в село Погорелово, покуда Лысков не возвратился ещё в деревню, где почти все жители уже спали.

— Кто там? — закричал Сидоров, услышав стук у дверей своей, избы.

— Впусти меня скорее! — сказал Бурмистров.

— Ах! это никак ты, Василий. Петрович. Слава тебе Господи! видно ты цел воротился, из лесу.

Сидоров, отворив дверь а увидев, наряд Василия и Натальи, отскочил от них аршина на три и, прижался в переднем, углу к. стене, под иконами.

— Что ты, что ты, брат! — сказал Василий, входя с Натальей в избу. — Ты, верно, подумал, что к тебе мертвецы в гости пришли? Не бойся, мы тебе ничего не сделаем. Заложика поскорее телегу, да ссуди меня каким-нибудь кафтаном и шапкой, а для Натальи Петровны достань где-нибудь сарафан и повязку. Мы теперь же уедем в Погорелово. Приезжай завтра

туда за твоим платьем. Да нельзя ли, братец, всё это сделать попроворнее? Я тебе завтра дам три серебряных рубля за хлопоты. Только смотри, ни слова не говори Лыскову.

— Да ты никак и впрямь не мертвец! — сказал Сидоров, всё ещё посматривая с недоверчивостью и страхом то на Василиям то на его невесту. — Да кто вас угораздил этак нарядиться? Святки, чего-ли, справляете? Раненько запридновали?! Для святок-то ещё можно сорок сороков тетеревей настрелять.

— У Сидорова всё дичь на уме, — сказала Наталья, с улыбкой взглянув на Бурмистрова.

— Однако ж, братец, нельзя ли всё поскорее спроворить? — сказал Василий. — Нам дожидаться некогда. Да одолжи мне, кстати, до завтра твоего ружья.

— Сейчас, сейчас, Василий Петрович. Всё мигом будет готово!

Сидоров проворно заложил свою лошадь в телегу, сбегал к замужней сестре своей за сарафаном и повязкой, вытащил из сундука свой праздничный кафтан и шапку, достал из чулана ружьё своё с сумкой и подал всё Бурмистрову.

Когда Василий и Наталья, переодевшись, сели уже в телегу, Сидоров сказал:

— А кто же будет лошадёной-то править? Разве мне самому, Василий Петрович, вас прокатить!

Без шапки, сел он на облучке телеги, взял вожжи, приосанился, ударил лошадь плетью и поскакал по дороге к Погорелову, присвистывая и крича:

— Ну, родимая, не выдай! Знатно скачет, только держись.

Ещё прежде полуночи он приехал в Погорелово. Нужно ли описывать радость Натальиной матери, которая так неожиданно увидела дочь свою после долгой разлуки? Отец Павел не мог удержаться от слез, глядя на обрадованную старуху и восторг дочери. Мавра Савишна, вскочив со сна, второпях надела на себя вместо своего сарафана подрясник отца Павла и выбежала здороваться с неожиданными гостями, а потом от восхищения пустилась плясать, несмотря на свою духовную одежду.

— Мавра Савишна! — сказал, улыбнувшись, отец Павел, — погляди на себя: ты, ка-

жется, мой подрясник надела. Полно плясать-то!

— Ничего, батюшка, на такой радости не грех и в подряснике поплясать — прости Господи моё согрешение! Ай люшеньки люли!

Сидоров, которому Мавра Савишна после пляски поднесла стакан настойки, остался против приказания Василия ночевать в доме отца Павла и, получив своё платье, ружьё и обещанную награду, на другой уже день возвратился в Ласточкино Гнездо в полной уверенности, что барина его, Лыскова, утащили лешие и мертвецы в преисподнюю, и что никто не спросит его, куда он и с кем ночью ездил.

IV

*Не знаешь, как он силен у двора:
Пропал ты, и навек!
Княжнин.*

Было около полудня, когда Сидоров подъехал к избе своей. На беду его, Лысков сидел на скамье перед своим домом под тенью берёзы, отдыхая после вчерашней безуспешной

погони за раскольниками и ломая голову над чудесною встречею его в лесу с Бурмистровым. Увидев Сидорова, махнул он ему рукою. Впустив лошадь свою с телегою на двор, бедняк почувствовал холод и жар в руках и ногах от страха и побежал к своему барину.

— Куда ты ездил, мошенник?

— А в лес за дровами, батюшка.

— Так это ты шатался целую ночь напролёт по лесу, а? Говори же, разбойник! Ты и днём боишься в лес ходить!

— Виноват, батюшка! Сглупа мне невдомёк, что ночью в лес за дровами не езда.

— Куда же ты ездил? Говори мне, плут, всю правду. Федька, палок!

— Взмилуйся, отец родной, Сидор Терентьич, за что?

— Я тебе покажу, за что. Катай его! — закричал Лысков своему холопу Федьке, которого главная должность состояла в том, чтобы иметь всегда запас палок и чтобы колотить без пощады всякого, кого барин прикажет.

Сидоров повалился в ноги Лыскову и признался, что он ездил в село Погорелово.

— В Погорелово? А зачем? Небось к преж-

ней помещице? Ах ты бездельник! Она-то вас и избаловала! Федька, принимайся за дело!

— Помилуй, Сидор Терентьич! — продолжал Сидоров, кланяясь в ноги Лыскову. — Я не к помещице ездил.

— Так к черту, что ли, мошенник? Говори мне всю правду, не то до полусмерти велю приколотить.

— Скажу, батюшка, всю правду-истину. Лаптишки у меня больно изорвались, так я и собрался в Погорелово за покупкой. Там кума моя, Василиса, славные лапти плетёт.

— Да что ты, бездельник, меня обманываешь! Понадобились лапти, так ночью за двадцать вёрст за ними поехал! Ах ты разбойник! До смерти прибью, если не скажешь правды. Привяжи его к этой берёзе, Федька, да принеси палок-то потолще. Я из тебя выбью правду!

Холоп потащил бедняка к берёзе.

— Скажу, Сидор Терентьич, всё скажу, только помилуй! — закричал крестьянин, вырвавшись из рук холопа и снова упавши в ноги Лыскову. — Я отвёз в Погорелово Василия Петровича с Натальей Петровной.

Лысков, несмотря на своё изумление, схватил палку и собственноручно излил гнев свой на бедного крестьянина. Потом велел оседлать свою лошадь и, взяв с собою Сидорова и ещё четырёх крестьян, вооружённых ружьями, поехал немедленно в Погорелово, решась отнять у Бурмистрова Наталью, которую считал своею холопкою.

Приехав в село, он остановился у дома священника, зная, что у него живёт тётка Бурмистрова, и потому полагая наверное, что Наталья более негде быть, как в доме отца Павла.

Лысков вошёл прямо в горницу. Мавра Савишна ахнула, старуха Смирнова заплакала, Наталья, побледнев, бросилась на шею матери, а отец Павел, не зная Лыскова, смотрел на всех в недоумении. Бурмистрова не было в горнице.

— Что, голубушка, не уйдёшь от меня! Изволь-ка собраться проворнее. Поедем ко мне в гости, уж и телега у ворот для тебя стоит. Что ж, за чем дело стало? Простись с родительницей, да поедем проворнее.

— Прежде умру! — отвечала Наталья, рыдая и обнимая мать свою.

— Вот пустяки какие! Есть от чего умирать! Да тебе, моя красоточка, будет у меня не житье, а масленица. Ну, да ведь если волей нейдёшь, так и силой потащат. Эй, Ванька, Гришка, идите все сюда, тащите её в телегу!

Хоть я и не знаю твоей милости, — сказал отец Павел, с изумлением и негодованием смотревший на Лыскова, — однако ж, как хозяин этого дома, кажется, могу спросить: по какому праву разлучаешь ты мать с дочерью?

— Ха, ха, ха! По какому праву! Она моя холопка, вот и всё тут. Если б сбежала ко мне на двор твоя лошадь или корова, ты бы, я чаю, пришёл за нею, и я бы, верно, не спросил: по какому праву берёшь ты с моего двора твою корову? Эх, старинушка! дожил до седых волос, а тебя же мне надобно учить. Что ж вы, олухи, её не тащите! Крику-то, что ли, её испугались? Ну, поворачивайтесь! Под руки её, под руки возьмите! Да отвяжись ты, старая ведьма! Этак за дочку-то уцепилась! Ты мать, а я господин. Делать-то нечего! Оттолкни её, Ванька!

— Это что? — воскликнул Бурмистров, входя в горницу. — Прочь, бездельники! Вон от-

сюда!

Крестьяне, испуганные грозным голосом Бурмистрова, отошли от Натальи.

— Не лучше ли тебе идти вон? — сказал Лысков. — Я сегодня же донесу царевне Софье Алексеевне, что ты живёхонек. Она, не знаю кому-то, голову велела отрубить.

— Доноси, кому хочешь, только убирайся вон! — закричал Василий.

— Да как ты смеешь отбивать у меня мою холопку? Коли на разбой пошло, так я велю защищать себя. Ружья-то у пятерых заряжены. Ты думаешь, что я тебя испугался. Волоском меня тронь, так я стрелять велю! Ты и то шесть лет с лишком у смерти украл. По-настоящему, надобно схватить тебя да отправить в Москву. Хватайте его, ребята, вяжите! Что ж вы, бездельники? У него оружия нет, чего вы трусите? Хватай его, Ванька!

— Как, это ты, Сидоров, на меня нападёшь! Ну, ну, смелее! Попробуй схватить меня!

— Да что ж, Василий Петрович, делать, воля господская: велят, так и на отца родного кинешься!

— Полно, Сидоров! Опустика лучше мою

руку, ведь я посильнее тебя. Мне не хочется против тебя защищаться.

— Мошенник ты, Ванюха! — закричала Мавра Савишна, — забыл ты мою хлеб-соль! Ну да Бог с тобой!

Бурмистров между тем схватил ружьё Сидорова. Последний притворялся, будто старается удержать ружьё всеми силами, и между тем шептал Бурмистрову:

— Дай мне тычка, а ружьё-то отними!

Другие крестьяне хотели броситься к Сидорову на помощь, но отец Павел остановил их, закричав:

— Грешно, дети, грешно пятерым нападать на одного.

Бурмистров для вида толкнул своего противника и вырвал у него ружьё.

— Ой мои батюшки! — закричал Сидоров, упав нарочно на пол. — Этакой медведь какой, никак мне ребро переломил.

Лысков задрожал от злости и закричал крестьянам:

— Стреляйте! Я ответчик за его голову.

Крестьяне, пополняя приказание господина, прицелились в Бурмистрова.

— Застрелите, дети, и меня вместе! — сказал отец Павел, став подле Василия.

Все ружья вдруг опустились.

Бурмистров, прицелясь в Лыскова, сказал:

— Ты хотел меня застрелить как разбойника, а против разбойников по закону позволено защищаться. Сейчас уйди отсюда, а не то посажу тебе пулю в лоб.

— Хорошо, — воскликнул Лысков, задыхаясь от злобы, — я уйду, только уж поставлю на своём. Сегодня же пошлю челобитную к царевне Софье Алексеевне.

— Да уж поздно, хамово поколение, поздно, семя крапивное! — закричала Мавра Савишна, которая вместе с старухой Смирновой старались привести в чувство упавшую в обморок Наталью. — Я уж с племянником сама написала на тебя сегодня челобитную батюшке-царю Петру Алексеевичу!

— Очень рад, — сказал Лысков, — нас царь рассудит.

— Племянник-то мой мне растолковал, что ты в моём поместье не владелец и что Ласточкино Гнездо и с домиком всё-таки моё, даром что меня по шее оттуда выгнали!

— Не рассказывай всего тому плуту, тётушка. Убирайся же вон! Чего ты ещё дожидаться?

— Уйду, сейчас уйду, дай только слово сказать. Ты ведь, святой отец, хозяин этого дома. Если укрываешь у себя мою холопку, так и отвечать должен за неё, если она убежит. Тогда я за тебя примусь. Не забудь этого. Прощай! Авось скоро увидимся. Пойдёмте, мошенники! Пятеро не могли с одним сладить!

Если хочешь, тётушка, то прикажи твоим крестьянам остаться здесь, — сказал Василий. — Лысков не помещик их, он завладел твоим имением не по закону, а самовольно. Ты настоящая помещица.

— Коли так, — воскликнула Мавра Савишна, посадив пришедшую в чувство Наталью на скамью, — то я вам всем приказываю не уходить отсюда ни на пядь!

— Слушаем, матушка! — сказали в один голос обрадованные крестьяне.

— Кормилица ты наша! — прибавил Сидоров, бросаясь к Мавре Савишне, — дай поцеловать твою ручку! Опять ты наша госпожа! Слава тебе Господи!

— Врёшь ты, разбойник! — закричал Лысков. — Я ваш господин! Осмельтесь не пойти со мною: до полусмерти всех вёл батогами образумить.

— Не прикажешь ли, матушка, Мавра Савишна, самого его образумить и проводить отсюда? — спросил Сидоров, сложив кулаки и поправляя рукавицы.

— Вон его толкай, Ванюха! — закричала Мавра Савишна. — Живёт мошенник в моём домике ни за что ни про что да ещё над моими крестьянами смеет ломаться! Вон его!

— Ребята, не отставай! — закричал Сидоров, выталкивая Лыскова в шею из горницы. — Проводим его милость за ворота, ведь госпожа приказала.

— Прибавь ему, Ванюха, прибавь ему, мошеннику! — кричала Мавра Савишна.

Крестьяне, вытолкав Лыскова за ворота, возвратились в горницу и спросили помещицу, что им ещё делать прикажет.

— Пусть они покуда останутся у меня в доме, — сказал отец Павел, — да не велишь ли им, Мавра Савишна, помочь моей работнице, она пошла в огород гряды полоть?

— Слышите, ребята? Ступайте гряды по-
лоть, да смотрите: не пускайте козла в огород.
Неравно Лысков сюда воротится, так опять
его б шею!

— Слушаем, матушка! — сказали крестья-
не и вышли из горницы.

— Ну, племянник, — сказала Мавра Савиш-
на, — потешили мы себя — вытолкали мо-
шенника. Только что-то будет с нами? Ведь
разбойник на всех нас нажалуется царевне
Софье Алексеевне!

— Так что ж? Пусть его жалуется. Твоя че-
лобитная прежде придёт к царю Петру Алек-
сеевичу.

— Разве он, наш батюшка, за нас заступит-
ся, а не то бедовое дело: всё пропадём как
мошки!

— И, полно, тётушка! Правому нечего бо-
яться. Я теперь же поеду в село Преображен-
ское и ударю челом царю.

— Да, да, поезжан скорее, пока нас всех
ещё не перехватили да не сковали.

V

Ко скипетру рождённы руки

*На труд несродный простирал:
Звучат доднесь по свету звуки.
Как он секирой ударял.
Лучи величества скрывая,
Простым он воином служил.
Державин.*

Кто из русских не знает села Преображенского, этой колыбели величия Петра? Кто не читал или не слышал про забавы царственного отрока с его потешными на обширных полях, которые это село окружали?

Ещё при царе Алексие Михайловиче в Преображенском был устроен Потешный двор, родоначальник русских театров. Там, как повествуют Разрядные Записки, в 1676 году была комедия; тешили Великого Государя иноземцы, как Алаферна Царица Царю голову отсекла, и на органах играли немцы, да люди дворовые боярина Артемона Сергеевича Матвеева. Того ж году была другая комедия там же, как Артаксеркс велел повесить Амана, и в органы играли, и на фиолах, и в струменты, и танцевали.

Родитель Петра Великого, царь Алексей

Михайлович, особенно любил село Преображенское и часто там отдыхал от забот государственных, предаваясь любимой забаве своей, соколиной охоте. Оно служило приятным убежищем царице Наталье Кирилловне и царю Петру Алексеевичу во время правления Софии. Там юный государь завёл, сначала в небольшом числе, потешных из юношей равных с ним лет. Это небольшое войско, служившее к увеселению монарха и. получившее от того своё название, мало-помалу умножилось, и часть этого войска была переведена в село Семёновское. С того времени потешные разделились на Преображенских и Семёновских, и впоследствии из них учреждены были в 1695 году полки Преображенский и Семёновский.

Сначала потешные составляли одну только роту. Капитаном её был женевец Лефор, любимец Петра Великого. Вступив в русскую службу в 1677 году, он отличил себя храбростью в походе против татар и турок. Впоследствии юный царь узнал и полюбил его, начал учиться у него голландскому языку и вступил к нему в роту солдатом. Наравне с сослужив-

цами своими юный царь спал в палатке, бил зорю, стоял по очереди на часах, возил на тележке землю для устройства крепостцы, словом сказать, подавал собою пример своим подданным воинской подчинённости, и наконец монарх России с великою радостью получил чин сержанта. На слова патриарха, ставшегося, по совету бояр, отвлечь юного государя от несоразмерных с его силами и возрастом трудов, он отвечал: «Труды не ослабляют здоровья моего, а напротив, его укрепляют. Много времени проходит у меня и в пустых забавах, но от них, владыко святой, никто меня не отвлекает».

В 1684 году, в день Преполовения, двенадцатилетний царь, находясь в Москве и осматривая Пушечный двор, приказал стрелять в цель из пушек и метать бомбы. Окружавшие его бояре убеждали монарха не подходить близко к пушкам. Вместо ответа он взял фитиль, смело приложил к затравке — и пушка грянула.

Развивающийся с каждым днём гений юного царя тревожил властолюбивую Софию. В 1688 году, двадцать пятого января,

Пётр Алексеевич, вместе с царём Иоанном и с царевною, присутствовал в первый раз в Государственной Думе и с тех пор был удаляем от совещаний: царевна увидела, что, допустив влияние Петра на дела государства, она лишит сама себя власти. Несмотря на это, рождённый для престола гений не останавливался на пути своём, и София с беспокойством предугадывала, что юный царь скоро твёрдою рукой возьмёт у неё скипетр, ему по праву принадлежащий.

Солнце поднялось уже до половины из-за отдалённого бора, когда Бурмистров приближался к Преображенскому с челобитною своей тётки. При въезде в село он услышал оклик часового «кто идёт?» и остановил свою лошадь.

— Здесь ли его царское величество? — спросил Бурмистров.

— Его царское величество в Москве, — отвечал часовой.

— Как? мне сказали, что царь Пётр Алексеевич здесь, в Преображенском.

— Говорят тебе, что царя здесь нет. Посторонись, посторонись! Прапорщик идёт: на-

добно честь отдать.

Бурмистров увидел приближавшихся к нему двух офицеров. Один из них был лет семнадцати, высокого роста, с открытым, прелестным лицом, на котором играла кровь юношества. Если об это была девица, то все бы влюблялись в неё[59]. Другой был человек также высокого роста, лет тридцати пяти, с привлекательною физиономиею и благородною поступью. Оба разговаривали по-голландски.

Бурмистров, соскочив с лошади и сняв шапку, приблизился к молодому офицеру, стал перед ним на колени и подал ему челобитную.

Офицер, взяв бумагу, спросил:

— Кто ты таков?

— Я бывший пятисотенный Сухаревского стрелецкого полка, Василий Бурмистров.

— Бурмистров?... Про тебя мне, как помнится, говорила что-то матушка. Не ты ли удержал твой полк от бунта?

— Я исполнил свой долг, государь!

— Встань! Обними меня! Тебе неприлично стоять передо мной на коленях: я прапорщик,

а ты пятисотенный.

Бурмистров, встав, почтительно приблизился к царю, который обнял его и поцеловал в лоб.

— Вот, любезный Франц, — сказал монарх, обратясь к полковнику Лефору и потрепав Бурмистрова по плечу, — верный слуга мой, даром что стрелец. А где теперь полк твой?

— Не знаю, государь, Я вышел давно уже в отставку.

— А зачем?

Бурмистров рассказал все, что с ним было. Царь несколько раз не мог удерживать своего негодования, топал ногою и нахмуривал брови, внимательно слушая Василия.

— Отчего Милославский так притеснял тебя? Что-нибудь да произошло между вами?

Бурмистров, зная, что Пётр столько же любил правду и откровенность, сколько ненавидел ложь и скрытность, объяснил государю, чем навлёк он на себя гонения.

— Так вот дело в чём!... А где теперь твоя невеста?

— Неподалёку от Москвы, в селе Погорелове. Тамошний священник приютил её вместе

с её матерью и мою тёткою, которая лишена противозаконно своего небольшого поместья. Её челобитная и головы наши в твоих руках, государь! Заступись за нас! Без твоей защиты мы все погибнем!

Бурмистров снова стал на колени перед Петром.

— Встань, встань, говорю я тебе!

Прочитав челобитную, Пётр воскликнул:

— Так этот Лысков отнял имение у твоей тётки да ещё и невесту у тебя отнять хочет! Не бывать этому!

— Он поехал в Москву на меня жаловаться.

— Кому жаловаться?

Бурмистров смутился, не смея произнести имя царевны Софии.

— Что ж ты не отвечаешь? Кому хотел он жаловаться? Сестре моей, что ли?

— Он угрожал, что надо мной исполнится приговор по старому докладу покойного боярина Милославского.

— То есть что сестра моя велит этот приговор исполнить? Говори прямо, смелее! Я люблю правду!

— Он надеется на помощь главного стре-

лецкого начальника, окольникового Шакловича-того.

— Пускай надеется! — воскликнул Пётр, топнув ногою. — Будь покоен: я твой защитник

РЕГЕНТСТВО БИРОНА.

I

На адмиралтейском шпице пробило девять часов. Огни в окнах петербургских домов погасли, и столица затихла. Один однообразный шум осеннего дождя нарушал глубокую тишину. Изредка прохожий, завернувшись в плащ и озябшею рукою держа над собой промокший зонтик, спешил к дому и робко поглядывал на Летний дворец. Там во всех окнах, на опущенных малиновых занавесях разлитое сияние свеч непрерывно меркло от мелькавших теней; заметно было, что во дворце из комнаты в комнату торопливо ходили люди. Это было 17 октября 1740 года.

В слабо освещённой зале, находившейся подле спальни императрицы Анны Иоанновны, дежурный капитан Ханьков шёпотом разговаривал с поручиком Аргамаковым. Они, как и все бывшие в зале вельможи и придворные, с беспокойным ожиданием вре-

менами глядели на дверь спальни.

Вдруг дверь отворилась, и обер-гофмаршал граф Левенвольд медленно вышел в залу, склонив голову на грудь и закрыв лицо платком.

— Всё кончено! — сказал он прерывающимся голосом. — Императрица скончалась!

Слова его, как сильный электрический удар, в один и тот же миг потрясли всех присутствовавших. Многие плакали, другие крестились, третьи, побледнев, сложили руки и склонили к земле мрачные взоры.

Упавшую в обморок племянницу императрицы принцессу Анну Леопольдовну, супругу принца Брауншвейгского Антона Ульриха, фрейлины тихо пронесли через залу в её комнаты.

За нею следовал супруг.

Когда её привели в чувство, она возвратилась в залу и, бросившись в кресло, начала горько плакать. Напрасно принц, стоя позади кресел и наклонясь к своей супруге, старался утешить и умерить её горечь.

Между тем в спальне слышно было рыдание, прерываемое громкими восклицаниями

и жалобами. Это был голос герцога Курляндского Бирона, возведённого милостью умершей Царицы из низкого состояния на такую степень почестей и могущества, какая только возможна для подданного. Долго рыдал он, стоя на коленях перед одром Императрицы, и ломал в отчаянии руки. Подле него стоял генерал-прокурор князь Трубецкой. В одной руке князь держал какую-то бумагу, другой по временам утирал слёзы, навёртывавшие на его глаза.

— Кто в зале? — вдруг спросил герцог, продолжая рыдать.

Князь Трубецкой, подойдя к двери и выглянув в залу, вновь приблизился к Бирону и назвал бывших в зале по именам.

— Подойдём к ним! — продолжал герцог, вставая. — Не теряя времени, объявим последнюю волю Императрицы.

Они вышли в залу, и Трубецкой начал читать бумагу, которую держал в руке. Все окружили его. Один лишь принц Брауншвейгский не отошёл от кресла, в котором сидела его супруга.

Властолюбивому Бирону во время тяжкой

и продолжительной болезни Императрицы неотступными просьбами не трудно было убедить её подписать акт о назначении его правителем государства на время малолетства избранного ею в преемники Иоанна Антоновича, сына принца Брауншвейгского.

Когда Трубецкой дочитал акт до того места, где говорилось о назначении правителя, то Бирон, предугадывая, как это будет оскорбительно для принца Антона Ульриха и его супруги, родителей младенца-Императора, взглянул на первого испытующим взором и сказал:

— Не желаете ли, ваше высочество, вместе с другими выслушать последнюю волю Её Величества?

Принц, внутренне оскорблённый вопросом наглого властолюбца, скрыл однако свои чувства и, отойдя от своей супруги, со спокойствием и а лице, приблизился к Трубецкому, чтобы дослушать акт, который читали.

На рассвете следующего дня объявили о смерти императрицы и о новом правителе. Сенат просил его принять титул высочества и по пятисот тысяч рублей ежегодно на содер-

жание его двора. Бирон, по воле которого сделаны были эти предложения, без затруднения согласился на то и другое. Если и ныне имя Бирона заставляет содрогаться русских, привыкших к милосердию и кротости, к этим наследственным добродетелям их венценосцев, то что должны были чувствовать наши предки, когда разнеслась весть, что Бирон, ужасавший их в течение десяти лет своими жестокостями, сделался их полновластным правителем; что ещё семнадцать лет будут они ожидать совершеннолетия императора и своего спасения.

Смеркалось. На деревянном Симеоновском мосту встретились два человека, в тёмно-зелёных, широких плащах. На низкий поклон одного другой слегка кивнул головой.

— Нет ли чего нового? — спросил последний по-немецки, осмотревшись и уверясь, что вблизи нет ни одного прохожего.

— Ничего важного не случилось, — отвечал на том же языке низкопоклонный. — Давеча утром я уже докладывал вашей милости, что вчера капитан опять был в известном доме на Красной улице, и что потом её высочество цесаревна Елиз...

— Т-с! Тише! Ты забыл, что мы на мосту! Вон, видишь, там кто-то идёт. Ну, а не разведал ты ещё ничего об его друге, поручике?

— Он заодно с капитаном; в этом нет никакого сомнения. Я узнал, между прочим, сегодня, что отец поручика втайне держится фео-досьевского раскола и старается обратить в свою ересь и сына.

— Право? Это не дурно! А где он живёт?

— Вон его дом.

Он указал на деревянный дом, уединённо стоявший на берегу Фонтанки, против нынешнего Екатерининского Института.

— Ещё узнал я, что отец поручика довольно богат.

— И это не дурно. Мы можем и его припутать к делу. Можно ли уличить его в том, что он держится раскола?

— Уличить мудрено. Он во всём запнётся. Вашей милости известно, что эти богомолы и пытки не боятся.

— Что для тебя мудрено, то для другого легко. Он безграмотный?

— Какой безграмотный! С утра до вечера всё сидит за своими писаными книгами.

— Тем лучше. Приготовь завтра клятвенное отречение от Феодосьевской ереси. Именем герцога я потребую, чтобы старый дурак подписал эту бумагу, в доказательство того, что он не феодосиянин. Увидишь, что он ни за что на свете не подпишет. Вот тебе и улика!

— Бесподобно вы придумать изволили!

— То-то же! Потом я скажу ему, что должен

буду доложить об его ослушании герцогу, и что он будет сожжён, как Возницын, за ересь и за старание отвлечь сына от православной веры.

— А все пожитки его конфискуем в казну? Понял ли я вашу мысль?

— Нет, любезный, не понял! Что за важная прибыль для казны от его имения? Это капля в море! И что мне и тебе за выгода сжечь одного русского дурака? Много ещё их на свете останется. Если бы дураки могли гореть, как плошки, и если бы всех их вдруг зажечь в Петербурге, то вышла бы великолепная иллюминация!

Довольный своею глупою остротой, он засмеялся.

— Иллюминация! Истинно иллюминация! — подхватил низкопоклонный с принуждённым хохотом. — Однако я всё ещё не понимаю вашего намерения.

— Я вижу, любезный, что в иллюминацию и тебя пришлось бы засветить, хоть ты и нерусский.

— Виноват! Иногда я бываю непростительно бестолков.

— Странно, что ты меня не понимаешь! Я хочу только проучить глупого старика. Будет с него и одного страха, а для меня довольно и одной сотни рублёвиков.

— А, теперь всё ясно! Помилуйте, да он заплатит и две сотни, лишь бы не подписать отречения от ереси.

— Увидим! Этот небольшой штраф послужит ему на пользу. Он, верно, и сам сделается умнее и сына перестанет тянуть в свою ересь. Им и нам будет хорошо. Не забудь же приготовить бумагу. Да смотри, никому ни слова! Я с тобой всегда откровенен и всех более на тебя полагаюсь. Умей ценить мою доверенность, а не то, берегись!... Я искусный охотник, а ты собака, которая должна отыскивать дичь. Долю ты свою получишь из добычи, хоть это и противно правилам охотников.

Низкопоклонный поцеловал руку и плечо у другого и несколько раз поклонился.

— Если же старый дурак, сверх всякого ожидания, подпишет отречение, — продолжал низкопоклонный, — то как вы поступите? Тогда план ваш расстроится.

— Ничуть! Подписанное отречение послу-

жит вместо письменного признания в ереси. Тогда в моей власти будет принудить богомола заплатить нам такой штраф, какой мне только вздумается. Если же он заупрямится, я донесу о нём герцогу. Даром никто не станет подвергать себя опасности и скрывать чужое преступление, за которое следует сжечь преступника. Тогда он сам будет виноват, если с ним так же строго поступят, как с Возницыным.

— Совершенная правда.

— О капитане и поручике приготовь подробное донесение. Не забудь написать и о том, что оба они с неуважением отзывались о герцоге. Завтра рано утром я представлю его высочеству это донесение. За домом на Красной улице вели усилить надзор. До свидания! Будь скромн и осторожен. Ты сам знаешь, как важно это дело!

Сказав ещё что-то вполголоса, оба завернулись в плащи и разошлись в разные стороны.

На берегу Фонтанки... но взглянем прежде, какова была она во времена Бирона; перенесёмся в Петербург 1740 года и прогуляемся от Невы до взморья, по левому берегу Фонтанной речки.

У её истока из Невы никакого моста тогда ещё не было. По берегам, в некоторых местах, укреплённых сваями, тянулись деревянные перила и узкие мостки для пешеходов. Напротив Летнего дворца, от Невы до церкви св. Пантелеймона, видно было несколько деревянных домиков, больших амбаров и обширное место, заваленное брёвнами и огороженное забором. Тут находилась партикулярная верфь, где строили мелкие суда для Невского флота[60].

Подле этой верфи находилась каменная церковь св. Пантелеймона, построенная чиновниками верфи во время царствования Императрицы Анны Иоанновны, вместо деревянной, которую воздвиг Пётр Великий, в память победы, одержанной им над шведским

флотом при Гангуте 27 июля 1714 года.

Далее на берегу Фонтанки стояло деревянное четырёхугольное строение, где хранились разные запасы для двора, отчего оно и называлось Запасным двором.

Церковь св. Симеона и Анны существовала уже в те времена; Её построила Императрица Анна Иоанновна в 1733 году вместо деревянной, которую соорудил Пётр Великий в 1712 году, во имя ангела четырёхлетней дочери его, Цесаревны Анны Петровны.

Далее за Симеоновским мостом возвышался загородный дом фельдмаршала Шереметева, окружённый рощей, которая граничила с Итальянским садом, простиравшимся от берега Фонтанки почти до Песков. Литейная улица делила этот сад надвое. Он получил своё название от каменного дворца, построенного при Петре Великом в итальянской вкусе, близ Фонтанки.

У деревянного Аничкова моста стояли триумфальные ворота, приготовленные для въезда Императрицы Анны Иоанновны в Петербург из Москвы после её коронации. Далее на берегу находилось подворье Троицкого мона-

стыря, несколько загородных домов, построенные при Императрице Анне Иоанновне фельдмаршалом Минихом, светлицы Семёновского и Измайловского полков, и наконец посреди деревни Калинкиной, близ взморья, в каменном казённом доме церковь св. Екатерины, построенная в 1720 году Петром Великим во имя ангела своей супруги, Екатерины I.

Теперь перейдём из Калинкиной деревни по узкому мостику на другой берег Фонтанки и возвратимся к Неве. Сначала пройдем длинную колонию адмиралтейские и морских служителей, потом охотный ряд, где продавали певчих и других птиц; войдем в Аничкову слободу, где жил подполковник Аничков со своим батальоном морских солдат по ту и по другую сторону Фонтанки; потом, мимо заборов и нескольких частных низеньких домов, приблизимся к ягд-гартену (саду для охоты), который начали устраивать с 1739 года для гона и стрельбы оленей, кабанов и зайцев, на том месте, где ныне Инженерный замок и площади, окружающие его. Потом, подойдя к Летнему саду, увидим Слоновый двор, устро-

енный в 1736 году для приведённого из Персии слона; церковь Св. Троицы, впоследствии перенесённую на Петербургскую сторону, на место сгоревшей там Троицкой церкви; грот, украшенный раковинами, и Летний дворец на берегу Невы.

Теперь по любой дороге возвратимся к начатому рассказу.

На берегу Фонтанки, близ Симеоновского моста, стоял двухэтажный деревянный дом купца Мурашёва. Фёдор Власьич (так его называли) был в своё время человек примечательный во многих отношениях. Во-первых, он построил против своего дома, на Фонтанке, огромный садок по собственному плану; во-вторых, он несколько лет поставлял рыбу для двора, не страшась интриг Бирона; в-третьих, ещё со времён Петра Великого брил бороду и одевался по-немецки, и, в-четвёртых, страстно любил книгу. Много перенёс он гонений за эту страсть от покойной жены своей, перенёс с таким же хладнокровием, с каким сносил Сократ капризы Ксантиппы.

Вместе с Мурашёвым жили сестра его, Дарья Власьевна, и дочь Ольга. Первая ещё при

Петре Великом на ассамблеях ратовала в рядах невест и наводила «сильную кокетства батарею»[61] на каждого гвардейского или флотского офицера. В десятилетнее царствование Императрицы Анны Иоанновны ассамблеи и вечеринки сделались редкостью, и едва ли кто мог сравняться с Дарьей Власьевной в тайной ненависти к Бирону, которого она, не без основания, считала главным виновником прекращения всех главных и частных увеселений. Можно ли было ей не называть величайшим злодеем того, кто неумолимо срыл до основания её батарею. От горести и отчаяния Дарья Власьевна перестала считать дни, месяцы и годы. Когда какая-нибудь приятельница нескромно спрашивала: «Сколько вам от роду лет?», Дарья Власьевна всегда притворялась тугой на ухо или рассеянной и заводила речь совсем о другом. Единственным её утешением сделались наряды, в особенности фижмы. В то время величина их соразмерялась со знатностью особы, бока которой они украшали. Всякая знатная дама считала тогда своей обязанностью походить на венгерскую бутылку с узеньким горлыш-

ком и широкими боками. Вероятно, с того времени вошло в употребление для знатных гостей отворять обе половинки дверей, потому что и тут многие дамы проходили не иначе, как боком. Сообразно с табелем о рангах, начиная от 1 до 14 класса, фижмы суживались, и у жён купцов и других нечиновных лиц среднего класса заменялись обручиками, которые нередко, по благоразумной, хозяйственной бережливости, снимались с разошедшихся огуречных бочонков. Жены простолюдинов лишены были привилегии носить обручки и пользовались только правом с удивлением смотреть на широкие фижмы, а иногда в церкви, при тесноте, трогать их тихонько пальцами, чтоб узнать внутреннюю сущность этих возвышений.

Дарья Власьевна, по званию сестры придворного поставщика рыбы, перешла неприметно от обручиков к маленьким фижмам. Видя, что никто её в течение нескольких месяцев на улице не остановил и не взял под стражу, она дерзнула надеть фижмы на четверть вершка пошире. Таким образом фижмы её, как растение, как два цветка, неприметно

росли и достигли величины, которая составляла нечто между фижмами коллежских секретарш и титулярных советниц. Не покидая мечтаний о замужестве, она тайно заготовила фижмы от 14 до 4 класса включительно, чтобы быть готовой тотчас одеться по чину будущего мужа, который, по её расчётам, мог быть и штатский действительный советник (как тогда говорили). Любимое времяпрепровождение Дарьи Власьевны состояло в том, что она, запёршись в своей комнате, поочерёдно примеривала перед зеркалом все свои фижмы и, надев, наконец, генеральские, повёртывалась на одном месте во все стороны, как на трубе павлин, распутивший хвост, танцевала минут, пробовала садиться в кресла и на стулья, ходила взад и вперёд по комнате и приседала то умильно, то гордо, воображая, что на публичном гулянье встречаются ей офицеры и приятельницы, и смотрят на неё, первые нежно, а вторые завистливо. Раз одна из знакомых свах шепнула ей, что на неё метят два жениха: молодой коллежский регистратор и пожилой бригадир, представленный к отставке с повышением чина. Бед-

ная Дарья Власьевна не спала целую ночь и всё мучилась нерешимостью: кому отдать предпочтение? Несколько недель взвешивала она на весах рассудка достоинства обоих женихов. Здесь русые волосы, красивое лицо, прямой стан, ваше благородие и маленькие фижмы; там лысина с седыми висками и затылком, морщины на лбу, небольшой горб, ваше превосходительство и широкие фижмы. Весы её склонялись то в ту, то в другую сторону, и долго бы остались в движении, если бы сваха не принесла, наконец, верного известия, что сообщённый слух о женихах вышел пустой.

Дочь Мурашёва, Ольга, была премилое существо. Умная, добрая, скромная, она никогда не пользовалась правом, неотъемлемым правом всех красавиц: при случае покапризничать. Отец любил её без памяти. Она одевалась со вкусом, не думала о фижмах и довольствовалась скромным обручиком, который не скрывал её прекрасного стана. Мурашёв, сам плохо знавший грамоту, передал ей все свои познания, и через год после начала курса наук принуждён был прекратить учение, пото-

му что ученица стала нередко помогать в истолковании ей в книгах мест, которые ставили в тупил самого учителя. Однажды Мурашёв выменял за пару карасей и за два десятка ряпушки у книжного разносчика (тогда не было ещё в Петербурге ни одной книжной лавки) лубочную картину погребения кота, книгу, напечатанную русской гражданской печатью в Петербурге, в 1725 году, под заглавием «Приклады как пишутся комплименты разные», и рукописную тетрадь, где были выписаны избранные места из сочинения «Советы премудрости, с итальянского языка чрез Стефана Писарева переведённые». Последнее сочинение при Бироне считалось запрещённым. Впоследствии переводчик поднёс его императрице Елизавете Петровне и в посвящении, между прочим, сказал: «О! Когда бы мне возыметь сие обрадование, чтоб по крайней мере сию книгу, так обществу полезную, пока я жив, напечатанной увидеть», Мурашёв, пригласив сестру свою к себе в комнату, запер дверь и заставил дочь читать вслух из Советов Премудрости наудачу раскрытую им страницу. Попалось место: «Жена, коя началь-

ствует в своём доме повелевательным умом, люта бывает к мужу. Жена, от которой страх имеется, поистине есть чего бояться! Со времени трепетания пред нею бывает она ужасною. Из глав зверей и гадов, голова змеиная наибедственнейшая есть и злейшая, и из гневов, женский гнев — наипугающий и прековарнейший в вымышлении изменительств и способов к погублению тебя. Звери укрощены и усмирены, или способы к избавлению и спасению себя от них бегом, изысканы быть могут; но рассерчение взбесившейся жены неизбежно есть. Ты не можешь ни укротить её, ни усмирить, да ниже и отбыть от неё. Её бедный муж, коего она непрестанно крушит, только что обыкновенно в приношении на неё жалобы упражняется, а кои его слушают, те только воздыханиями ему отвечают».

— Суцая истина! — сказал Мурашёв со вздохом. — Из всех гневов женский гнев есть наипугающий! Да!... Так, кажется, сказано? Одно средство против него: упражняться в приношении жалобы. Заметь это, Оленька, да прочти ещё что-нибудь.

Он раскрыл в тетради другую страницу.

Ольга начала читать: «Не допускай входить любви в твоё сердце, ниже в твои очи. Отвращайся от лица той жены, коя тебя соблазняет. Ничто так не страшно, как приятность и ласковость жены злохитрой. Бойся её приближения и приветливого приёма, бойся её разговора, её глядения и её осязания. Что в другом за ничто признаваётся, то в ней бедственным могуществом есть: довольно только одного глазом её мигнутия к повалению тебя, одного только волоса к потащению тебя! Самое бегство тебе мало полезно: буде ты увидел её прежде побежания, то не убежишь уже от неё далеко. Обещаемые ею тебе вещи имеют на её языке крайне бедственное обаяние. С самой той минуты, в которую её увидишь, начинаешь ты бояться, и о весьма скором времени твоего заплакания извещаться».

— Ну уж книга! — воскликнула Дарья Васильевна. — Да не с ума ли ты сошёл, братец? Ещё дочери даёшь читать такие соблазны.

— Полно, сестра! — возразил Мурашёв. — Ты ничего не понимаешь! Какие тут соблазны! Я тебе всё растолкую. Вот, видишь ли: злохитрая жена, то есть не всякая женщи-

на — ты этого на свой счёт не бери — а вообще, особа женского пола. Вот тут и пишется, что «довольно одного глазом её мигнутия к повалению тебя», то есть она — не успеешь мигнуть — даст тебе тычка так, что с ног слетишь. Потом пишется, что «бойся обещаваемых ею тебе вещей и её осязания», — помнится так — то есть не то, да не закрывайся платком, а слушай!

— Полно, братец, полно! Постыдись хоть дочки-то! В печь брошу я эту книгу!

— В печь? Да кто тебе даст? Советы премоудрости хочет бросить в печь! Ах ты, безумная! Я ведь знаю толк в книгах-то.

Начался между братом и сестрою жаркий спор, который мог бы вовлечь их в сильную ссору, но дочь помогла отцу защитить избранную им книгу и отстоять его знание в грамотном деле, простосердечно растолковав, что под видом злохитрой жены, вероятно, изображается порок, и что в книге даётся наставление остерегаться этого порока.

— Ну вот, вот! то и есть! — воскликнул с радостью Мурашёв. — Слышишь ли, сестра? Я тебе ведь то же толковал! Что же тут худого?

Племянница-то, я вижу, умнее тётушки.

— Скажи: и батюшки! — обиделась Дарья Власьевна. — Не верь, Оленька! Никогда не думай, что ты старших умнее.

Мурашёв хотел возразить, но не нашёлся, лишь проворчал сквозь зубы: «Дура!» и закрыл с неудовольствием «Советы премудрости».

«Сумасшедший! — подумала Дарья Власьевна. — Совсем с ума спятил от своих премудростей!»

— Тётенька! Носит ли фижмы Марфа Потапьевна, приятельница ваша? — спросила вдруг Ольга.

Этот вопрос имел силу громоотвода. Без него сбылось бы сказанное в «Слове о полку Игоревом»: «Быть грому великому!»

В день провозглашения Бирона регентом государства пришли под вечер в гости к Мурашёву капитан Семёновского полка Ханьков с молодым поручиком Аргамаковым, который был страстно влюблён в Ольгу.

— Что так давно не бывали у меня, дорогие гости? — говорил Мурашёв, усаживая офицеров на кожаный диван.

— Не до того было! — отвечал Ханьков.

— Да, да, Павел Антонович! Истинно, не до того! — продолжал хозяин шёпотом. — С позволения вашего, я сегодня с заутрени до вечера всё плакал да охал.

— Скоро и все заохаем! — заметил Аргамаков.

— Однако же, брат, прежде за дверь посмотри, а потом говори, — сказал Ханьков. — Подслушают, так и впрямь заохаеть.

— Никого дома нет, Павел Антонович. Сестра и дочка ушли в церковь, приказчиков я разослал осматривать мои невские садки, дворник сидит в своей будке на дворе. Домо-

вой, разве, с позволения вашего, нас подслушивает!... И всё же не мешает за дверь заглянуть.

Удостоверься, что в соседней комнате никого не было, хозяин продолжал:

— Правда ли, мои батюшки, что Бирон будет царством править? Слышал я и объявление, да всё как-то не верится. Что за напасть такая?

— Уж нечего говорить! Времена! — сказал Ханыков.

— Выходит, что Бирон до сих пор сидел с удой да ловил рыбу: попадались маленькие, иногда и большие, но все поодиночке, а нынче — с позволения вашего — он запустил невод и всех нас, грешных, и маленьких и больших, поймал! Нечего делать! Теперь мы все в его садке. Всякий сиди да жди, когда потащат на сковороду!

— Да ещё молчи при этом, как рыба! — прибавил Аргамаков.

Щука нечестивая! Кит проклятый! — воскликнул Мурашёв, ходя от волнения по комнате. — Из какого омута и каким ветром его к нам занесло! Жили мы без него в раздole, как

белуга в Волге. Вспомнишь, право, как мы, грешные, живали при царе Петре Алексеевиче, или при супруге его Екатерине Алексеевне, Сердце радуется! А е тех пор как завёлся этот иноземец Бирон — чтоб ему, с позволения вашего, щучьей костью подавиться! — всё идёт вверх ногами. Что вы? Что вы? Не бойтесь! Это сестра моя идёт, — продолжал он, подбежав в испуге к окошку и смотря на двор. — Чего вы испугались? Я уж по стуку услышал, что это она.

Вскоре вошли в комнату сестра и дочь Мурашёва.

При появлении Ольги у Аргамакова сильно забилось сердце от радости, как будто он не видел её уже несколько лет, а между тем они виделись не далее, как накануне. Дарья Власьевна, жеманно поклонясь гостям, села на софу, с которой те встали, и начала махать на себя веером.

— Ну что, сестра, много народу было в церкви? — спросил Мурашёв.

— Не слишком много. Всё больше простой народ. Только одну какую-то госпожу я заметила. Должно быть, знатная: большие фижмы

и шлейф очень-таки длинный. Трое несли!

— Ну дай Бог ей здоровья! — сказал Мурашёв, которому повседневные разговоры сестры о знатных давно уже надоели. — Шлейф! — продолжал он, усмехнувшись. — А что такое, с позволения вашего, шлейф, и для чего он волочится? Как смотрю я на него, меня всегда берет охота запеть:

*Щука шла из Новгорода,
Она хвост волокля из Бела-озера.*

Рыбе хвост помогает плавать, а шлейф людям только мешает ходить. Иной, словно невод: так и хочется запустить его в воду!

Ханыков улыбнулся, а Аргамаков, разговаривал в это время с Ольгой, и оба ничего не слышали.

— При выходе из церкви, — продолжала Дарья Власьевна, — попалась мне знакомая и проводила меня почти до дому. Что она мне порассказала — это ужас!

— А что такое? — спросил Мурашёв.

Она слышала от верного человека, кото-

рый служит двадцать лет уж при дворе и которому все важные дела известны, что правитель замышляет такие новости! Это ужас! Если он так будет поступать, то не долго усидит на своём месте.

— Вот тебе на! — воскликнул Мурашёв, взглянув на Ханькова. — Извольте прослушать, как нынче бабы рассуждают. Сестра, извольте видеть, не бывала ещё в Тайной Канцелярии! Ей очень туда хочется.

— Я надеюсь, что здесь нет лазутчиков, братец! — возразила, обидясь, Дарья Власьева. — Я без тебя знаю, где и что сказать.

При этих словах все невольно посмотрели друг на друга недоверчиво.

— Так! — прошептал Мурашёв. — Только всё-таки советую тебе быть поосторожнее.

— Что же вы слышали? — спросил Ханьков.

— Вообразите! Бирон хочет... нет! Не могу выговорить!... Что ему за дело до наших мод! И того не носи, и другого не носи! Что это за притеснение!

— Да что с тобой сделалось, сестра! — сказал Мурашёв. — Ты из себя выходишь. Если

бы и в самом деле герцог приказал обрезать шлейфы, например, многие бы ему спасибо сказали, особенно те труженики, которые целый день за их госпожами эти хвосты таскают.

— Шлейфы носят только за самыми знатными госпожами, а все прочие дамы, даже генеральши, завёртывают шлейф, как и я, на левую руку. Не о них и речь.

— Так о чём же? — продолжал Мурашёв. — Уж не о финжах ли, которые тебя чуть с ума не сводят?

— Да, сударь, о финжах, именно о финжах, от которых никто ещё с ума не сходил. Я знаю, что тебе и горя мало, хоть бы мучной куль велели носить родной сестре твоей вместо приличного наряда! Конечно, не до тебя дело касается, так ты и спокоен!

— Я стал бы носить что угодно. От того не сделался бы ни глупее, ни умнее. В «Советах премудрости» сказано, что...

— Ну!... заговорил о своих премудростях, конца не будет!

— Пожалуй, я и замолчу, только скажу тебе, что за один совет премудрости я охотно от-

дал бы все фижмы на свете, да ещё осётра средней величины в придачу!

— Ну так порадуйся: скоро фижм нигде не увидишь! Большие будет носить одна герцогиня, генеральшам позволят надевать маленькие, а уж бригадирша изволь-ка наряжаться, как наша кухарка, без фижм!) Может ли быть что-нибудь глупее и обиднее?

— Этого быть не может, сударыня! — сказал Ханыков. — Верно, знакомая ваша пошутила. Теперь герцогу не до фижм!

— Так вы полагаете, что этот слух пустой?

— Кажется.

— Пустой или нет, всё равно, — прервал Мурашёв. — А поужинать во всяком случае не мешает. Уже девять часов.

В это время вошёл в комнату дворник и сказал, что какой-то человек у ворот спрашивает Аргамакова. Все, бывшие в комнате, кроме Дарьи Власьевны, душа которой была погружена в фижмы, почувствовали от слов дворника неопределённый испуг. Мудрено сказать: произошло ли это от свойства сердца, которое может иногда предчувствовать близкое несчастье, или же от тогдашних вре-

мён, когда никто не мог считать себя ни на минуту в безопасности от доносов, пыток и гибели.

Аргамаков вышел к воротам и, вскоре возвратясь в комнату, сказал Ханыкову несколько слов на ухо. Тот вскочил со стула. Мурашёв заметил это и, взяв его за руку, подвёл к окну.

— Верно, недобрые вести? — спросил он шёпотом.

— Не совсем хорошие! — также шёпотом отвечал капитан. — Денщик Валериана Ильича прибежал сюда опрометью. Какие-то люди забрали все бумаги в комнатах его барина и в моих. Он подслушал, как они расспрашивали моего денщика: куда я с Валерианом Ильичом ушёл. Они идут сюда.

— Господи Боже мой! Что ж мы будем делать?

— Делать нечего! От Бирона и на дне морском не спрячешься.

Мурашёв большими шагами прошёл несколько раз взад и вперёд по комнате.

— Знаете ли, что я придумал? Спрячьтесь в мой садок. Я спущу тотчас же всех моих собак. Они привыкли от воров рыбу стеречь и

даже самого Бирона со свитой на садок не пустят.

— Вы себя погубите вместе с нами!

— Совсем нет. Я скажу только, что вы у меня были и ушли, а собак спустил я на ночь, как всегда это делаю. Пусть же допрашивают и пытаются моих собак, как они осмелились не пропускать на садок лазутчиков Бирона. При том, вероятно, этим господам и в голову не придёт там вас отыскивать, а вы, по крайней мере, успеете обдумать, что вам делать. Кажется, всего лучше как-нибудь пробраться до Кронштадта, откупить местечко на иностранном корабле, да и, с Богом, за море! Ведь хуже на тот свет отправиться!

— На это нужны деньги, а со мной только два рублёвика, — сказал Ханыков.

— У меня и того нет, — прибавил Валериан.

— Я вам дам займы. Червонцев пятьдесят будет довольно?

Ханыков пожал руку Мурашёву, а у Валериана навернулись на глаза слёзы. Это пожатие и эти чуть заметные слёзы выразили сильнее их благодарность, нежели все воз-

можные слова. Хозяин немедленно вынес из другой комнаты кошелёк и незаметно передал Валериану.

Во всё время, как они шептались, Ольга, отошедшая от окна и севшая на софу подле тётки, смотрела с беспокойством на своего отца, на Валериана и его друга.

Когда они все трое пошли из комнаты, Дарья Власьевна, всё ещё углублённая в прежние свои размышления, спросила Ханыкова, который прощался с нею:

— Итак, вы полагаете, что слух насчёт фикжм неоснователен?

— Я вижу, сестра, что в пустой фикжме более мозгу, чем у тебя в голове! — проворчал в досаде Мурашёв. — Пойдёмте, господа!

Валериан, выходя из комнаты, со вздохом взглянул на Ольгу, и взор его, казалось, говорил ей: «Прости навсегда!»

Капитан и поручик поспешно перешли с берега на садок, вместе с денщиком и Мурашёвым, за которыми бежали три огромные собаки, выпущенные из сарая. Они поочерёдно подбегали к офицерам и, тихонько ворча, смотрели на них недоверчиво.

— Цыц! Молчать! — закричал хозяин. — Это свои!

Собаки подбежали к Мурашёву, ласкаясь. Он ввёл офицеров и денщика в каюту, поднял за кольцо дверь, сделанную в полу, и указал им на верёвочную лестницу, спускавшуюся в нижний ярус садка.

— У кормы, — сказал он, — найдёте окошко, через которое легко будет, в случае нужды, перелезть в одну из лодок, привязанных к садку; Прощайте! Да сохранит вас Господь!

Выйдя из каюты, он ласково погладил собак. Они проводили его до перил, и, когда он запер решётчатые дверцы мостика, по которому входили с берега на садок, Руслан, просунув морду сквозь перила, лизал у Мура-

шёва руку, а Мохнатка и Полкан, положив передние лапы на перила, глядели в глаза хозяину и махали хвостом.

Валериан и друг его вскоре отыскали окно, о котором говорил Мурашёв. Оно было так узко, что человеку с трудом можно было пролезть через него. Отворив раму со стеклом, при наступившей вечерней темноте не без труда рассмотрели они несколько лодок, стоявших рядом и привязанных у кормы. Можно было прямо из окна спуститься в одну из них. Вскоре они услышали, как Мурашёв захлопнул калитку.

Потом всё замолчало, кроме воды, которая, тихо колыхаясь, как будто нашёптывала садку донос на спрятавшихся офицеров.

Через некоторое время собаки заворчали и начали лаять. Несмотря на их громкий лай, скрывшимся в садке было слышно, как кто-то стучался в калитку.

— Это, вероятно, посланные за нами! — воскликнул Аргамаков.

— Не воспользоваться ли тем временем, пока они будут обыскивать дом? Перелезем в лодку и поплывём к Неве; потом пустимся

прямо в Кронштадт, — сказал Ханыков.

— А если нас заметят?

— Но и оставаться нам здесь не менее опасно: нас легко отыщут. Решимся! Что будет, то будет!

Денщик надел найденный им на ларе кафтан, шапку и кожаный передник рыбака. Он перелез в лодку, осмотрел её и отвязал. Лай собак между тем усилился.

— Всё готово, барин! — сказал денщик, всунув в окно голову.

Офицеры спустились в лодку, легли на дно и, велев денщику накрыть их рогожею, поплыли к Неве.

— Думали ли мы, Валериан, сегодня, — сказал Ханыков, — что проведём ночь на такой плавучей постели и под таким одеялом? Мы теперь похожи на двух пой манных лососей. Я думаю, много их, бедняжек, под этою рогожею страдало и предавалось отчаянию. Положение их, конечно, было ужаснее нашего: у нас ещё остаётся надежда на спасение, а у них не могло оставаться никакой.

— Удивляюсь, как ты можешь сейчас шутить! — сказал Валериан.

— А что ж, разве лучше, по-твоему, унывать? — возразил Ханьков. — Я давно уверился, что моё хладнокровие гораздо полезнее твоей чувствительности. Люди пылкие, похожие на тебя, почти каждый день смотрят на мир разными глазами: он кажется им то раем, то адом. Сколько раз готов ты был броситься в Неву, когда казалось тебе, что Ольга тебя не любит, и сколько раз залетал ты за облака от восторга, когда примечал какой-нибудь ласковый её взгляд, какое-нибудь слово, которое ты мог растолковать, хотя и не без натяжки, в свою пользу. Флегматик же, как ты меня называешь, всегда на мир смотрит одинаково. Например, теперь я смотрю на него, лёжа на дне лодки, сквозь прореху в рогоже. Хотя это совершенно новый взгляд на мир, однако ничего нового и особенного я не вижу, потому что вечер претёмный, на наше счастье. Ничего нет нового под луною. Ба! Да вот и она, очень некстати, выползает из-за облака; нас могут теперь скорее увидеть и остановить. Денщик! Далеко ли ещё до Невы?

— Уже недалеко, ваше благородие!

— Гребь сильнее! — сказал Аргамаков.

Между тем секретарь Бирона Гейер (служивший в молодых годах форејтером в то время, как дед Бирона был главным конюхом герцога курляндского Якова III) с четырьмя лазутчиками, обыскав весь дом Мурашёва, приказал хозяину вести их на садок. У Мурашёва сильно забилося сердце; он не знал, что Валериан и друг его в то время приближались уже к Неве. Взяв ключ, повёл он незваных гостей на садок. Когда он подошёл к перилам и начал отпирать дверцы, все три собаки подбежали к нему.

— Усь! Чужие! — шепнул Мурашёв, и собаки, передними лапами вскочив на перила, подняли такой лай на приближавшегося Гейера и его подчинённых, что все они, струсив, остановились, и секретарь герцога закричал:

— Не отпирай! Не отпирай! Прежде уведи собак или привяжи их.

— Осмелюсь доложить вашей милости, что они и меня загрызут. Мне с ними не сладить. Они одного моего приказчика слушаются, да, на беду, его теперь дома нет.

— Ты ещё рассуждать смеешь! — закричал Гейер, топнув. — Именем его высочества пра-

вителя приказываю тебе этих собак увести и привязать. Малейший вред, который они кому-нибудь из нас нанесут, будет сочтён оскорблением его высочества.

— Воля ваша! Если они загрызут меня до смерти и потом бросятся на вас, то я ни за что отвечать не буду. И в одной письменной книге, с позволения вашего, написано, что великий князь Святослав изволил сказать: мёртвые бо срама не имут, то есть ни за что не отвечают.

— Свяжите его и ведите за мной! — закричал Гейер. — Завтра же донесу о тебе его высочеству как о бунтовщике и ослушнике.

Мурашёва связали. Гейер, приказав одному из лазутчиков остаться на берегу до возвращения приказчика для обыска садка, хотел уже идти, как вдруг, при свете месяца, увидел несколько человек, которые к нему приближались.

— Ба! Это, кажется, наши! — сказал он. — Они ведут трёх связанных. Браво! Гуси пойманы.

Валериана, друга его и денщика вели шесть лазутчиков, одетых в платье гребцов.

Мурашёв побледнел и устремил на офицеров взор, в котором выразалось глубокое сострадание.

— Где вы нашли их? — спросил Гейер.

— По приказанию вашему, — отвечал один из лазутчиков, — мы дожидались вас на катере у невского берега, против крепости. Заметив лодку, выплывшую на Неву с Фонтанки, мы начали за нею наблюдать. Вскоре увидели мы, что офицер привстал со дня лодки и опять скрылся. Тотчас же пустились мы в погоню. Этот господин, — продолжал он, указывая на поручика, — схватил катер наш за борт и хотел опрокинуть, но мы не допустили.

— Отдайте ваши шпаги! — сказал Гейер.

— Возьмите сами, — отвечал Ханьков. — У меня руки связаны, как видите.

— Я никому своей не отдам, кроме командира! — вскричал Валериан.

— Полно, братец, понапрасну горячиться! — шепнул его друг. — Чем более будешь оказывать сопротивления, тем будет для нас хуже.

Один из лазутчиков вынул из ножен шпаги офицеров.

— Обыщи их карманы! — продолжал Гейер, — не спрятано ли там оружие?

У Ханькова нашлись два рублёвика, у Валериана кошелёк с пятьюдесятью червонцами.

— Подай сюда! — сказал Гейер, жадно глядя на золото. — Я эти деньги должен представить его высочеству. А ты что за человек? — продолжал он, обратясь к денщику, переряженному рыбаком. — Ба! Я по платью вижу, что ты очень знаком хозяину этого садка.

— Вы ошибаетесь. По платью о людях судить не должно, — заметил Ханьков. — Это денщик поручика. Хозяин садка нисколько не участвовал в нашем побеге. Мы тихонько отвязали лодку от берега, нашли в ней это платье, нарядили денщика и поплыли.

— Это всё будет проверено. Завяжите арестантам глаза и ведите всех за мной! Двое из вас останьтесь в этом доме и никуда не выпускайте дочь и сестру этого старого плута. Их также надо будет завтра допросить.

Вся толпа двинулась и вскоре подошла к Летнему дворцу. Гейер вошёл в комнаты и велел доложить о себе герцогу.

— Он очень занят, и никого не велел принимать, — объявил камердинер герцога.

— Скажи его высочеству, что весьма важное дело.

Через несколько минут Гейер был позван во внутренние покои дворца. Пройдя через залу, он вошёл в кабинет герцога и потом в уборную герцогини. Там правитель с супругою и братом, генералом Карлом Бироном, сидели за столом и играли в бостон.

— Господин секретарь! — сказал герцог, тасуя карты. — Я не велел никого принимать, но для тебя делаю исключение. Ты никогда не употреблял во зло моей доверенности, знаешь свою обязанность и не станешь, надеюсь, разглашать о тайных занятиях регента, особенно в нынешнее время.

Он усмехнулся и начал сдавать карты. Гейер низко поклонился, остановившись у дверей. — Это единственное моё развлечение после дневных, тягостных трудов. Ну, что же скажешь, Гейер?... В сюрсах шесть!... Что у тебя за дело?

— Поручик и капитан, о которых сегодня ваше высочество изволили мне дать приказа-

ние, взяты.

— Где они сейчас?... Ну, брат, умело сходил! Разве не видел ты, что два короля и две дамы уже вышли?

— Они теперь у крыльца стоят, связанные.

— Кто? Два короля и две дамы? — заметил Бирон, улыбнувшись. — Дурак ты, Гейер!

— Я отвечаю на вопрос об арестантах вашему высочеству, — сказал секретарь с подобострастной ухмылкой.

— Не мешай! Завтра утром об этом деле поговорим. Посади их, куда должно, допроси по порядку и потом доложи... Ну вот и ремиз! Ты, мой почтенный братец, понятия не имеешь об игре.

— С ними ещё взят придворный рыбный поставщик Мурашёв и денщик их, потому что...

— Убирайся к черту! Кончишь ли ты сегодня? Сказано тебе, всех допроси и доложи. Ступай!... Гран-мизер-увёрт!

Секретарь, низко поклонясь, вышел из дворца и велел вести арестантов за собою. Глаза у тех были завязаны.

— Можно ли нам разговаривать между со-

бою, господин секретарь? — спросил Ханьков.

— Позволяется, — важно ответил Гейер, довольный покорностью капитана. Он подумал ещё, что из разговоров своих арестантов сможет узнать немного их характеры, и что это ему поможет успешнее провести допросы.

— Валериан! Валериан! Ты здесь? — продолжал Ханьков.

— Здесь.

— Боже мой, какой у тебя печальный голос! Полно унывать! Всё пройдёт.

— Конечно! И жизнь нам на то дана, чтобы она прошла.

— В самом деле, Валериан Ильич, не горюйте прежде времени! — сказал шёпотом Мурашёв. — У меня есть книжка, именуемая «Советы премудрости»; в ней, я помню, написано: «Не обременяй себя тужением и грущением. Когда случается тебе какое-либо печальное приключение, то держи ты совет с твоим рассуждением, и с ним решение чини, не торопяся и грустяся». — Ба! Мы, кажется, идём теперь куда-то вниз, будто с горки. А вот теперь поднимаемся на какой-то мостик. Как

доски-то гнутся под нами! Как бы не провалиться, грехом! Вот слезли с мостика. Где мы теперь — Бога весть! Кажется, около нас вода шумит. Точно! Мы в лодке плывём. Уж не пошлют ли нас на дно рыбу ловить?

— Перестань! — закричал Гейер. — Говори, да не заговаривайся!

— Извини меня, глупого, господин секретарь! С горя мало ли что сболтнётся. И в некоторой мудрейшем книге сказано: «Сей для тебя лучший совет, чтоб иметь твой рот за замком. Но как непрестанно надлежит его — отпирать и говорить, когда причина и нужда того требуют, то кажется, что сие замыкание не может быть великою пользою». — А впрочем, как прикажете.

— Теперь я ничего не приказываю, — сказал Гейер. — Только знай, любезный, что какой бы ни висел на твоём рту замок, у меня есть ключ, который все замки отпирает.

Через некоторое время арестантов опять высадили на берег и повели дальше. Потом они заметили, что идут по каменному полу коридора. Шум шагов их глухо отдавался под сводом. Вскоре заскрипела тяжёлая дверь, за-

хлопнулась за ними и щёлкнул два раза ключ.

— Развяжите им глаза и руки, — продолжал Гейер.

— Боже мой! Где мы? — воскликнул Валериан. Ханыков мрачно осмотрелся, нахмурил брови и взял своего друга за руку. Мурашёв и денщик, озираясь, начали креститься.

Висевший под сводом фонарь освещал довольно объёмную комнату с каменным полом. В ней не было видно ни одного окна, ни малейшего отверстия, кроме железной двери. Небелёные кирпичные стены и крутой свод над ними при слабом свете фонаря казались выкрашенными кровью. Под фонарём стоял дубовый стол, на котором около глиняной чернильницы лежали в беспорядке бумаги. Вдоль стен расставлены разные орудия и машины странного вида. Напротив стола, на стене, висели большие часы.

Гейер, севши к столу, придвинул к себе связку бумаг, потёр руки, как человек, принимающийся за любимое занятие, важно посмотрел на арестантов и сказал:

— По приказанию его высочества регента

я должен вас допросить. Надеюсь, что вы будете отвечать удовлетворительно и не скроете ни малейшего обстоятельства, нужного для ясности дела. Объявляю вам, что эта крепкая железная дверь не отворится, пока не признаетесь во всём том, в чём вы обвинены самыми верными доказательствами пред его высочеством, регентом целой России и моим всемилостивым патроном и благодетелем. Какая бы чёрная была с вашей стороны неблагодарность за все его благодеяния, за все тяжкие труды, которые он подымлет ко благу общему и вашему, если б вы, вместо искренности, вместо уверенности в его великодушии, вздумали оказывать притворство, лицемерие и скрытность! Везде, везде видны следы его мудрости, его неусыпных попечений! В прежние времена, когда ваша Россия... что я говорю!... когда наше дражайшее отечество погружено было во тьму грубейшего невежества, кто из исполнителей тогдашних законов стал бы на моём месте терять слова и стараться довести вас до признания убеждениями? Вас бы велели тотчас же пытаться, не сказав вам ни слова; но ныне уже не те времена. Его высоче-

ство регент и мой всемилостивый патрон, в Германии почерпнувший своё глубокое просвещение, пересадила, по мере возможности, плоды образованности и на здешнюю ледяную и часто неблагоприятную почву. Между многими благодетельными учреждениями он отменил унижительную для человечества русскую пытку, которая употреблялась только для воров и грабителей, и ввёл порядок пытки европейский, наблюдаемый во всех просвещённых государствах. Будьте уверены, что я не отступлю и теперь от этого порядка ни на волос. Франц Гейер всегда умел строго и точно исполнять свои обязанности. Но пора уже приступить к делу. Господин капитан Ханьков обвиняется в том, что он неоднократно был в доме её высочества цесаревны Елизаветы Петровны и нередко имел с нею продолжительные разговоры; что отзывался в дерзких выражениях о его высочестве регенте; что он осмелился сомневаться в силе и действительности акта о регентстве и упоминать о давно забытом и лишившемся всякой силы и действия завещании покойной Императрицы Екатерины I, по 8-й статье которого цеса-

ревна Елизавета Петровна непосредственно по кончине императора Петра II, будто бы имела, равно как и ныне будто бы имеет неоспоримое право на всероссийский престол. Что скажете вы на это, господин капитан? Заметьте, что всё мною прочитанное, не подлежит уже ни малейшему сомнению; что ваше преступление доказано, и что вас допрашивают только для того, чтобы вы искренним и подробным признанием показали своё раскаяние, открыли всех ваших сообщников, объяснили все ваши тайные планы и намерения и тем преклонили его высочество к великодушию. Это единственный способ спасения. Отвечайте, господин капитан!

— Я точно был несколько раз у её высочества, но никаких худых намерений против правителя никогда не имел и не имею.

— Итак, вы намерены упорствовать и не признаваться? Жалею, очень жалею вас... но делать нечего. Господин поручик! Вы обвиняетесь как друг и сообщник капитана, знавший все его действия и решившийся ему способствовать во всех его зловредных планах. Чем оправдаетесь вы? Сверх того, вы должны

подробно объяснить! когда и как отец ваш старался вас увлечь в феоодосьевскую ересь?

— В этих обвинениях только то справедливо, что я #руг капитана. Я горжусь этим! На остальное отвечать не хочу: всё это самая низкая клевета!

— Ого, как вы горячитесь! Это весьма неблагоразумно, любезный поручик. Ну а вы что скажете? — продолжал Гейер, обратясь к Мурашёву и денщику. — Так как ты хотел способствовать побегу капитана и поручика, то, верно, принадлежишь к числу их сообщников; и ты, денщик, должен мне также всё сказать, что знаешь. Отвечайте!

— С позволения вашего, — сказал Мурашёв дрожащим голосом, — осмелюсь доложить, что я нисколько не помогал капитану и поручику в их побеге. Это они сами объявили уже вам. Притом я, кроме доброго, ничего об них не слыхал и сказать не могу.

— Я также ничего знать не знаю и ведать не ведаю, ваше высокоблагородие! — продолжал скороговоркою денщик, вытянувшись. — Моё дело исполнять, что приказывают.

Итак, вы все, как я вижу, не признаетесь

и принуждаете меня приступить к действию, которое называется в Германии Verbalterrition. Я, может быть, неблагоприятно поступаю, открывая вам, любезные мои капитан и поручик, порядок и технические названия моих действий; но это по крайней мере удостоверит вас, что его высочество регент и мой всемилостивый патрон умеет избирать исполнителей просвещённых, аккуратных, не отступающих ни на шаг от своих обязанностей. — Гейер встал, велел подойти к стене арестантам и, указывая по порядку на расставленные машины и орудия, продолжал:

— Для достижения истинного и полного признания обвиняемых собраны здесь разные средства, которые я должен объяснить вам, по моей обязанности.

Подробно описав орудия пытки[62], Гейер, в заключение, объявил арестантам, что для избежания истязаний остаётся им один способ: полное признание в преступлениях. Все отвечали то же, что и прежде.

— Вы меня принуждаете приступить к действию, называемому Verbalterrition. Госпо-

дин капитан! Не угодно ли вам вложить левую руку в эту стальную машину. Эй, вы! — продолжал Гейер, обратясь к своим подчинённым, — покажите капитану, как это сделать должно. Хорошо! Заверните теперь винт. Довольно! Господин капитан, при втором повороте винта вы почувствуете боль нестерпимую. Признавайтесь!

— Нет, я не могу признаться в том, в чём не виноват.

— И Verbalterrition, то есть действие инструментов без причинения боли, как вижу, на вас не действует. К сожалению, теперь должен я приступить к действительной пытке. Поверните винт!

Ханыков стиснул зубы и побледнел.

— Третий поворот винта увеличит боль вдесятеро. Признаетесь ли?

— Я невинен; говорю вам, что невинен!

— Не упорствуйте, капитан. Даю вам сроку пятнадцать минут. Если не признаетесь, то велю повернуть ещё раз винт, — и тогда не ручаюсь за целостность костей в вашей руке. Взгляните на часы: теперь без двадцати минут полночь. Так и быть! Даю вам двадцать

минут сроку.

— Замучьте меня до смерти, но я всё буду говорить одно и то же! — сказал твёрдо Ханьков.

Посреди последовавшего молчания раздавался только однообразный звук маятника. Каждый удар его болезненно отзывался в сердцах арестантов. Ханьков посмотрел на часы. Оставалась одна минута до истечения данного ему срока. Ослабев от страдания, он почти уже решился признанием избавиться от пытки и безвинно умереть на плахе.

В это время раздался стук в двери.

— Кто там? — спросил сердито Гейер.

— Отопри! — раздался повелительный голос.

Гейер торопливо схватил со стола ключ, подбежал к двери и отворил её. Вошли два человека с факелами и за ними герцог Бирон. По данному им знаку дверь опять заперли. Лицо его было мрачным, брови нахмурены.

— Покажите мне признание преступников, — сказал он Гейеру.

— Ваше высочество! Я ещё не успел...

— Не успел? — закричал герцог, топнув но-

гой. — А что я тебе приказывал сегодня утром? Я велел не терять ни минуты. Научу ли я тебя не медлить с исполнением повелений регента!

— Ваше высочество сегодня вечером изволили повелеть, чтобы завтра...

— Ты ещё осмеливаешься мне возражать!? Молчи, бездельник. Завтра!...Я велю обуть тебя и всех твоих ленивцев в испанские сапоги и оставить в них до завтра. Я надеялся, что ты, не ожидая моих приказаний, постараешься сегодня же всё узнать и меня успокоить; но тебе, я вижу, всё равно: спокойно ли сплю я ночь, или нет. Что ты делал до сих пор? Говори! Ты у меня был в девять часов вечера, а теперь полночь.

Оробевший Гейер, зная из многих примеров, что милость герцога от самых маловажных причин, а часто и без причины, переходит в ненависть, решился прибегнуть ко лжи, чтобы успокоить герцога, и отвечал, заикаясь:

— Я всех арестантов пытал по порядку мекленбургским инструментом. Никто ни в чём не признался.

— А испанские сапоги? Всё мне надобно тебе указывать!

— Я решился прежде испытать действие этой стальной машины.

— В который раз винт повернут?

— Во втор... в третий, ваше высочество.

Бирон осмотрел внимательно машину и нахмурился.

— В забранных бумагах преступников не нашлось ли чего-нибудь?

— Ни одной подозрительной строчки.

Герцог сел к столу и начал перебирать бумаги. Наконец, подняв глаза и взглянув на Ханькова, он спросил:

— Это кто?...

— Капитан Ханьков, главный из обвиняемых, — отвечал Гейер.

— Итак, ты не хочешь ни в чём признать-ся? — сказал герцог, устремив на него грозный взор.

— Я невинен, ваше высочества!

— И ты мне это смеешь говорить! — закричал Бирон, застучав кулаками по столу и вскочив со стула. — Отверните винт! Возьми его, Гейер, и вели замуровать, — пусть он, за-

му рованный в стене, умрёт с голоду!

Все содрогнулись. Ханыков, призвав на помощь всё своё хладнокровие, твёрдо сказал герцогу:

— Я готов на казнь, какую угодно! Повторяю, что я невинен. Если вашему высочеству угодно казнить меня по неизвестным мне причинам, — казните!

— Зачем был ты в доме её высочества?

— Она тайно благодетельствовала покойному отцу моему. Благодарность в сердце сына не есть ещё преступление.

— Чем докажешь ты, что одна благодарность заставляла тебя посещать дом её высочества, и что под этим предлогом не скрывал ты злых намерений против меня?

— В бумагах моих вы, вероятно, можете отыскать письмо отца моего, которое я получил незадолго до его смерти, во время похода: оно удостоверит ваше высочество, что я говорю правду.

Герцог, пересмотрев бумага, нашёл письмо, о котором говорил Ханыков. В нём отец его писал о своей усилившейся болезни и завещал сыну за благодеяния, оказанные ему

цесаревной Елизаветой, питать к ней, во всю жизнь, благодарность.

Прочитав внимательно письмо, Бирон задумался.

— Это письмо ничего не доказывает... В чем обвиняются все прочие преступники? — спросил он Гейера.

— Они обвиняются только как сообщники капитана.

— Хотя доказательства преступлений ваших слишком ясны, — продолжал Бирон, — но я хочу всем вам показать, как я охотно прощаю виновных тогда, когда это не угрожает общей безопасности. Гейер! Освободить их теперь же! Однако же предупреждаю вас, что если после этого вы в чём-нибудь ещё окажетесь виновны, хоть в одном дерзком или нескромном слове, то не ждите уже пощады.

Ханькову и всем прочим завязали глаза, взяли их под руки и вывели в коридор. Вскоре они почувствовали себя на свежем воздухе. Потом их посадили в лодку, долго везли и, высадив на берег, повели далее.

Наконец толпа остановилась. Прислужники Гейера развязали всем глаза и начали кла-

няться капитану, поручику и Мурашёву.

— Имеем честь поздравить! — сказал один из них.

— С чем? — спросил Ханыков.

— С милостью герцога. А на водочку-то нам, ваше благородие! — продолжал прислужник, почёсывая за ухом. — Ведь немало мы из-за вас хлопотали сегодня!

Мурашёв, пожав плечами, дал ему рублёвик, и прислужники, пожелав всем спокойной ночи, удалились.

— Где мы теперь? — спросил Ханыков, осматриваясь.

Сквозь тонкий ночной туман, расстилавшийся в нижних слоях воздуха, с трудом можно было различить вдали освещённые месяцацем здания.

— Мы, кажется, посередине Царицына луга, — сказал Мурашёв. — Вон, справа чернеет Летний сад, а слева видна Красная улица. Уф, батюшки! не в аду ли мы были?... Куда же пойдём теперь? Милости просим ко мне: дом мой недалеко отсюда.

Все пошли к дому Мурашёва. Приблизясь к воротам, начали стучаться в калитку.

— Кто там? — закричал прислужник Гейера, выглянув из окна.

— Я хозяин этого дома. Пустите!

— Убирайся! Нам приказано стеречь дом и никого не впускать сюда.

— Вот тебе на! Хозяина в свой дом не пускают! Послушай, любезный, его высочество, сам герцог...

Окно захлопнулось, и Мурашёв замолчал. Как ни стучались в калитку, всё понапрасну.

— Что станешь делать? — воскликнул Мурашёв. — Придётся ночевать на улице, у ворот своего дома.

— Пойдёмте к моему батюшке! — сказал Аргамаков. — Вон, дом его отсюда виден.

— Это дело! — подхватил Мурашёв. — Да пустит ли он нас? Ведь он такой пустынный!

Вскоре все приблизились к воротам дома, постучались, но никакого ответа не было. Отец Аргамакова, строго соблюдавший прави-

ла феоdosьевщины, наложил на себя две тысячи земных поклонов за то, что впал в суету, то есть сообщился в тот день с никонианами [63]. Умирая от жажды, он остановил на улице разносчика и выпил два стакана квасу из кружки, к которой прикасались губы, без сомнения, многих никониан. Раздавшийся у ворот стук застал его на тысяча двадцать пятом Поклоне. Если б в это время сказали ему, что сын его упал в Фонтанку и тонет, то прежде досчитал он положенное число поклонов, а потом бы уж побежал спасать сына[64].

Даже хладнокровный Ханьков начинал уже терять терпение, когда отворилась фортка, и шарообразно обстриженная голова с седой бородой высунулась оттуда[65].

— Кто там?

— Это я, батюшка!

— Да ты не один?

— Это два моих приятеля и мой денщик. Нельзя ли нам ночевать у вас? Мы были все в большой беде, но она счастливо миновалась.

— В беде? Что мудрёного! Кто нынче по ночам бродит, тот как раз в беду попадёт. Нынче и днём-то ходи да оглядывайся.

— Да нас только что из-под стражи выпустили. Мы так измучились, что не в силах идти далее и ляжем спать на улице, если нас не впустите.

— Не впустите! Кто тебе говорит это? Грешно было бы вас не впустить: теперь вы почти то же, что бесприютные странники. Подождите, я сейчас отворю ворота.

Мудрено описать ужас и сожаление старика Аргамакова, когда сын, войдя со всеми прочими в дом, рассказал ему их приключение.

На другой день, когда все проснулись и встали, старик Аргамаков пригласил всех к завтраку и посадил сына с гостями за большой стол, а сам сел за особенный, чтобы в пищу и питье не сообщиться с никонианами.

— Давно уж мы не видались с вами, Илья Прохорович! — сказал Мурашёв. — А близко друг от друга живём!

— Что делать, Фёдор Власыч! Не одного мы стада овцы.

— С позволения вашего, это для меня очень прискорбно. В старину мы были очень с вами дружны, хлебали часто вместе стерляжью уху, лакомились осетриной, но с тех пор,

как вы рассудили перекреститься в фео-
досьевскую веру, ни разу вместе ухи не хлебали.

— В фео-досьевскую? Что за фео-досьевская!
Скажи — в истинную, Фёдор Власьич.

— С позволения вашего, я спорить с вами
не стану, У меня есть книжица небольшая,
именуемая «Советы премудрости», в ней ска-
зано: «Неоднократно во всяком веке случает-
ся, что маленький философ хватается свиде-
тельствовать веру, или переделывать элемен-
ты и перевёртывать свет низом вверх. Не до-
веряй сам себе и твоему рассуждению. Новиз-
на есть такой путь, который приводит к древ-
нейшему греху, то есть отступлению. Причи-
ною всегдашнего усматривания находивших-
ся в таком погибельном и злосчастливом пу-
тии многих знатных особ, сие есть, что бес
всегда по оному пути прежде всех ходил. Ка-
ков бес ни есть, однако в такое время, когда
он через притворство показывает себя богояз-
ливым, бывает угоден женскому полу».

— Фёдор Власьич! Пристало ли тебе в моём
доме говорить мне укорительные слова? Ни-
кто из наших братьев не походит на беса,
не притворствует и не угождает женскому; у

нас главное правило: убегать от всякой женщины.

— Вы не поняли меня, Илья Прохорович! Я хотел только сказать, что большие философы, то есть настоящие мудрецы, никогда не берутся свидетельствовать веру, а хватаются за это маленькие, и всегда с истинного пути сбиваются. Вашу, например, веру установил, как говорят, дьячок Крестецкого яма, Феодосий. С позволения вашего, мне кажется, что его и маленьким-то философом назвать нельзя: он был дьячок да и только; а многих, однако, приманил на свою уду и поймал.

— Фёдор Власьич! Не порицай при мне нашего учителя и не осуждай ближнего за его звание. Бог смотрит на сердце, а не на звание наше.

— Не сердитесь, Илья Прохорович! Я, пожалуй, замолчу; но, с вашего позволения, никогда бы не поверил я дьячку.

— Все вы, никониане, так упорствуете против истинного учения!

— Да чем доказать можно, что оно истинно?

— Чем!... чем!... Давай, например, мне са-

мого злого зелья: я выпью — и мне ничего не сделается. Уверуешь ли ты тогда? Поклянитесь все вы, теперь меня слушающие, обратиться к вере истинной, если увидите совершившееся чудо. Поклянитесь! Я сейчас готов испить чашу с зельем для обращения и спасения вашего. Не отступлю от веры истинной до конца! Не испугаешь меня и ты, правитель нечестивый, еретик Бирон! Вели сжечь меня: я готов принять венец мученический; не утрашусь угроз твоих.

— Разве Бирон угрожал вам, батюшка? — спросил молодой Аргамаков, которого привели в беспокойство последние слова отца.

— Да, любезный сын. На меня кто-то донёс ему; секретарь его приходил ко мне и объявил, что меня сожгут, как Возницына, а всё моё имение возьмут в казну, если я не подпишу клятвенного отречения от веры моей. Он дал мне два дня на размышление.

— Боже мой! — воскликнул сын, вскочив со стула. — Батюшка! Неужели вы захотите погубить себя?

Он любил искренно своего старого отца, несмотря на все его странности. Никогда и

мысленно не осуждал он его усердие к расколу. Честность старика Аргамакова, его бескорыстие и готовность помогать ближнему невольно заставляли всякого уважать его, кто имел случай узнать его поближе. Сын всегда избегал прений с отцом своим о вере, убедясь из опытов, что они огорчали только старика, зато и старик горячо любил своего сына за его почтительность, никогда не сердился на него за разность религиозных мнений и питал в душе тайную надежду, что пример его и кроткие убеждения побудят, наконец, сына принять учение, которое считал старик истинным.

Гибель, грозившая отцу, принудила молодого Аргамакова высказать ему все, что он думал об учении феодосьевского раскола. С жаром просил он его не противиться воле Бирона и отказаться от своего заблуждения.

— Вот до чего дожил я! — воскликнул старик, подняв глаза к небу. — Сын искушает меня и хочет ввергнуть Душу в вечную погибель! Нет! Не будет этого. Замолчи, искушитель! Не совратишь тебе меня с пути истинного; не лишишь ты меня венца мученического.

Вижу, вижу тайные помыслы твои. До сих пор я не давал тебе благословения на женитьбу, и ты надеешься, что, совершив меня с пути спасения, упросишь благословить тебя на брак. Не губи отца твоего для угождения страстям своим. Не соглашаясь на женитьбу твою, я надеялся сохранить для тебя сокровище целомудрия и открыть двери райские. Я желал тебе добра, нескончаемого блаженства, а ты...

Старик закрыл лицо руками и заплакал.

Бог свидетель, — воскликнул с жаром сын, — что я не о себе теперь думаю, батюшка: одна любовь к вам заставила меня говорить.

— Через день меня не будет уже на свете: пострадаю за мою веру. Пусть прах мой обратится в пепел и развеется ветром: временный огонь спасёт меня от вечного.

Сказав это, старик подошёл к сундуку и вынул оттуда кожаный кошелёк, наполненный золотом.

— Любезный сын! Вот все, что я накопил честными трудами в течение целой жизни. Отдаю это тебе... Не забывай бедных... Если ты уже не можешь быть счастливым в этой

жизни без брака, даю тебе моё благословение... Прости, Господи, слабость мою!... Потщись, любезный сын, другими добрыми делами вознаградить неоценённое сокровище целомудрия, которое ты потеряешь, и заслужить вечное блаженство. Будь счастлив и в этой жизни и в будущей, и молись за грешного отца твоего.

— Нет, любезный батюшка! Вы не умрёте: я спасу вас во что бы то ни стало.

Ханыков, погруженный в мрачные размышления, ходил взад и вперёд по комнате. Мурашёв, растрогавшись, утирал рукавом слёзы, которые навёртывались на его глаза. Старик Аргамаков возбуждал к себе чувство, в котором уважение к его твёрдой решимости и сожаление об его заблуждении сливались странным образом.

Мурашёв тихонько вышел из комнаты и пошёл к своему дому, придумывая средство к спасению отца своего молодого приятеля. Прислужник Гейера, выглянув из окна, снова разбранил и отогнал хозяина от ворот. Мурашёв, в свою очередь, разбранив про себя прислужника и облегчив этим сердце, отправил-

ся отыскивать Гейера, чтобы просить его о приказании освободить дом его из-под караула. Целый день бродил он по всему городу, но Гейер, как клад, нигде не показывался. Мурашёв поздно вечером вынужден был опять возвратиться на ночлег к старику Аргамакову. Срок, данный последнему на размышление, должен был истечь на другой день утром. Валериан и друг его, Ханьков, истощили все просьбы и убеждения. Ужасаясь участи, ожидавшей старика, целую ночь они советовались и ничего не могли придумать.

Утром явился Гейер с прислужником, с тем самым, с которым он, завёрнутый в плащ, за несколько дней до того разговаривал на Симоновском мосту.

— А! — сказал он, — да здесь все знакомые! Нельзя ли, господа, выйти на минуту в другую комнату: я должен переговорить с хозяином дома.

Все повиновались.

— Ну, почтенный! — продолжал он, обратясь к старику Аргамакову, — я прислан к тебе от его высочества. Ты, надеюсь, уже решился отказаться от ереси. Подпиши эту бумагу: я

представлю её герцогу, и дело кончится тем, что ты заплатишь штраф да за тобой представят надзор.

— Я уже сказал, что ни за что на свете не сделаюсь отступником от истинной веры, и теперь тоже повторяю. Пусть сожгут меня, не хочу откупиться от блаженной смерти мученика; не возьму греха на душу: купить за деньги право поклоняться Господу поклонением истинным.

— Ого, любезный! Да ты, я вижу, упрям до чрезвычайности. Так знай же, что если не одумаешься и будешь противиться воле герцога, то я теперь же возьму тебя под стражу, и через несколько дней тебя сожгут.

— Делайте со мною, что хотите: на всё готов за веру истинную.

— Хорошо! Прекрасно!... Стереди его и никуда не выпускай! — сказал Гейер своему прислужнику. — Я сейчас же должен съездить к его высочеству и обо всём доложить. Признаться, старик, мне за тебя страшно!... До свидания!

Гейер удалился, а Валериан и Ханьков с Мурашёвым немедленно вошли опять в ком-

нату. Узнав, чем кончились переговоры между стариком и Гейером, Валериан не мог удержать слез своих, Ханыков пожал плечами и вздохнул, а Мурашёв начал ходить большими шагами по комнате, восклицая:

— Ах, Господи Боже мой! Что за напасть?

Наконец он обратился вдруг к прислужнику Гейера, взял его за руку и вызвал в другую комнату.

— Я тебе, почтенный, заплачу пяток червонцев, если не помешаешь мне сделать то, что я придумал. Согласен ли ты? Я, авось, уломаю старика: он подпишет-отречение и штраф заплатит.

— Пожалуй, я согласен. Только выпустить его отсюда никак нельзя! — отвечал прислужник.

— Да и не нужно! Возьми же, любезный, вот тебе пять червонцев.

Фёдор Власыч после того куда-то отправился, и вскоре возвратился, неся в склянке какую-то жидкость.

— Ты обещал нам, Илья Прохорыч, — сказал он старику Аргамакову, — показать чудо для обращения нас к вере истинной, и спра-

шивал: уверуем ли мы, если ты выпьешь яду, и тебе ничего не сделается? Хотелось бы мне убедиться в истине веры твоей. Я бы тотчас же в твою веру перекрестился.

— Поклянись в этом! — воскликнул старик, с восторгом схватив его за руку.

— Изволь, клянусь! Только...

— Что у тебя в склянке?

— Яд, да какой! Ну такое злое зелье, что и глядеть на него страшно!

— Давай сюда! Помни же свою клятву. Мне приятно перед смертью, которую приму от Бирона, обратить ещё одного ближнего на путь истины.

— Батюшка! Что вы делаете! Остановитесь! Я донесу на вас, Фёдор Власьич, как на отравителя, если осмелитесь дать батюшке хоть каплю этого яда.

— Не мешай мне, сын, и не бойся. Увидишь, что я останусь невредим. Дай сюда склянку, Фёдор Власьич!

— Не давай, не смей давать! — закричали Валериан и друг его, бросаясь к Мурашёву.

— Да не горячитесь, господа! Не забудьте, что это чудо может послужить к общему на-

шему спасению. Я ведь не вдруг же дам яду, я поступлю осторожно: не бойтесь!

Офицеры, хотя и не поняли ещё намерений Мурашёва, но удостоверились, что он вреда никакого не сделает.

Взяв стакан, Мурашёв вылил в него из склянки половину жидкости.

— По-настоящему, мне нельзя этого дозволить! — сказал прислужник.

— И! Почтенный! — возразил Мурашёв, — будь спокоен: я не дам Илье Прохорычу ни капли! Что мне за охота в беду попасть!

Старик Аргамаков, между тем, неожиданно схватил стакан и выпил. Прислужник ахнул и устремил на него глаза с любопытным ожиданием; молодой Аргамаков и друг его, сильно встревоженные, не знали, что делать, и с беспокойством смотрели то на старика, набожно поднявшего глаза к небу, то на Мурашёва, потупившего глаза в землю. Несколько времени длилось молчание.

К изумлению всех, выпитый яд не произвёл, никакого действия. Одного Мурашёва это не удивило; он, для спасения соседа своего от костра, придумал дать ему, под видом яда,

голландской полынной водки, зная, что старик, с молодых лет строго державшийся правил феодосиан, никогда не пивал даже простого русского вина, а о вкусе иностранных водок не имел и понятия.

— Веруешь ли теперь? — спросил Аргамаков Мурашёва торжественным голосом. — Своими глазами ты видишь чудо, совершившееся надо мною, недостойным: злое зелье мне не повредило. Поклонись же нашему Богу, и отрекись от вашего[66]. Помнишь ли свою клятву?

— Удивительное дело! — прошептал Мураш`в с притворным смущением. — Может быть, я достал яду не такого сильного! При том ты выпил менее половины склянки.

— Давай ещё, давай полный стакан! Увидишь, что и от этого мне ничего не сделается.

— Ну, не ручайся, Илья Прохорыч.

— Наливай, не сомневаясь! Узришь ещё большее чудо, и тогда отречёшься от своего нечестия. Наливай полнее! Не страшись и не опасайся. Я выпью, пожалуй, ещё третий стакан, если двух мало, для обращения твоего к нашей вере истинной.

— Нет, Илья Прохорыч, и двух будет довольно.

Естественно, что от двух стаканов полынной водки у набожного старика зашумело в голове. Природный его характер, решительный и склонный к весёлости, давно и постоянно подавляемый строгими правилами фео-досьевского раскола, начал прорываться за эту преграду, как в весеннее половодье речка через ветхую плотину.

— Ну что, любезный Фёдор Власыч, — сказал он, бодро расхаживая по комнате, — ты теперь уже наш?

— Нет ещё, Илья Прохорыч.

— Как нет? Ты видишь, что мне ничего не сделалось. Истинно, я от твоего зелья чувствую себя только веселее. Так, что-то на душе легко.

— Послушай, Илья Прохорыч, я тебе дал клятву, и ты мне также дай. Если ты через полчаса пройдёшь из этого угла в другой, то есть от запада к востоку, прямо, то докажешь неоспоримо, что вера твоя прямая и истинная, — тогда я твой; если же не исполнишь этого и повернёшь в сторону, на север или на

юг, тогда будет это знамением, что вера твоя не истинна. Поклянись, что ты тогда от неё отречёшься и будешь наш.

— Изволь, любезный Фёдор Власьич, изволь, клянусь благочестивым Дионисием, великим учителем нашим и старшим наставником в древнем благочестии. Увидишь, что я хоть по ниточке пройду сто раз из угла в угол, и не сверну ни направо, ни налево.

Мурашёв усадил старика на софу, и когда прошло полчаса, напомнил ему клятвенное его обещание. Аргамаков, встав в угол комнаты и оборотясь лицом к востоку, твёрдыми шагами пошёл в другой угол.

— Видишь, Фёдор Власьич, — сказал он, остановясь посередине комнаты, — сбиваюсь ли я с прямого пути? Доколе будешь упорствовать в твоём неверии?

— Да ведь ты ещё не дошёл до другого угла, Илья Прохорыч.

— За этим дело не станет, — вот, смотри!

— Эй, эй! К югу заворачиваешь, или нет, поправился. А вот уж теперь, воля твоя, тебя несёт невидимая сила прямо к северу.

— Неправда. Летом прямёхонько против

этого окошка солнце восходит — именно тут истинный восток. Да подожди, впрочем, я снова из угла в угол пройду. Смотрите!

В этот раз невидимая сила увлекла усердного последователя феодосьевского учения прямо к югу, и так быстро, что он верно бы упал, если б не успел сесть на софу.

— Горе мне, грешнику! — воскликнул он, сплеснув руками.

— Теперь уже видишь ты сам, Илья Прохорыч, что забрёл в такую сторону, где солнце никогда не восходит.

— Горе мне, грешнику! Что я сделал? Погиб я, пропал навеки! Верно, лукавый положил мне под ноги камень преткновения.

— А клятву свою ты не забыл, Илья Прохорыч? Ты ведь поклялся вашим великим учителем Дионисием.

— Поклялся, истинно поклялся, делать нечего! — воскликнул старик, вскочив с софы.

— И верно не захочешь быть клятвopеступником?

— Клятвopеступником? Чтоб я сделался клятвopеступником!? Нет, не будет этого! Не только клятву, но и простое слово всегда я

свято исполнял... Не поддержал ты меня, Дионисий, и я тебя не поддерживу. Сам ты виноват, впредь своих не выдавай.

— Да кого может дьячок поддержать, Илья Прохорыч? Верно, его самого, когда он был жив, нередко поддерживали другие, особенно в праздники. Плюнь на него, он просто обманщик.

— Не говори хулы! — сказал старик с глубоким вздохом. — Может быть, я недостойн его помощи, я он от меня отступился.

— Ну так ты отступись от него. Хорош же он, когда сам показал, что вера его не прямая и не истинная. Притом клятва твоя...

— Да, клятва, клятва! Связала она мою душу. Поторопился я! Этой клятвой погубил я себя, погубил навеки!...

— И, полно, Илья Прохорыч! Дьячок Феодосий был, с позволения вашего, плут и, верно, сам в аду сидит. Что его бояться?

— Мне кажется, что для вас будет менее опасности, когда вы сдержите клятву, — сказал Ханьков. — Если же решитесь её нарушить, то вы останетесь клятвопреступником перед вашим наставником в вере, и не може-

те после того ожидать от него ничего доброго.

— Правда, правда! — сказал старик. — Господи! Покажи мне путь истинный!

— Ну, подпиши же это, благословясь, Илья Прохорыч! — продолжал Мурашёв, подавая ему бумагу, оставленную Гейером. — Вот тебе и перо.

Мучительная борьба души яркими чертами изобразилась на лице старика. Он поднял глаза к небу, сложа судорожно руки, и долго пробыл в этом положении. Все присутствовавшие молчали, волнуемые надеждой и сомнением. Наконец старик, перекрестясь, схватил перо и подписал бумагу.

Сын бросился обнимать его. Мурашёв, глядя на них, чуть не плясал от радости. Ханыков подошёл к нему и крепко пожал ему руку.

— Теперь остаётся заплатить штраф, когда возвратится сюда господин секретарь его высочества — и дело будет кончено! — заметил прислужник Гейера. — Только советую всем не разглашать этого дела, а не то легко может случиться, что почтенного хозяина, несмотря ни на отречение, ни на штраф, сожгут своим порядком.

— За штрафом остановки не будет, — сказал Мурашёв. — Молчать мы также умеем, а теперь не мешало бы пообедать. Я так голоден, что едва на ногах стою.

Старик Аргамаков послал своего работника в ближнюю гостиницу и велел принести самый роскошный, по тогдашнему времени, обед.

Когда накрыли на стол, явился Гейер. Он ещё не доложил герцогу об упорстве старика Аргамакова, надеясь, что страх казни заставит его одуматься и заплатить штраф, который для почтенного секретаря был всего важнее. Валериан, с согласия отца, вручил Гейеру сорок червонцев, которые тот потребовал, и секретарь с прислужником удалился, дав также совет соблюдать величайшую скромность, чтобы это оконченное дело опять не возобновилось и не довело старика до костра. На просьбу Мурашёва Гейер обещал немедленно освободить дочь его и сестру из-под караула. При этом обещании лукавая улыбка мелькнула на лице Гейера.

Все сели за обед. Старик Аргамаков сел за стол вместе с другими и вздохнул, почувство-

вав, по привычке, упрёк совести за общение в пище с никонианами.

После стола Мурашёв, порядочно выпивший на радостях, немедленно отправился домой, полагая, что уже его туда впустят по приказанию Гейера. И точно, он беспрепятственно вошёл в комнаты, но весьма удивился, не найдя в доме ни сестры, ни дочери. Дворник сказал ему, что они обе уехали в карете с каким-то генералом, что Дарья Власьевна оделась по-праздничному, в платье с преширокими боками, и что Ольга Фёдоровна очень плакала, садясь в карету.

— Что за вздор! — воскликнул удивлённый Мурашёв. — Верно, сестра вздумала против воли увезти её куда-нибудь в гости. Да генерал ли за ними приезжал? — спросил он дворника. — Не камер-лакей ли? У сестры, кажется, нет знакомого генерала.

— Не знаю, хозяин. Кажись, генерал приезжал — а и то сказать, наверное не ведаю. Может статья, что и камер-лакей. Не всегда их распознаешь! Видел я только, что у него на кафтане множество золотых вычур.

— Ну, так это камер-лакей! Верно, сестра

изволила отправиться в гости к Ивану Иванычу. Выбрала же время, сумасшедшая!

Успокоясь этой догадкой, Мурашёв пошёл в свою комнату. Вдруг пришло ему в голову написать письмо к старику Аргамакову и поблагодарить его за угощение. Мысль эта родилась от попавшейся на глаза его книги «Приклады, как пишутся комплименты разные». Он поискал форму благодарного писания за доброе угощение и переписал её слово в слово, не заметив, что в переписанной им форме многие обстоятельства вовсе не шли к настоящему случаю. Через два часа старик Аргамаков получил следующее письмо:

«Благошляхетный, особливо высокопочтенный господин, знатный патрон!

Моя должность и повеление от всей компании, которая честь имела от вас так изрядно удовольствована быть, понуждает меня моему высокодрагому благодетелю, за все полученные учтивства и великие благодеяния должное благодарение отдать и при том вас во имя всех и каждого особо обнадёжить, что мы никакой оказии не пропустим нашу должность через возможное воздаяние в са-

мом деле паки воздать. Дорога в город назад нам ело трудна была, и в том моего высокого благодетеля чрезмерная благость винна была, понеже мы принуждены были столько изрядных рюмок за здравие прекрасных испорожнять, так что господин имярек весьма при возвращении в некоторое погрешение впал, за что на него госпожа девица имярек, штраф или пеню наложила, что он принуждён последующего утра коляцию (или вечеринку с конфектами) учинить, при которой и о вас высокопочтенном господине не однажды поминали, и правда общее желание к тому было, чтобы мы могли честь иметь вас здесь у нас видеть, и вам через возможное услужение, нашу преданность и склонное благоволение показать, всегда бы вы, мой высокопочтенный господин, нам здесь, то великое счастье вкратце изволить подать, то вы бы чрез то многих вящще облиговал: между которыми я, особливо себя вам высоко обязана быть признаваю моего высокопочтенного господина и знатного патрона к услугам готовый Фёдор Мурашёв».

Наступил вечер. Мурашёв послал дворника к своему знакомому камер-лакею, Ивану Ивановичу, чтобы звать сестру и дочь скорее домой, но дворник возвратился с ответом, что они за весь тот день не приезжали ни на минуту к Ивану Ивановичу, и что сам Иван Иванович находится в большом горе, потому что у него накануне сбежала неожиданно ключница, к которой десять лет он имел полное доверие, и унесла его одеяло, халат, бронзовые пряжки, медный кофейник и парадные штаны.

— Побери его нелёгкая со всеми его штанами! — воскликнул Мурашёв. — Не знаю, что и делать! Куда это, Господи, девалась моя Ольга?

Теряясь в догадках, побежал он в дом старика Аргамакова в намерении посоветоваться с Валерианом и Ханьковым.

— А! Дорогой сосед опять ко мне пожаловал! Мы только что за ужин хотели сесть, — сказал старик Аргамаков. — Да, скажи, ради Бога, что за письмо ты ко мне прислал?

— Мы трое его разбирали, но не всё поняли, — прибавил Ханьков.

— Как не поняли? Я написал к Илье Прохоровичу благодарное писание за доброе угощение. Это уже так водится между всеми хорошими людьми.

— Благодарствую, Фёдор Власьич! Только отчего же ты пишешь, что дорога в город тебе была трудна? Ведь и я живу не за городом, по ту сторону Фонтанной речки, да и далеко ли от моего дома до твоего!

Мурашёв, у которого вместе с парами наливов вылетело из головы содержание выписанного им из книги письма, ничего не отвечал на вопрос.

— Ещё ты пишешь, что мы опорожнили множество рюмок за здоровье прекрасных. В наши ли лета, Фёдор Власьич, пить за их здоровье? Я подумал, что ты надо мной смеёшься. Ты ведь один давеча от меня домой пошёл?

— Один-одинёхонек. С кем же мне было идти?

— А как же ты пишешь, что какой-то господин с тобой вместе возвращался, впал в какое-то погрешение, и какая-то девица на него пени наложила, а именно: вечеринку с кон-

фектами, на которую и я приглашён. Пожалуй, я бы пошёл, да не знаю, к кому и куда.

— Неужто это у меня в письме написано? — сказал Мурашëв, смутясь.

— Вот письмо твоё, посмотри сам. Скажи-ка, что за девицу ты провожал? — продолжал Аргамаков, грозя пальцем Мурашëву.

— Какой ты, Илья Прохорыч! Да ведь всё это так только пишется, это называется комплимент, а ты подумал, что уж всё так и вправду было, как написано. Впрочем, не до письма мне теперь, у меня дома неблагополучно.

— Что такое? — спросили все в один голос.

— Сестра и дочь пропали.

— Как пропали! — воскликнул Валериан, бледнея.

— Дворник мой говорит, что какой-то генерал увёз их в карете. Не знаю, что и подумать.

По общему совету решили: если Дарья Властьевна и Ольга не возвратятся домой к ночи, на другой день, на рассвете, начать их искать по всему городу.

Несколько дней прошло в напрасных поисках и расспросах. Валериан был в отчаянии.

В день рождения супруги герцога Бирона, курляндской дворянки Трейден (которая, по свидетельству современников, отличалась ограниченным умом и неограниченной гордостью), назначена была, по её требованию, несмотря на ноябрь месяц, иллюминация в Летнем саду и на Царицыном лугу, на котором в то время были насажены в разных местах деревья. Прелестной решётки Летнего сада тогда ещё не было. На её месте, близ дворца Петра Великого, по берегу Невы, не отделанному ещё гранитом, тянулся длинный деревянный дворец, построенный в 1732 году императрицей Анной Иоанновной; в стороне от дворца стояла каменная гауптвахта; далее, на берегу Фонтанки, возвышалась беседка в виде грота, украшенная морскими раковинами. Сад отделялся от Царицына луга каналом; по другую сторону луга, от того места, где ны-

не Мраморный дворец и где тогда, после сломанного Почтового двора, устроили площадь, проведён был другой канал из Невы в Мойку. Ряд зданий, находившихся на берегу последнего канала, назывался Красной улицей. Примечательнейшим из этих зданий был собственный дворец императрицы Елизаветы Петровны, в котором она жила до вступления на престол.

Наступил вечер, на счастье, сухой, и не слишком холодный, и безлиственные аллеи Летнего сада осветились шкаликами. На Царицыном лугу, между деревьев, зажглись изредка площадки; только в одном месте на лугу ярко освещены были шкаликами берёзы, обсаженные кругом площадки, где стояли огромные качели и карусель. Первая состояла из деревянного льва, повешенного на верёвках за высокую перекладину; на львиный хребет с одной стороны садились дамы, с другой мужчины, и послушный царь зверей качал свою ношу из стороны в сторону. Карусель была устроена из большого деревянного круга, по краям которого стояли четыре деревянные, осёдланные лошади, а между ними

столько же саней на высоких подставках. Круг поворачивали около толстого деревянного столба, а сидящие на лошадях и в санях старались тонкими копьями снимать развешанные над ними железные кольца. Кто больше снимал колец, того провозглашали победителем. Валериан, Ханьков и Мурашёв печально ходили в толпе народа: им было не до гулянья. Они внимательно смотрели на каждого попадавшегося им навстречу генерала, если вместе с ним шли женщины.

— Авось, сегодня загадка разгадается! — говорил Мурашёв со вздохом. — Теперь весь город собрался в сад. Может быть, мы где-нибудь увидим Ольгу или, по крайней мере, глупую мою сестру.

— Я всё думаю, — заметил Ханьков, — не попались ли они в руки Гейера? Если так, то их, верно, не будет на гулянье.

— Да отчего же бы моя сестра нарядилась по-праздничному и надела свои фижмы? Кого Гейер потащил к себе, тому не до нарядов.

Долго бродили они по саду и, наконец, выйдя на Царицын луг, приблизились к окружённой деревьями площадке, где стояла ка-

русель. На лошадях сидели трое мужчин и одна женщина, с копьями в руках; сани также были заняты игравшими. Деревянный круг быстро обращался около столба и производил такой скрип,

*Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазанных колёс.*

При каждом снятом кольце раздавалось общее восклицание «браво!»

— Что за дьявольщина! — проворчал Мурашёв, всматриваясь в кружившуюся на деревянной лошади женщину, — это, кажется, моя сестрица изволит отличаться?

— Быть не может! — возразил Ханьков.

— Это именно она! — воскликнул Валеринан.

— Что за диковина! — продолжал Мурашёв. — Пойдёмте поближе.

Сквозь толпу зрителей они протеснились и стали подле карусели. В самом деле, в чёрной бархатной шапочке, с красным страусовым пером, в генеральских фижмах, в длин-

ной мантилии ярко-оранжевого цвета, которая величественно развевалась, как адмиральский флаг во время сильного ветра, носилась Дарья Власьевна на деревянном коне около столба и ловко поддевала длинным копьём развешанные кольца. На лице её сияло удовольствие или, лучше сказать, восторг. Подхватив на копье кольцо, она торжественно и гордо посматривала на зрителей, и восклицание «браво!» сильнее потрясло её сердце, нежели клик «ура!», которое потрясает сердце полководца во время решительной битвы. В одних из саней сидела Ольга рядом с каким-то генералом, который с ней разговаривал и смеялся, вероятно, стараясь её развеселить. Судя по её потупленным глазам и бледному лицу, можно было легко заметить, что бедной девушке было вовсе не до веселья.

Валериан задрожал от гнева, увидев Ольгу. Рука его невольно упала на рукоятку шпаги, и он верно бы бросился к генералу, если бы Ханыков не остановил его крепко схватив своего друга за руку.

— Ради Бога, успокойся! Разве ты не видишь, что это брат герцога?

— Пусти меня! — кричал Валериан, вырываясь, — пусти меня к этому, бездельнику!

— Вспомни, что и где ты говоришь. Ты себя погубишь!

На счастье, сильный скрип деревянного круга заглушил голос Валериана, так что никто из близ стоявших зрителей не мог слышать его слов.

Между тем Мурашёв с беспокойством смотрел на дочь свою, не зная, что подумать, и изредка поглядывал на Дарью Власьевну с такой досадой, что у него в горле дух перехватило.

Случайно она его увидела в толпе. Мурашёв погрозил ей кулаком, а Дарья Власьевна, в вихре удовольствия не заметив этого движения, жеманно кивнула головой, прищурила один глаз, улыбнувшись в знак того, как ей было весело, и, приложив концы своих пяти пальцев к губам, послала по воздуху поцелуй брату.

— Недаром сказано в «Советах премудрости», — ворчал сквозь зубы Мурашёв, желая чем-нибудь себя успокоить. — Приключилась в нашей натуре порча, коя производит бес-

путные дела по большей части в женщинах. Сила дымов и паров, слабость душевных органов и мысли и, наконец, слепота ума причиняют многие слёзы тем, кои их любят. В них виды предметов огненные, легкомысленные, заблуждательные. Мечтание нежное и слабое последует их заносчивости. Что от нас называется своенравием, упрямством, неистовством, то многократно бывает бесом, который входит в их голову и заставляет их делать то, что мы видим.

Между тем все кольца были сняты играющими, деревянный круг остановился, и стоявший посредине круга, у столба, секретарь герцога Гейер, пересчитав все снятые кольца, провозгласил:

— Девушка фон Мурашёва осталась победительницей!

— Bravo! — закричали все участвовавшие в игре и захлопали в ладоши. Гейер подбежал к Дарье Власьевне и помог ей слезть с деревянного коня. Она начала раскланиваться и приседать, повёртываясь во все стороны. Генерал, подав Ольге руку, вышел с ней из сани, адъютант его взял под руку Дарью Вла-

сьевну, и всё общество пошло к деревянному льву, на котором качалось другое общество.

Генерал, шедший с Ольгой, был старший брат Бирона, Карл. Сначала он служил в России, попался в плен, к шведам, бежал в Польшу, дослужился там до чина подполковника, опять перешёл в русскую службу и, по милости брата, в короткое время попал в генералы. Он мог бы гордиться множеством ран, если б они были получены им в сражениях, а не на поединках или во время ссор, до которых почти всегда доходило дело там, где Бирон намеревался повеселиться.

На каждой пирушке, где лилось шампанское, входившее тогда в моду, он всех храбрее рубил головы бутылкам и яростно истреблял этих неприятелей. Все боялись его; одно слово, сказанное ему не по нраву, могло иметь следствием или поединок, или непримиримую вражду герцога, который уважал все его жалобы. Даже Гейер его страшился, старался всеми мерами ему угождать и был ревностным исполнителем его поручений по части любовных интриг. Заметив необыкновенную красоту Ольги, Гейер немедленно навёл гене-

рала на добычу. В то время, как Дарья Власьевна и Ольга сидели под караулом в доме Мурашёва, Карл Бирон приехал к ним, притворился страстно влюблённым в Ольгу, объявил решительно, будто он на ней хочет жениться, и убедил Дарью Власьевну тотчас же переехать к нему на несколько дней, с его невестой, в загородный дом. Дарья Власьевна совершенно одурела от такого неожиданного случая. Ей казалось что Ольга должна считать себя счастливейшей из смертных, выйдя замуж за брата регента, что отец Ольги будет тех же мыслей, что не исполнить требования брата герцога, значит погубить и Ольгу, и всех родных её.

Всё это она представила племяннице со всевозможным красноречием, опровергла все её опасения, почти насильно одела её в лучшее платье и вынудила отправиться в карете с генералом.

— Что ты, дурочка, боишься? — говорила она, одевая Ольгу. — Ведь и я с тобой еду. Теперь непременно надо исполнить волю генерала, не то попадём в большую беду. Будет ещё время, после подумаем и с отцом посове-

туемся. Вообрази: ты будешь родней его высокочеству герцогу! Шутка ли!

Карл Бирон со своей стороны старался успокоить Ольгу, говоря, что если он ей не понравится, то принуждать её не станет. Впрочем, прибавил он, мудро не полюбить меня, узнав покороче.

Дарья Власьевна, одев Ольгу, вывела её к генералу и с трепетом сердечным сказала:

— Так как и я удостоена счастья быть приглашённой к вашему превосходительству, то не позволите ли вы мне одеться поприличнее, чтобы простой наряд мой не показался странным в вашем блистательном доме.

— Да, да! — отвечал Карл Бирон, едва удерживаясь от смеха. — Это необходимо, я этого просто требую.

Дарья Власьевна тотчас облеклась в генеральские фижмы, в платье с длинным шлейфом, завязала ещё несколько своих и Ольгиных нарядов в скатерть, и Бирон с глупой тёткой и бедной племянницей поехал в свой загородный дом. Там он всеми силами старался развеселить Ольгу, у которой сердце беспрестанно ныло от беспокойства, между тем как

Дарья Власьева, не подозревая об истинных целях генерала, блаженствовала в его доме, обходилась с ним по-родственному, любовалась перед зеркалами своими фижмами и шлейфом. На все учтивости и ласки генерала Ольга отвечала слезами и просила вернуть её в отцовский дом. Бирон говорил, что он жить без неё не может и упрашивал Ольгу пробыть несколько дней в его доме, пока он совершенно не удостоверится в невозможности ей понравиться. Между тем он обдумывал втайне средства к достижению своей цели и находил в этом промедлении известное наслаждение. Так, сытая кошка, поймав молодую птичку, которая ещё не может летать, любит свою жертву, играет с ней и съедает не сразу.

Утром того дня, когда праздновали день рождения герцогини, Карл Бирон неожиданно вошёл в комнату, которую он отвёл для гостей. Ольга была уже одета, а Дарья Власьева стояла перед зеркалом, заканчивая свой туалет. Волосы её ещё не были причёсаны, она только приладила на один бок фижму, когда слышались шаги Бирона в соседней

комнате. От испуга Дарья Власьевна уронила фижму, схватила платье со шлейфом и наде- ла его так же быстро, как меняют платье актё- ры в операх и балетах. Ольга помогла ей кое- как застегнуть крючки лифа.

— Извините, — сказал Бирон, войдя, — я, кажется, перепугал вас. У меня к вам просьба, Дарья Власьевна! Сходите поскорее в Гости- ный двор и купите две мантильи для себя и для племянницы вашей. Сегодня вечером в Летнем саду назначено гулянье. Вот вам день- ги.

— Мне, право, так совестно! — жеманно сказала Дарья Власьевна, поправляя волосы и прикрывая рукой бок, на котором не было фижмы. — Я ещё не кончила своего туалета и никак не ожидала так рано вашего посеще- ния...

— Ничего, не беспокойтесь! Что за церемо- нии между родственниками? Сходите же ско- рее.

С величайшим удовольствием. Позвольте только закончить туалет. Осмелюсь вас по- просить на минуту выйти из комнаты.

Помилуйте, да вы совсем одеты. Я боюсь,

чтобы не заперли лавок по случаю сегодняшнего праздника. Сделайте милость, идите скорее. Вот вам мантилья ваша.

Делать было нечего. Дарья Власьевна наде- ла мантилью, покрыла голову капюшоном и отправилась в путь с одной фижмой.

— Мы остались одни, Ольга! — сказал Бирон, взяв её за руку. — Давно хотел я погово- рить с тобой наедине. Реши судьбу мою, ска- жи: любишь ли ты меня?

— Оставьте меня ради Бога, генерал! — взмолилась Ольга, вырывая свою руку из рук Бирона.

— Ты боишься меня? — продолжал он. — Ты не веришь любви моей? Ах, Ольга! Я без тебя жить не могу. Сядь сюда, на эту софу, ми- лая, успокойся. Поговори со мной. Неужели ты хочешь погубить меня?

Он силой усадил трепещущую Ольгу на со- фу и обнял стан её одной рукой.

— Помогите! Помогите! — закричала де- вушка.

— Ты напрасно кричишь, я отослал всю прислугу, мы с тобой вдвоём здесь. Ольга, об- ними меня, назови женихом своим. Не забы-

вай, я родной брат герцога.

— Это вы забыли, генерал, — отвечала Ольга, рыдая и вырываясь из объятий Бирона, — вы поступаете, как разбойник!

— Разбойник?! — вскричал Бирон. — О, за эту дерзость надо наказать тебя. Перестань же упрямитесь, обними, поцелуй меня! Ты видишь, как я снисходителен, кто ещё кроме тебя мог бы безнаказанно оскорбить меня? Но невесте я всё прощаю.

С отчаянным усилием Ольга вырвалась из его объятий, подбежала к столику, на котором стояли два прибора, приготовленные для завтрака, и, схватив нож, приставила его к сердцу.

— Ольга, Ольга, что ты делаешь?! — закричал Бирон, вскочив с софы.

— Не подходи, не подходи, злодей! Один шаг — и на твоей душе будет смерть моя!

— Ну хватит, брось нож! Я не подойду, не трону тебя, я немедленно выпущу тебя из моего дома.

— Ты лжёшь... — девушка занесла над собой руку с ножом.

— Остановись! — в ужасе вскричал Би-

рон. — Клянусь честью, что отпущу тебя из своего дома! Клянусь! Я никогда в жизни не изменял своему честному слову.

— Ты говоришь правду? — Ольга помедлила и положила нож на стол. — Я верю твоему честному слову.

И в самом деле Бирон оставил её в покое и пообещал возвратить домой тотчас по приезде тётки. Однако по её возвращении Бирон упросил обеих съездить с ним в Летний сад, где их и встретил Мурашёв.

— Здравствуй, сестра, — робко сказал Мурашёв, подойдя к Дарье Власьевне, которая внимательно рассматривала качавшегося льва.

— А, братец. Давно уж мы не виделись.

— Ты уж ныне пропадаешь по целым неделям и на деревянных конях всенародно разъезжаешь? — продолжал Мурашёв вполголоса. — А с какой стати Ольга, осмелюсь спросить, ходит под руку с этим генералом.

— Она его невеста. Я тебе после всё растолкую, братец.

— Невеста? Не спросясь отца, замуж выходит? Да я её прокляну и тебя вместе с нею.

В это время адъютант взглянул на Мурашёва, и он, понизив голос, продолжал:

— Не ты ли дочь мою сосватала?

— Его превосходительство сами изволили к ней присвататься.

Мурашёв знал о поведении Карла Бирона и не мог не понять истинных его намерений. Негодование, гнев, отчаяние овладели его душой. В это время Ольга, увидев его, вырвала руку из-под руки Бирона и со слезами бросилась отцу на шею. Безмолвно прижал он дочь к груди своей.

— Не это ли отец моей невесты? — спросил Дарью Власьевну Бирон, торопливо приближаясь к ней.

— Точно так, ваше превосходительство.

— Представь меня ему, пожалуйста, мы ещё не знакомы. Господа, извольте отойти отсюда подальше! — закричал он толпившемуся народу. — Здесь и так предостаточно места для гуляния.

Все поспешили исполнить приказание, но никто из многочисленной толпы не смел и слова сказать другому, чтобы третий, подслушав какую-нибудь догадку или суждение о

brate герцоге, не закричал: слово и дело!

— Я давно, любезный, собирался к тебе приехать, — ласково сказал Бирон Мурашёву. — Ты, вероятно, уже знаешь о моих намерениях и, без сомнения, если дочь твоя будет согласна, не откажешься стать тестем моим? Возьми вот этот небольшой подарок.

Он вынул из кармана кошелёк, набитый золотом, и подал Мурашёву.

— Благодарю от всего сердца за честь, ваше превосходительство! — отвечал Мурашёв, едва держась на ногах. Кровь кипела в нём, в глазах у него темнело, он задыхался. — От подарка же позвольте отказаться!... Осмелюсь заметить, что дочь рыботорговца не годится в невесты вашему превосходительству.

— Ну, какой вздор! Почему же не годится? Моё дело выбирать себе жену. Да что ты так побледнел? Может, нездоров? Гейер, отведи-ка домой этого почтенного человека.

Гейер взял под руку Мурашёва и повёл к карете.

Между тем Валериан, вырвавшись из рук Ханькова, бросился к Бирону.

— Генерал, — сказал он прерывающимся

голосом, — по какому праву вы отнимаете у меня невесту?

— Что это значит! — воскликнул Бирон. — Вы, сударь, забыли субординацию: мне и чести не отдаёте! Я вас велю аресто...

— Не говорите о чести, у вас нет её. Велите арестовать меня, но я говорю и до самой казни буду повторять: вы низкий и подлый человек! Вы боитесь даже драться, я знаю, что вместо вас палач расправится со мной!

— Дерзкий мальчишка! — в бешенстве вскричал Бирон. — Я обрублю тебе уши в доказательство того, что я никогда не отказываюсь от дуэли. А уж патом тебя расстреляют за дерзость.

— Думаю, что будет наоборот, стоит вам только пригласить в секунданты своего брата.

— Я разрублю тебе голову!

— Тогда и поединка опасаться нечего, — отвечал Валериан, — рубите, вот моя голова.

Он снял шляпу, весь пылая от гнева.

— Выбирай оружие! — сказал Бирон, скрежеща зубами.

— На саблях!

— Хорошо. Дерёмся без секундантов.

— Согласен.

— Завтра в пять утра в Екатерингофе.

— Итак, до свиданья, — сказал Валериан и медленно пошёл от качелей, ничего не видя перед собой.

— А ну-ка заберите этого молодца, — вдруг раздался голос рядом с ним, — он, видно, забыл, что регенту должно честь отдавать. Я тебя проучу, негодный.

Валериан опомнился и увидел возле себя герцога Бирона, который со своей женой и многочисленной свитой шёл к карусели. Два человека в плащах, гулявшие вместе со всеми, вдруг выскочили из толпы и схватили Валериана.

— Ведите его, куда надо, — продолжал герцог. Странно для меня, фельдмаршал, что ваши подчинённые отваживаются на такой беспорядок прямо у вас на глазах.

Граф Миних, к которому были обращены эти слова, в самых почтительных выражениях извинился перед герцогом.

Приблизившись к карусели, герцог остановился перед одной из деревянных лошадей и

начал внимательно её рассматривать.

— Скажите мне, принц, — обратился он к герцогу Брауншвейгскому, — какие недостатки находите вы в этой лошади?

— Главный её недостаток в том, что на ней далеко не уедешь. Все возле столба кружишься.

— Хм, а вы не пробовали на ней поездить?

— Нет, я вообще не охотник до лошадей, подобные пристрастия не совсем приличны для принцев.

— В меня метите, принц? Но я не стыжусь своей страсти к этому благородному животному. Но за вашу насмешку прошу один разок прокатиться на этой лошади.

— Пожалуйста, но что ж тут удивительного: на деревянной лошади живой всадник? Гораздо страннее видеть на живой лошади деревянного всадника. Мне случалось такое видеть... при объезде лошадей.

— Но всадник, на которого вы намекаете, умеет управляться не только со всякой бешеной лошадью, но и с людьми, не исключая принцев. Не угодно ли сесть на коня? И советую быть поосторожнее, иногда и с деревян-

ной лошади можно упасть неожиданно и гораздо скорее деревянного всадника.

— Они опять поссорятся! — шепнула Миниху супруга принца, Анна Леопольдовна. — Постарайтесь, фельдмаршал, предупредить ссору.

— Попробую-ка я этого Буцефала! — с хохотком сказал фельдмаршал и, вскочив на лошадь, взял копьё для снятия колец. — Не угодно ли будет вашему высочеству последовать моему примеру? Пусть этот круг станет для принца и фельдмаршала колесом фортуны.

— Порой с колеса счастья можно попасть совсем на другое колесо, — сквозь зубы процедил герцог, видя, что Миних берет сторону принца.

— Подождите, фельдмаршал, — вскричала супруга Бирона, — я тоже сяду в сани и начнём игру. Посмотрим, удастся ли мне победить фельдмаршала.

— Перед дамами я сразу же слагаю оружие...

Тем временем несчастного Валериана вели двое сыщиков. Его убивала мысль, что брат

Бирона, явившись поутру на место дуэли, не найдёт его там, и Ольга лишится последней защиты. Неожиданно он увидел высокого и широкоплечего солдата, который служил в его полку. Тот с женой, присев под дерево, с наслаждением щёлкал калёные орехи.

— Эй, служивый! — крикнул Валериан.

— Что прикажете, ваше благородие? — отвечал солдат, мигом пересыпав орехи в передник жены и подбежал к своему офицеру.

— Избавь-ка меня от этих бездельников.

— Только сунься, — буркнул один из сыщиков. — Он арестован по приказу его высочества. Пошёл отсюда!

— Ах ты, палка барабанная! — крикнул солдат. — Да как ты смеешь мне приказы отдавать? Завернулся в суконный балахон и уже думает, что сам черт ему не брат. А ну отпусти его благородие, пока я... Прикажете продолжать, ваше благородие? — И солдат сжал огромный кулак.

— Изволь, голубчик.

Первым же ударом один из сыщиков был сбит с ног, второго храбрый солдат схватил за шиворот, приподнял, встряхнул и бросил на

землю.

— А теперь бегом отсюда, — сказал Валериан, — да жене скажи, чтобы от нас не отставала.

Подходя к своему дому, Валериан встретил своего старого друга, отставного капитана Лельского.

— Что ты так встревожен? — изумился капитан.

Тот подробно рассказал ему своё приключение.

— Но ведь должно же всё это когда-то окончиться! — с негодованием воскликнул Лельский. — Ладно, дай мне честное слово, что ты никому на свете не расскажешь о том, что я тебе открою.

— Клянусь честью!

Зайдя к нему домой, Лельский имел с Валерианом продолжительную и тайную беседу.

Прощаясь с ним, Валериан подал руку капитану и сказал:

— Сразу же после поединка, если останусь жив, я приду к тебе и тогда располагай мною. Я — ваш!

Вскоре пришёл и Ханьков, который жил в

одном доме с Валерианом. Увидев, как его арестовали по приказу герцога, он уже считал своего друга безвозвратно погибшим. Каково же было его удивление, когда дверь ему открыл сам Валериан живой и здоровый.

— Что это значит? — спросил Ханыков, увидев лежащую на оселке саблю.

— Завтра в пять я дерусь с братом герцога.

— Ты только за этим и вырвался у меня из рук?

— Было бы низостью удерживать меня от поединка с этим ничтожеством.

— Конечно, я никогда не был до такой степени влюблён, но даже в этой приятной горячке я бы никогда не бросился бы драться с Бироном. Я бы сначала посоветовался с фельдмаршалом, который всех нас так любит, попросил бы его защиты, и он бы уладил дело без лишних хлопот. А теперь либо он тебя убьёт и будет считать Ольгу своей неотъемлемой собственностью, либо ты его убьёшь или ранишь, и об этом непременно узнает герцог. И тогда ты — пропал!

— К чему теперь все эти рассуждения? — с досадой бросил Валериан.

— А к тому, чтобы ты немедленно шёл к Миниху и просил его покровительства. Я уже рассказал ему твою историю. Он берётся выступить посредником между Бироном и тобой. Заверяю тебя, не только брат герцога, но и сам герцог побаивается этого умного и благородного человека.

— И Карл Бирон будет после этого везде называть меня подлым трусом. Ну нет! Я должен драться. Честь мне дороже жизни.

— А что такое честь?

— Странно, что капитан гвардии об этом спрашивает.

— Ещё удивительнее было бы, если бы капитаны всего света вместе со мной дали бы точное её определение. Мне кажется, что честь велит нам без страха идти на неприступную батарею и проливать кровь за отечество, но глупостей делать офицерская честь не велит. Если кто рубль у человека украдёт, все зовут его вором, а похитить на поединке жизнь человеческую, которую за сокровища всего света возвратить нельзя, — пожалуйста! Это можно, все говорят, так честь ему велела.

— По крайней мере, драться я буду не из-за

пустяков.

— Согласен, но дело можно решить полюбовно и гораздо для тебя выгоднее. Послушайся моего совета и ступай к фельдмаршалу.

— Ни за что на свете, я уже вызвал его.

— Ладно, видно, тебя уже не переупрямить. Кто твой секундант?

— Никто.

— Как никто? Да без секунданта тебе голову с плеч снесут прежде, чем ты саблю из ножен вынуть успеешь.

— Мы так условились.

— Ну и дурак, Если ты убьёшь Бирона, тебя казнят как убийцу, и он уж с того света не сможет засвидетельствовать твоё благородство.

— Что же делать?

— Я съезжу к Бирону и попрошу его выбрать себе секунданта.

— А кто же будет моим?

— Ладно уж, подумай хоть раз в жизни. Может, мне удастся помирить вас.

— Напрасный труд! Я с этим негодя...

Замахав руками, Ханьков отправился к Бирону и через час возвратился с известием,

что генерал с его предложением согласился. Затем он уложил Валериана в постель и велел ему хорошенько выспаться перед боем.

VIII

В Екатерингофе, который тогда походил более на лес, нежели на сад, близ дворца, построенного Петром Великим в память взятия им и Меншиковым 7 мая 1703 года двух шведских кораблей, Валериан явился в пять часов утра с своим другом, задолго до рассвета. Вскоре прибыли и Бирон со своим адъютантом. Удаляясь с потаённым фонарём в лес и выбрав между деревьями небольшую площадку, враги молча взяли сабли и стали друг против друга. Небо покрыто было тучами, и непроницаемый мрак разливался по всему лесу. Ханьков и адъютант Бирона взяли по зажжённому факелу и стали один с правой, другой с левой стороны дуэлянтов. Красное сияние отразилось на блестящих саблях.

— Начинай, храбрый мальчик! — сказал Бирон, желая смутить Валериана. — Ты увидишь, можно ли безнаказанно оскорбить Кар-

ла Бирона! Не далее, как сегодня вечером, тебя отнесут к могиле при свете этих самых факелов. В них я вижу худое для тебя предзнаменование.

— Ещё не известно, к кому оно относится, — возразил спокойно Валериан. — Вам следует начать, генерал! Я вас вызвал.

— Но прежде должно условиться, — заметил Ханьков, — насмерть ли драться или до первой раны?

— До тех пор, пока голова его не соскочит с плеч и не спрячется в эту густую траву! — отвечал Бирон.

— Говоря о моей голове, вы забыли о своей! — сказал Валериан. — Впрочем, я согласен драться насмерть.

— Я бы советовал: до первой раны, — продолжал Ханьков. — Генерал! Мой друг так молод...

— Прошу секунданта не мешаться не в своё дело. Условия от нас зависят.

— Начинайте же! — сказал Валериан. — Мы не разговаривать сюда пришли.

Бирон, взмахнув саблей, повернул её несколько раз над своей головой так быстро,

что раздался свист, и отблеск сабли образовал круг, едва заметный по бледному и красноватому сиянию. Пристально глядя на ногу Валериана, как будто намереваясь нанести удар по ней, Бирон вдруг сделал выпад и, без сомнения, зарубил бы противнику голову, если бы Валериан, отстранясь, не отвёл удара. Сабля со звоном соскользнула по клинку и ушла до половины в землю.

Бирон, невольно пошатнувшись всем телом вперёд, едва устоял на ногах.

— Выньте скорее вашу саблю. Я не хочу пользоваться вашим положением.

Бирон с усилием выдернул из земли своё оружие, и снова напал на Валериана. Быстро наносимы были удары и ещё быстрее отражаемы. Гул эха глухо повторял вой дребезжащей стали. Как красные молнии, сверкающие сквозь сгущённый воздух, вились сабли, отражавшие блеск факелов, яркие искры вспыхивали над головой и у ног противника почти в один и тот же миг.

«Ай да Валериан! — думал Ханыков. — Не забыл моего совета, хладнокровно дерётся!... Тьфу, как тот озлился!... Ай, ай, чуть-чуть саб-

ля не задела друга по голове!... Ну, скверно! И он горячиться начинает!»

Вдруг сабля Бирона вылетела у него из руки от искусного удара Валериана, который в тот же миг занёс свою саблю над головой смутившегося противника.

— Вы должны теперь, генерал, признать себя побеждённым. Дарю вам жизнь, но с тем условием, чтобы вы дали слово отступить от моей невесты и не мешать моему счастью.

— Руби! — вскричал Бирон в бешенстве, сложив гордо руки на груди и свирепо смотря на Валериана. — Карл Бирон никогда не страшился смерти!

— Согласны ли вы на моё предложение?!

— Нет!... Руби! Брат мой отомстит смертью мою. Тебя обвенчают на колесе с твоей невестой!

Сказав это, Бирон засмеялся. Этот неистовый смех заставил невольно содрогнуться его адъютанта.

— Низкая душа! — воскликнул Валериан. — Я этого ожидал от тебя. К чему же ты принял мой вызов? Лучше было бы прежде сказать мне, что честь твоя и жизнь отданы

на верное сохранение в подлые руки палача. Но это не спасёт тебя. Умри!

Валериан, взмахнув саблей, разрубил бы череп Бирону, если бы Ханыков не удержал руки его.

В это время на некотором расстоянии, между деревьями, показалось несколько фонарей, и вскоре секретарь герцога, Гейер, с четырьмя вооружёнными прислужниками стал между противниками.

— Свяжите их! — сказал он, указывая на Валериана и Ханыкова. — Хорошо, что мы ещё вовремя отыскали вас.

— Не троньте их! — закричал Бирон.

— Я исполняю повеление его высочества герцога, — продолжал Гейер...

— Кто смел сказать ему об этом поединке без моего позволения?

— Его высочество знает не только все, что каждый делает, но даже и то, что каждый думает. Вяжите их!

— Остановитесь! Я беру на себя вою ответственность в этом деле, и сегодня же объяснюсь с братом. Вы можете идти, куда хотите. Карл Бирон знает законы чести!

— Это благородно, генерал! — сказал Ханыков. — Вы, верно, оправдываете моего друга перед его высочеством. Жизнь ваша была в опасности, но он не захотел воспользоваться случаем, доставившим ему победу. Без сомнения, вы, как честный и благородный человек, не откажетесь засвидетельствовать, что вы обязаны ему жизнью.

— Нимало! Ты удержал его руку: я ему ничем не обязан! Мы по-прежнему враги, враги непримиримые.

— Без сомнения, палач скоро избавит вас от врага, не правда ли? — спросил Валериан презрительно.

— Дерзкий мальчишка! Поединок наш ещё не кончен! Я докажу тебе, что моя сабля отрубит твою голову скорее, чем топор палача. Гейер! Не смей и волоска их тронуть, пока я не объяснюсь с братом.

Гейер, пожав плечами, поклонился и последовал с прислужниками за Бироном и его адъютантом, а Валериан и Ханыков пошли в другую сторону.

— Ну что, Валериан? Не правду ли я тебе вчера сказал, что поединок ни к чему добро-

му не приведёт? Теперь судьба Ольги ещё безнадежнее, чем прежде, а мы оба должны ожидать неминуемой гибели. Герцогу уже всё известно, на ходатайство врага полагаться можно столько же, сколько на весенний лёд, когда он кажется твёрдым, но стоит только ступить на него, чтобы провалиться. Я, впрочем, о себе не думаю! Умереть надобно же когда-нибудь! Мне тебя жаль, Валериан. Без сомнения, герцог...

— Не долго будет он... — воскликнул Валериан и вдруг прервал речь, вспомнив честное слово, данное им Лельскому.

— Что ты сказать хотел?

— Так, ничего!... Мысли мои очень расстроены... Да, мой друг, положение наше ужасно!

— Ты что-то таишь от меня, Валериан, — продолжал Ханьков, глядя пристально в глаза другу. — Давно ли я лишился твоей доверенности?

Валериан почувствовал справедливость этого упрёка, сердце его рвалось открыться другу, но честное слово, слишком скоро и необдуманно им данное, его связывало.

— Ты молчишь? — продолжал Ханьков. —

Не боишься ли, что я донесу на тебя?

— Ах, Боже мой! Не обижай меня, друг, если б ты мог видеть, что происходит здесь, сказал Валериан, указав на сердце, — ты бы ужаснулся и пожалел меня.

— Я опять повторяю мой всегдашний совет: старайся по возможности сохранять хладнокровие и слушаться голоса рассудка. Когда душа в сильном волнении, ни на что решаться и ничего предпринимать не должно. Я бы тебе мог дать совет основательнее, если б ты, как всегда до сих пор бывало, не скрывал твоих мыслей и чувствований от друга, но ты уже не хочешь быть со мною откровенен!

— Я ничего от тебя не скрываю!

— И ты правду говоришь? — сказал Ханьков голосом, выразившим дружескую укоризну. — Ты не обманываешь своего друга? Почему же ты не смотришь прямо мне в глаза? Я вижу, что у тебя кроется в душе тайный замысел. Дай Бог, чтоб не пришло время, когда ты раскаешься в своей неоткровенности. Ты, наверное, боишься моих советов и убеждений? Не стану тебе их навязывать, хотя дружба моя

к тебе всегда брала их отсюда! — Он положил руку на сердце.

Друг! Не усиливай упрёками моих мучений, — сказал с жаром Валериан. — Я связан честным словом и должен молчать.

— Ах, Валериан! Недалеко искать доказательства бедственных следствий ложного понятия о чести. Обдумал ли ты хорошо твоё честное слово? Истинная честь есть сокровище, которое должно свято хранить для дел благородных, а не бросать его безрассудно на игралище страстям.

— Обдуманно ли я поступил — увидим это скоро, — отвечал Валериан, подавая Ханькову руку.

В это время перешли они по узкому деревянному мосту из Калинкиной деревни на другой берег Фонтанки, и вскоре поравнялись со слободами Адмиралтейских и Морских служителей[67]. Молча дошли они по обросшему травой берегу Фонтанки до другого деревянного моста, построенного подрядчиком Обуховым.

— Валериан! Это какое здание? — спросил Ханьков, взяв друга за руку и указывая на

большой деревянный дом с садом, который был огорожен деревянным частоколом.

— Это бывший загородный дом-кабинет министра Волынского.

— А теперь чей этот дом?

— Теперь живёт в нём полковник фон Трескау, начальник придворной псовой охоты, с придворными егерями и собаками.

— Почему?

— Станный вопрос! Разве ты не знаешь, что всё имение Волынского конфисковано в казну после того, как отрубили ему голову. Неужели ты забыл это? С тех пор прошло не более четырёх месяцев.

— А за что отрубили ему голову?

— Опять странный вопрос! Весь город знает, что герцог погубил его за то, что Волынский осмелился против него действовать.

— Валериан! Тогда ещё герцог не был полновластным правителем. Размысли о несчастной судьбе Волынского, что случилось с ним, то и с другими нынче гораздо легче случиться может, не правда ли?

Валериан невольно содрогнулся и ничего не отвечал.

Миновав Аничков мост, они приблизились к дому старика Аргамакова.

— Куда же мы теперь? — сказал Ханыков. — Мы должны ожидать каждую минуту, что нас схватят. Пойдём прямо к графу Миниху и будем просить его защиты, он один нас спасти может.

— Я зайду на один миг к батюшке и вслед за тобой явлюсь к графу.

— Ради Бога, не замедли. Прощай?

Ханыков пожал руку Валериана и поспешно пошёл вперёд. Когда он повернул в переулок, молодой друг его, посмотрев некоторое время на дом отца, воротился к Аничкову мосту и пошёл через калитку на обширный, заросший дикой травой огород, окружённый ветхим забором, который, начинаясь на берегу Фонтанки, заворачивался на Невский проспект и тянулся на четверть версты.

Из полуразвалившейся хижины, где жил прежде огородник, вдруг, вышла монахиня и приблизилась к Валериану.

— Чем кончился твой поединок? — спросила она.

— Ах, Лельский, я едва узнал тебя, как ты

хорошо перерядился.

Они вошли опять в хижину, и Валериан рассказал ему подробности поединка.

— Теперь только одно свержение герцога может спасти тебя! — воскликнул Лельский. — Может быть, сегодня ночью этот жестокий временщик...

— Разве решено уже приступить так скоро к делу?

— Нет ещё. Сегодня все наши соберутся в доме графа Головкина, к назначенному в три часа обеда, там приступим к общему совещанию. Мы однако ж пойдём к графу несколько ранее. Я ещё должен ему тебя представить. С этого огорода мы можем пробраться на двор Головкина. Вон дом его!

Лельский указал на здание, которое возвышалось из-за забора и обращено было окнами на Невский проспект.

Боже мой! Сюда кто-то идёт! — воскликнул Валериан, глядя в окошко.

— Не бойся! Это также наш, я его ожидал.

Вскоре вошёл в хижину тот самый прислужник Гейера, который был вместе с ним в доме отца Аргамакова, когда принуждали его

подписать отречение от раскола. Валериан, тотчас узнав прислужника, изумился.

— А! Да здесь знакомый! — сказал вошедший. — Видно и он из наших?

— Точно так, — отвечал Лельский. — При нём можно всё говорить. Ну, что нового, любезный Маус?

— Ни всемогущий герцог, ни всеведущий Гейер ничего ещё не знают о нашем деле. Хорошо, что вы здесь! — продолжал прислужник, обращаясь к Валериану. — Брат герцога отстоял только вашего друга, капитана, за то, что он не допустил вас разрубить ему голову на поединке. И в вашу защиту он сказал слова два, три, но когда герцог закричал: расстрелять его! — то ваш противник, не найдя, видно, в этом большого неудобства, тотчас согласился и замолчал.

— Я думаю, теперь везде поручика ищут? — спросил Лельский.

— Как же! Генерал велел мне везде искать вас и схватить, — сказал Маус Валериану. — Берегись, господин поручик! Я вас днём и ночью по всему городу искать буду. Видите ли, иногда и найденного можно искать пуще

ненайденного. Между прочим, должен я вам ещё сказать, что Гейер велел, покуда вас не същут, держать под караулом вашего отца, и объявил ему, что если он не скажет, где вы, то подписанное им отречение от ереси будет представлено герцогу в виде признания, и отца вашего сожгут.

— Что с вами, поручик? Вы ужасно побледнели и дрожите, — сказал Лельский. — Вы видите, что Маус вас нарочно пугает, что он шутит.

— Да, да! Я шучу, хотя и не совсем, — сказал Маус. — Гейер пугает вашего отца, ну, а сожгут ли его, это ещё вопрос. Может быть, он сказал так, для шутки, хотя его, по моему мнению, шутка плохая.

— Мы предупредим это злодейство, — сказал Лельский Валериану, — успокойтесь.

— Веди меня к Гейеру! — воскликнул вдруг Валериан, обратясь к Маусу.

— Что вы, поручик! Шутите? — сказал удивлённый прислужник.

— Веди! Я не хочу подвергать отца моего ужасной казни. Кто знает, удастся ли предприятие наше, успеем ли предупредить зло-

деев и спасти бедного отца моего. Веди!

— Я не пущу тебя! — вскричал Лельский. — Кто поручится, что пытка не заставит тебя открыть всё и предать всех нас. Притом вспомни, что ты поклялся честью действовать с нами заодно до окончания дела.

— Клянусь честью, что никакие мучения пытки не принудят меня изменить вам.

— И что ты так же твёрдо сдержишь и эту клятву, как первую? Нет, я не могу пустить тебя. Ты принудишь меня употреблять силу и даже... этот кинжал... Он приготовлен для защиты от злодеев, он же может наказать и бесчестного человека, который нарушает своё слово. Если пойдёшь к Гейеру, то докажешь, что ты подлый человек.

Чувство чести и чувство любви к родителю, восставленные один против другого в душе Валериана, боролись между собой и терзали его сердце. Невольно вспомнил он советы своего друга.

Лельский и Маус начали уговаривать Валериана и успели, наконец, убедить его, что успех их предприятия не подлежит никакому сомнению, и что он, действуя с ними, скорее

и вернее спасёт отца своего.

— До свидания, господа! — сказал Маус. — Мне пора идти, везде искать вас, господин поручик. Гейер, я думаю, давно ожидает моего возвращения.

Он удалился.

— Скажи, ради Бога, что побудило этого человека передаться на нашу сторону? — спросил Валериан, приближаясь к дому Головкина с Лельским, переодевшимся в своё обыкновенное платье.

— Побудило то, за что люди, подобные этой твари, продадут родного отца. Он вдвойне выигрывает: герцог ему хорошо платит, мы платим ещё лучше, и почтенный Маус усердно служит обеим сторонам.

— Однако ж такой двоедушный или, лучше сказать, бездушный слуга для нас опасен.

— Конечно, но за то и чрезвычайно полезен. Герцог наслаждается уверенностью, что он всех своих врагов знает и зорко наблюдает за ними, а мы уверены, что герцог не знает о нас ничего, — и спокойно действуем у него под носом.

— Дома граф? — спросил Лельский, войдя в

переднюю.

— У себя-с! — отвечал слуга, ввёл пришедших в залу и пошёл доложить о них графу.

Граф Михаил Гаврилович Головкин, действительный тайный советник и сенатор, отличался строгой добродетелью, непоколебимой твёрдостью и пламенной любовью к отечеству. При начале царствования Императрицы Анны Иоанновны он был одним из сильнейших вельмож, но герцог Бирон, которому он был явный враг, мало-помалу успел лишить его доверенности и милости Государыни. Несколько раз Головкин смело обличал перед Монархиней её любимца во вредных для отечества поступках, и, без сомнения, сделался бы жертвой его злобы, если бы не спасало графа то, что супруга его была двоюродная сестра Императрицы[68].

Головкин отличался гостеприимством. Его ласковое обхождение, искреннее ко всем доброжелательство привлекали к нему сердца всех тех, которые посещали дом его.

Вскоре Лельский и Валериан приглашены были в гостиную. Граф сидел на софе и читал книгу.

— А! Любезный Лельский! — сказал он, положив книгу на стол. — Давно я тебя не видал. Добро пожаловать!

— Осмеливаюсь представить вашему сиятельству моего сослуживца, поручика гвардии Валериана Ильича Аргамакова.

— Весьма рад с вами познакомиться, — сказал граф ласково Валериану. — Прошу, господа, садиться.

Начался разговор об обыкновенных предметах, какой заводят в подобных случаях. Граф однако ж из немногих слов Валериана заметил в нём ум и образованность. Он очень ему понравился, и граф пригласил его остаться у него вместе с Лельским обедать. Начали съезжаться гости, принадлежавшие к лучшему кругу общества. Пробыло три часа — и все сели за стол.

Во время обеда весёлые и остроумные разговоры переходили от предмета к предмету, но никто из гостей ни слова не сказал о Бироне.

В половине обеда вдруг слуга поспешно отворил обе половинки дверей, и вошёл Карл Бирон. Граф принял его учтиво, но холодно, и

посадил за стол. Бирон знаком был с графом и от времени до времени приезжал к нему. Он охотно ездил всюду, где находил хороший обед и отличное вино. Ему и дела не было до вражды герцога с графом. Холодного обхождения с ним он не замечал или не хотел замечать, и вознаграждал себя за холодность хозяйина, согревая кровь свою лишним бокалом рейнвейна.

Валериан, сидевший подле Лельского, вздрогнул и изумился, увидев Бирона. «Лельский обманул меня, — подумал он — Есть ли здесь что-нибудь, похожее на тайное совещание!»

Между тем, Бирон сел за стол почти напротив Валериана и едва взял нож и вилку, чтобы разрезать поданное ему кушанье, глаза врагов, утром того дня рубившихся на поединке, встретились. Губы генерала посинели и задрожали. Из-под нахмуренных бровей взор засверкал, как у рассерженной гиены, и устремился на Валериана. Гордо и мужественно смотрел Валериан прямо в лицо своему врагу, и кровь кипела у него в жилах. Оба молчали.

«Странно, что он ещё не взят под стражу! — подумал Бирон. — Приказание брата, конечно, ему ещё неизвестно. Он обедает в последний раз в жизни: не стану мешать ему!»

Серебряная кружка с рейнвейном, поднесённая Бирону, отвлекла его внимание от Валериана. Он разом осушил её и принялся за еду.

Валериан бросил на Лельского значительный взор, который, казалось, спрашивал: что всё это значит? Но Лельский, разрезая прилежно рябчика, делал вид, что он ни о чём другом не думает, как о еде, которая была у него на тарелке. Валериан ничего не мог есть во всё остальное время обеда. Граф, гости его, великолепно освещённая столовая, роскошный стол — всё исчезло из глаз Валериана. Он только видел врага своего, да ещё мечтались ему несчастная Ольга, умоляющая о защите против гнусного оболъстителя, и старике, отце его, который простирал к нему руки с пылающего костра.

Обед кончился, и все из столовой перешли через залу в гостиную. Некоторые остались в

зале. Валериан, взяв за руку Лельского, подвёл его к окну, с намерением требовать от него объяснения, но тот, угадав его мысли, поспешил сказать ему на ухо:

— Потерпи! Ты видишь, что здесь ещё есть не наши.

Часов в девять вечера Бирон уехал. Потом и другие гости, один за другим, стали разъезжаться. Пробыло десять часов. Обычно в это время, в царствование императрицы Анны Иоанновны, прекращались уже все вечерние собрания по предписанному всем правилу, но около пятнадцати гостей, в том числе Лельский и Валериан, остались ещё у графа и поглядывали исподлобья на одного седого сенатора, который, разговорясь с графом о старинном, прошлом времени, совсем, казалось, забыл о настоящем. Наконец, вынув из кармана серебряные часы, которые толщиной превзошли бы дюжину нынешних, сложенных вместе, и имели сходство с большой репой, старичок воскликнул:

— Что за чудо! Уже одиннадцать... нет, виноват!... Без двух минут одиннадцать часов! Как я засиделся! Прощайте, ваше сиятель-

ство!

Граф проводил гостя и возвратился в гостиную. Графиня давно уже ушла в свои комнаты.

— Ваше сиятельство! — сказал ему вполголоса отставной майор Возницын, — все, кого вы здесь теперь видите, уважают и любят вас, как отца. Зная вашу опытность, обширный ум государственный и горячую любовь к отечеству, мы решились просить у вас совета в деле важном, в таком деле, где все мы легко можем потерять свои головы. Но мы на всё решились для блага отечества.

— Что это значит? — спросил удивлённый граф. — Вы неосторожны, майор! Нет ли в зале кого-нибудь из моих слуг? Могли вас подслушать!

Лельский стал у растворенной двери, глядя через неё в пустой зал.

— Вы одни, граф, — продолжал тихо Возницын, — как истинный сын отечества, осмелились перед престолом обличать царедворца, употреблявшего так долго во зло доверенность покойной Монархини. Он поклялся вечной к нам враждой и ждёт давно случая

погубить вас. Теперь враг наш — полновластный правитель. Но кто не знает, какими неотступными просьбами, какими происками успел он убедить Монархиню подписать акт о регентство. Он не устыдился беспрестанно тревожить её на одре болезни. Она желала назначить правительницей принцессу Анну Леопольдовну, родительницу нынешнего Императора, и говорила на просьбы Бирона:

— Сожалею о тебе, герцог, ты стремишься к своей гибели!

Она подписала акт уже тогда, когда духом и телом изнемогла от страданий; Из этого всякому ясно: была ли воля Монархини на то, чтобы герцог был правителем. Чёрная душа его известна. Чего ждать отечеству от подобного правителя, или, лучше сказать, похитителя власти? Мы решились его свергнуть, чтобы похищенная им власть перешла по праву в руки родительницы Императора. Средств у нас много. Мы их откроем вам, граф! Отдадим их на суд ваш. От вас будет зависеть, избрать из них одно или всё отвергнуть. Мы свято исполним решение ваше, уверенные, что оно основано будет на долговре-

менной опытности в делах государственных и на прямой любви к отечеству.

— Вы поставили меня в самое трудное положение, — отвечал граф, — вы поступили безрассудно! Спрашиваю вас: если я в совести признаю Бирона правителем, получившим власть в свои руки по праву, то что я должен теперь делать?

— Донести на нас! — отвечал Возницын.

— Кто подписал акт о регентстве?

— Покойная императрица, но можно ли считать этот акт её волей, когда Бирон...

— Остановитесь! Кто вам или мне дал право быть судьёй в таком важном деле? Где доказательство, что Бирон назначен правителем против воли Императрицы?

— Могла ли она добровольно назначить правителем такого злодея и победить родную племянницу? Утверждать это — значит, оскорблять память монархини!

Но какие причины побуждают вас действовать против Бирона?

— Он сжёг моего родного брата.

Уморил с голоду моего отца! — сказал Лельский.

Все начали один за другим исчислять жестокие и несправедливые поступки Бирона, описывать бедствия, причинённые им отечеству.

— Он погубит и вас, граф! — сказал Возницын...

Пусть погубит, но это не даёт мне права против него действовать. Власть дана Бирону монархиней, и долг мой велит ему повиноваться. Один Бог будет судить его. Акт о регентстве должен быть свято исполняем.

— Но он сам первый нарушил этот акт. Монархиня повелела ему оказывать должное уважение родителям императора, а он беспрестанно оскорбляет их. Вы сами, граф, это знаете.

— Справедливо, но в этом случае родители императора сами имеют средств принудить Бирона к исполнению акта. Какое имеете вы, право вступаться в это дело без их воли.

— По точной воле их мы действуем, граф! — отвечал директор канцелярии принца Брауншвейгского, Граманит. — По воле их пришли мы просить у вас совета, как у мужа опытного и знающего пользы отечества. Я

уполномочен объявить вам это. Через меня они ожидают ответа вашего.

Граф задумался.

— В числе придуманных средств к свержению Бирона, — продолжал Граманит, — находится и то, чтобы с семёновским полком, которым принц командует, идти во дворец, схватить Бирона с его приверженцами, лишить звания правителя и предать его суду за нарушение акта о регентстве. Одобряете ли вы это средство, граф?

— Бирон враг мой, и потому мнение моё легко может быть пристрастно. Скажите, однако ж, принцу, как я думаю по совести. Мне кажется, несправедливо будет для восстановления силы одной нарушенной, части акта нарушить весь акт.

— Но как же, граф: ваше собственное мнение?

— На этот вопрос мне отвечать затруднительно. Мнение моё не будет приятно для принца, Сказать лесть или ложь против совести я не могу, открыть же истинное моё мнение не хочу и на это имею причины.

Все начали убедительно просить Головки-

на, чтобы он сказал своё мнение, все умоляли его именем отечества.

Убеждённый неотступными просьбами, граф сказал:

— Поклянитесь прежде, что вы сохраните до гроба втайне моё мнение. Скажите мне, как предписывает Евангелие: да! И это будет самая священная клятва.

Все исполнили требование графа.

— По завещанию императрицы Екатерины I, право на престол принадлежит теперь цесаревне Елизавете Петровне. Ей бы следовало вступить на престол. Если бы она захотела воспользоваться её правом, то этого было бы достаточно, чтобы признать акт о регентстве недействительным, так как этот акт состоялся после завещания императрицы Екатерины, которое не уничтожено и имеет полную силу. Но Бирон на всё решится для удержания власти в своих руках, и легко могут произойти беспорядки и кровопролитие. Кто любит отечество, тот должен всеми силами отвращать внутренние неурядицы, неизбежные при каждом перевороте в правлении. Это лишь удерживает цесаревну Елизавету от

предъявления неоспоримых прав её. Она дорожит каждой каплей русской крови. Всем известно её кроткое и добродетельное сердце. Без её воли акт о регентстве никем другим по праву нарушен быть не может. Если же акт кто-нибудь нарушит, то права её на престол будут ещё сильнее, неоспоримее. Тогда она будет поставлена в необходимость действовать. Без акта и малолетний император, и родители его лишатся всех прав своих.

— Однако же, принц твёрдо решил низвергнуть Бирона, — сказал Граманит, — что должен я буду ему сказать от вас о мере, им придуманной?

— Скажите принцу, что я Считаю эту меру насильственной и опасной. Измайловским полком командует меньшей брат Бирона, Густав, а конным — сын герцога, Пётр. Если принц поведёт Семёновский полк ко дворцу, то легко может встретить два полка, которые ему противостанут. Пусть он сам рассудит, что тогда произойти может. Если же принц непременно уже решил действовать, то лучше всего от лица народа просить родительницу нынешнего императора, чтобы она

приняла на себя управление государством во время его малолетства и избавила отечество от ненавистного всем правителя. Объявив народу согласие на эту просьбу, принцесса в тот же миг лишит Бирона всей его власти. Все ненавидят его, и, без сомнения, никто на его стороне не останется. Мне сообщил эту мысль, друг мой, князь Черкасский. Приготовьте просьбу и вручите ему, пусть он окончит это дело. Я не хочу присвоить себе чужих заслуг, ему принадлежит эта мысль, пусть принц и принцесса будут ему обязаны и за исполнение его мысли.

Все начали благодарить графа за данный совет и решились на другой же день идти к князю Черкасскому. Прощаясь с ними, граф сказал:

— Я открыл вам то, что следовало бы таить в глубине души. Впрочем, когда дело идёт о благе отечества, я всегда говорю, что думаю, по совести, и забываю о себе. Теперь от вас зависит предать меня.

Все поклялись хранить в ненарушимой тайне участие графа в этом деле...

На другой день рано утром все бывшие на совещании у Головкина явились к кабинет-министру, князь Алексею Михайловичу Черкасскому, с приготовленной просьбой; множеством лиц подписанной. Возницын был с ним дружен и знал, что князь питал втайне к Бирону такую, же ненависть, как и все они. Тем с большей уверенностью в успехе последовали они совету Головкина.

Князь велел пришедших позвать в кабинет.

— Что вам угодно, господа? — спросил он с приметным беспокойством и недоверчивостью.

Возницын объявил цель их прихода и подал приготовленную бумагу.

— Прекрасно! — сказал рассеянно князь, прочитав бумагу и стараясь скрыть своё волнение.

— Это ваша мысль, князь, — продолжал Возницын, — отечество вам вечно будет благодарно!

— Как моя мысль? Кто вам сказал это?

— Вы бы не сказали: прекрасно, если бы думали иное.

— Поймали меня, майор!... Ну, герцог! Теперь не много осталось тебе властвовать! Не должно терять ни минуты, я сейчас же поеду с этой просьбой к её высочеству принцессе. До свидания, господа! Я пойду одеваться. Советую, однако ж, быть как можно осторожнее, без того легко голову потерять. Впрочем, успех несомненный! Я вас ожидаю к себе завтра утром.

Все удалились. Валериан с Лельским опять скрылись в хижину на огороде, где были накануне.

Князь Черкасский, оставшись один, начал расхаживать большими шагами взад и вперёд по комнате. Сначала решил он ехать к принцессе, но вдруг пришла ему мысль, что Бирон нарочно подослал приходивших с просьбой людей, чтобы обнаружить настоящее расположение к нему князя и запутать его в свои сети.

«Нет, господин герцог, не поймаешь меня!» — подумал князь и поехал немедленно

к Бирону, для представления ему поданной просьбы.

Между тем, Маус явился к Лельскому с до-несением.

— Ну, что доброго нам скажешь?

— Всё благополучно. Герцогу ничего ещё неизвестно.

— Не забудь: ни слова о Головкине при этой твари! — сказал Лельский на ухо Валериану.

— Что это, господа? Вы шепчетесь? От меня, кажется, не для чего таиться.

— А тебе хочется непременно знать, что я сказал поручику на ухо? Это неприятная для тебя новость.

— Какая?

— Да я заметил, что у тебя сегодня нос необыкновенно красен. Видно, ты уже порядочно позавтракал. Признайся: верно, выпил польиной?

— Нет, я всегда пью только сладкую водку, и весьма умеренно. Нос мой покраснел от холоду... Ба! Что это? Сюда идут люди! Спасайтесь, господа!

Маус вскочил на печь и прижался в угол.

— Вяжите их! — вскричал Гейер, входя в хижину с прислужниками. — Обыщите всю избу: нет ли ещё кого-нибудь здесь.

— Я здесь, господин Гейер! — отвечал спокойно Маус, слезая с печи. — Я спрятался и подслушал тайный разговор этих господ, у меня волосы стали дыбом, они условились убить герцога. Под печкой спрятано у них платье монахини и кинжал. Вот, извольте посмотреть! Я давно уже присматривал за этими молодцами. Они часто в этой избушке скрывались. Это возбудило во мне подозрение, я решился их подслушать и сделал своё дело, несмотря на то, что жизни моей грозила величайшая опасность.

— Ты усердный и искусный мальй! — сказал Гейер, потрепав Мауса по плечу. — Я поговорю о тебе сегодня же с герцогом.

— Вот как надобно служить! — продолжал Гейер, обратясь к прочим прислужникам. — Берите все с него пример!

— И от нас тебе спасибо, Маус! — сказал Лельский, глядя на него презрительно, между тем как тот затягивал ему руки верёвкой:

— Ты нам также усердно служил до сих

пор.

— Гё, ге, старая песня, почтенный! — возразил Маус. — Кого из нас, грешных, пойманные нами злодеи не оговаривают, да жаль, что никто им не верит.

— Не стоит и отвечать на клевету, Маус! Ведите их! — сказал Гейер.

Возницын и все приходившие к князю Черкасскому были схвачены ещё прежде Лельского и Валериана. С огорода вывели их на берег Фонтанки и посадили в телегу. Для сопровождения их отрядив четырёх вооружённых прислужников и Мауса, Гейер сказал последнему:

— Ты отвечаешь головой за верное доставление преступников, ты знаешь куда. Смотри, чтоб всё было готово для допроса. Герцог приказал представить ему немедленно признания всех заговорщиков. Вези их скорее. Я приеду вслед за тобой.

Валериана и Лельского повезли по берегу Фонтанки к Неве. Увидев дом отца своего, Валериан закрыл лицо платком и зарыдал.

— Бедный батюшка! Ты уже никогда не увидишь твоего сына! — произнёс он горест-

но.

— Вот дом твоего отца! — сказал ему Маус. — Тебе ещё не известно, и что почтенный твой родитель в наших руках. Господин Гейер долго искал тебя, требовал от твоего отца, чтобы он объявил, где ты, и наконец, потеряв терпение, исполнил то, что обещал, то есть, представил герцогу подписанное отцом признание в ереси. С еретиками суд короток: взведут на костёр — и поминай как звали!

Невозможно изобразить, какое ужасное действие произвели эти слова на Валериана. Готовясь к скорой и неизбежной смерти, несчастный вдруг узнал, что, увлёкшись обманчивой надеждой на успех предприятия против герцога, он возвёл престарелого отца своего на костёр. «Боже! Неужели я отцеубийца? — с ужасом и неизобразимой тоской спрашивал он мысленно самого себя. — Ты мог спасти, и не спас отца твоего! Да, ты отцеубийца!» — говорил ему неясный, внутренний голос. Трепет пробегал по всем членам Валериана, и холодный пот крупными каплями выступал на бледном лице его. На миг в смятенной его душе восстал образ Ольги — и тер-

заемное раскаянием сердце отвергло свою любимицу. Любовь к ней, думал Валериан, сделала меня отцеубийцей!

Ханыков, несколько дней везде искавший понапрасну своего друга, узнал о его участии вскоре после взятия его под стражу. Это сильно поразило его, тем более, что граф Миних, убеждённый просьбами Ханыкова, пришедшего к нему прямо с поединка, решился горячо вступить за Валериана и надеялся, что его ходатайство подействует на герцога. Фельдмаршал сообщил своё намерение отцу несовершеннолетнего Императора, принцу Брауншвейгскому, который также взял сторону Валериана. Без сомнения, настояние этих двух лиц, которых герцог втайне опасался, успело бы спасти поручика, примирило бы его с братом герцога и возвратило бы ему Ольгу.

Немедленно Ханыков побежал к фельдмаршалу и рассказал ему случившееся с Валерианом, всё ещё питая слабую надежду, что твёрдость и необыкновенный ум графа найдёт средство, по крайней мере, спасти Валериана от казни и облегчить судьбу его.

Выслушав Ханыкова, Миних пожал плечами и сказал:

— Жаль, очень жаль! Пылкость увлекла его слишком далеко: теперь уже спасти его невозможно. Ни я, ни принц теперь не решимся ходатайствовать за него перед герцогом.

Ханыков невольно признал справедливость слов графа и вышел от него, погруженный в самые мрачные мысли. Когда он проходил по Красной улице, потупив глаза в землю и не замечая даже, где он идёт, то вдруг, подняв глаза, увидел перед собой дворец Цесаревны Елизаветы Петровны. Он имел свободный к ней доступ. Помня благодеяния, оказанные отцу его, и питая в душе глубокое уважение к добродетелям, отличавшим дочь Петра Великого; Ханыков готов был жертвовать жизнью за цесаревну Елизавету, если бы то было нужно для её блага.

Желая испытать ещё какое-нибудь средство для спасения своего друга, Ханыков, без определённого, впрочем, намерения, решился войти во дворец Елизаветы, презирая опасность, которой подвергался, потому что это

могло опять навлечь на него подозрение и подвергнуть пытке, как уже прежде то случилось.

— Если бы она была на престоле, как бы блаженствовало отечество! — размышлял Ханьков, всходя по лестнице. — Оно бы отдохнуло от бедствий, нанесённых ему тираном-иноземцем Бироном. Все русские сердца забились бы от восторга, когда бы явилась на престоле, как благотворное солнце после бури, кроткая Елизавета. Кровь Петра Великого течёт в её жилах. Любовь к справедливости, кротость, милосердие — эти высокие, наследственные добродетели Дома Романовых, — украшают её сердце... Она имеет неоспоримые права на престол, и не хочет престола, дорожа русской кровью, которую всякий русский с радостью готов пролить за неё.

Он вошёл в залу. Фрейлина, там бывшая, по просьбе Ханькова, доложила о нём цесаревне Елизавете.

Хотя Елизавета в то время достигла уже тридцатого года жизни, но и восемнадцатилетняя красавица могла бы втайне позавидовать цесаревне, смотря на её лилейную белиз-

ну лица и рук, на нежный румянец, игравший на щеках, на пурпурные уста, которые украшались постоянной улыбкой, выражавшей кротость и добродушие, на тёмно-карие, полные жизни глаза, на чёрные, прелестные брови. Сверх того, Елизавету отличали высокий рост, тонкий и стройный стан, величавая походка, ясный взор, который выражал пронзительность и живость ума и в то же время спокойствие, безмятежность добродетельного сердца.

— Здравствуй, капитан! — сказала цесаревна приветливо, выйдя из внутренних комнат в залу в сопровождении её фрейлины.

Ханыков поклонился и почтительно поцеловал руку, которую подала ему цесаревна с таким доброжелательством во взоре, что незаметно в ней было и тени важно-холодного соблюдения дворянских обычаев, напротив того, казалось, что любимый сын целует руку у доброй матери.

— Я слышала, ты пострадал, Ханыков, за то, что не хотел забыть тех незначительных пособий, которые я, для собственного удовольствия, оказывала покойному отцу твое-

му. Я сердечно о тебе пожалела.

— Мне бы следовало благодарить ваше высочество, но... простите солдата! Чем сильнее он чувствует, тем труднее для него выражать свои чувства.

— Странно, что герцог и меня вздумал подозревать в замыслах против него? Это меня удивило. Его обращение со мною с тех пор, как он сделался правителем, стало гораздо лучше, чем прежде. Он, кажется, искренно расположен ко мне. Ему не пришло бы в голову назначить мне по пятидесяти тысяч рублей в год пенсии, если б он питал ко мне неприязнь и считал меня для себя опасной.

— А я смею думать иначе, ваше высочество, это именно и доказывает, что герцог вас опасается. Вы действительно для него опасны.

— Я? Я для него опасна? Чем?

— Преданностью и любовью к вам всех русских.

— Если это и справедливо, то я несколько не виновата перед герцогом.

— Злой человек всегда считает всех добродетельных своими врагами. Они против воли

своей служат укором всех его поступков. Ах, ваше высочество! Долго ли отечество будет страдать под железным игом этого иноземца? Дождутся ли когда-нибудь русские времён лучших?

Цесаревна вздохнула и, взглянув на фрейлину, стоявшую в некотором от неё отдалении, сделала ей знак рукой, чтоб она удалилась.

— Если бы Провидение вложило в сердце вашего высочества намерение потребовать исполнения неоспоримых прав ваших на престол, то Бирон...

— Не говори мне этого, Ханыков! Я знаю права свои, но не хочу ими пользоваться. Мне ли, слабой женщине, управлять обширнейшим в свете царством, когда тягость этого бремени чувствовал даже покойный родитель мой! Достанет ли у меня сил принять на себя перед Богом ответственность за счастье миллионов? Последний подданный, по моему небрежению или неведению, несправедливо обвинённый и погибший в напрасном ожидании моей защиты, потребовал бы меня на страшном суде к Престолу царя царей и обви-

нил бы меня перед Ним.

— Ваше высочество! Скажу вам прямо, что думаю и чувствую. Если перед Царя царей требуют вас все погибшие от злобы Бирона, если все русские, страдавшие и страдающие под игом этого жестокого человека, скажут: «Елизавета могла спасти нас и не спасла». Что вы скажете в оправдание?

Слова эти произвели глубокое впечатление на цесаревну. С приметным волнением она подошла к окну и в задумчивости устремила взоры на покрытое тучами небо.

— Не проходит дня,— чтобы кровь новой жертвы не обагрила секиры палача! — продолжал с жаром Ханыков. — Воздвигаются костры, и стоны сожигаемых летят к небу. Нестерпимые мучения, пытки исторгают признания у невинных в небывалых преступлениях, и невинные гибнут жертвами гнусных доносов, тайной вражды!

— О! если бы я имела власть, я истребила бы навсегда все эти ужасы в памяти русских, но власть в руках герцога, её твёрдо охраняют его лазутчики и телохранители.

— Одна любовь народная может назваться

неизменным и надёжным телохранителем властителя, один этот страж лучше тысячи доносчиков. Толпа их окружает и оберегает Бирона, но какая в том для него польза? Он каждый день удостоверяется только в том, что его все ненавидят, каждый день он мстит, мстит ужасно своим врагам и недоброжелателям, но истребляет ли он этим вражду и ненависть? Нет! Он только возжигает их! Властитель добродетельный и справедливый может также иметь врагов, но он выше чувства мщения, тайные наветы не смоют и не могут очернить перед ним невинности, всех злых карает он силой закона величественно и грозно, как Божия молния, слетающая с неба. Так действовал великий родитель ваш, цесаревна!... В вас течёт кровь его, воскресите для отечества славный и счастливый век Петра Великого!

У Елизаветы навернулись на глаза слёзы.

— Если б я была уверена, — сказала она с чувством, — что у меня достанет сил для этого подвига, то я решилась бы теперь же действовать. Я бы с радостью пожертвовала спокойствием жизни для блага отечества, но я

должна прежде испытать себя... Теперь стану молиться о счастье русских. Небо покажет мне, должна ли я буду действовать. Ханыков! Ты заставил меня сказать более, нежели следовало, но я полагаюсь на твою преданность мне. Кончим разговор! Ни слова более об этом!

— Ваше высочество! Осмелюсь ли я просить у вас новой милости, нового благодеяния?

— Всё готова сделать, что от меня зависит. Ханыков рассказал всё случившееся с его другом. С необыкновенным волнением и участием слушала Елизавета рассказ его.

— Спасите несчастного, ваше высочество! — продолжал Ханыков, — ходатайство ваше за него, без сомнения, подействует на герцога.

— Оно будет бесполезно! — возразила Елизавета с тяжёлым вздохом. — Герцог тем ужаснее мстит, чем более встречает препятствий в своём мщении.

— Итак, друг мой должен погибнуть! Боже мой! Как перенесёт этот удар престарелый отец его? Лишиться единственного сына, и

так лишиться... О! Это ужасно!

Ханыков не знал ещё об участии, готовившейся отцу Валериана. Елизавета заплакала и, сняв с руки драгоценный перстень, сказала тихо Ханыкову:

— Отдай бедному отцу от меня это. Пусть этот перстень будет для него знаком искреннего моего сострадания. Утешай несчастного старика, Ханыков, не оставляй в дни его скорби. О! Если б от меня зависело спасти его сына!...

Тронутый Ханыков взял перстень и, откланявшись, удалился. Приближаясь к своему дому, встретил он незнакомца, завернувшегося в широкий плащ, с надвинутой на глаза шляпой. Незнакомец шёл с заметной робостью и часто останавливался, осматриваясь во все стороны. Увидев Ханыкова, он вздрогнул. Ханыков, погруженный в горестные размышления, не обратил на это внимания. Взойдя на лестницу и (отпирая дверь своей квартиры, он удивился, увидев незнакомца, который шёл за ним по лестнице.

— Спасите меня! — сказал тихо незнакомец жалобным голосом, приблизясь к капита-

ну.

— Кто ты?

Незнакомец, распахнув плащ, снял шляпу.

— Боже мой! — воскликнул изумлённый Ханыков: перед ним стояла Ольга. Прелестное лицо её было бледно; страдание, страх, изнеможение, отчаяние яркими чертами на нём изображались:

— Войдите! — сказал Ханыков, взяв её за руку и входя с нею в свои комнаты. Он помог ей снять плащ и посадил на софу.

— Я хотела идти к батюшке, — начала Ольга слабым голосом, после некоторого молчания, — но побоялась: там могут, легко отыскать меня; я могла бы и батюшку) погубить; он защитит меня не может, брат герцога стал бы мстить ему.

— Вы пришли сюда из загородного дома Бирона?

— Да, он довёл меня до того, что я тихонько убежала. Он злой и бесчестный человек! Какая ему польза обижать беззащитную девушку? Что я ему сделала?... Давно ли вы видели батюшку? Здоров он? Ради Бога, не обманывайте меня!

— Здоров. Мы недавно с ним виделись.

— Вы меня не выгоните отсюда? Ради Бога, позвольте несколько дней у вас остаться. Я не буду долго подвергать вас опасности, я убегу, должна убежать...

— Но куда же...

— Куда-нибудь... сама не знаю! Туда, где брат герцога не может найти меня.

— Успокойтесь, вы можете остаться у меня, сколько хотите. Ручаюсь вам этой шпагой, что вас никто здесь не оскорбит: я имею случай просить за вас Цесаревну Елизавету. Она возьмёт вас под свою защиту, в этом я уверен.

— Я вам целую жизнь буду благодарна.

— Вы очень ослабли, вам нужно отдохнуть. Будьте, ради Бога, повеселее! Отдаю вам эту комнату в полное владение, а сам отправляюсь теперь в другую. Там буду я на аванпосте. В случае неприятельского нападения, то есть, когда кто-нибудь придёт ко мне, скройтесь за эти ширмы для большей безопасности. Я знаю, что вы и без моей просьбы шуметь тогда не будете, зато я берусь пошуметь за двоих. Теперь позвольте мне удалиться на аванпост и затворить эту дверь, чтоб вам бы-

ло покойней в вашем укрепленном лагере.

Через несколько часов пришёл к Ханыкову знакомец его отставной премьер-майор Тулупов. По праву соседства по деревням он нередко навещал капитана, хотя тот всегда принимал его весьма неохотно. Премьер-майору до этого дела не было, цель его посещения ограничивалась рюмкой водки и трубкой табаку.

— Здравия желаю, капитан! — сказал он громогласно, войдя в комнату. — Я думал, что вас дома нет, вы ныне запираетесь. Я, было, поцеловал пробой, да и пошёл домой, однако ж, посмотрел в замочную скважину и увидел, что ключ тут, я и смекнул отдёрнуть задвижки у двери внизу и вверху, и вошёл, как изволите видеть!

Премьер-майор в заключение громко и ба-систо засмеялся от внутреннего сознания своей любезности и остроумия.

— Очень рад вашему посещению, — отвечал Ханыков, в мыслях посылая гостя к черту.

— Ну что, батюшка, заговор? Ведь вы не лазутчик, так я с вами всегда откровенно говорю. Здесь, кажется, никто нас не подслуша-

ет.

— Какой заговор? — сказал Ханыков в замешательстве, опасаясь, как бы чего-нибудь не сказать о Валериане.

В это время ещё кто-то вошёл в переднюю. Ханыков обрадовался этому, потому что Тулупов, приложив к губам палец, замолчал.

Вошёл Мурашёв.

— А! Любезный дружище! — воскликнул Тулупов, обнимая Мурашёва, — мы уже с тобой с месяц не видались! Позволь поздравить тебя: мне сказывали, что брат его высочества на твоей дочке женится. Я сначала не поверил, признаться. Поздравляю! Этакое счастье, подумаешь!

Мурашёв ничего не отвечал, тяжело вздохнул и сел в кресла.

— Да что ты смотришь таким сентябрём? Нездоров, что ли? У меня есть настойка с зверобоем, я пришлю полштофа, такое лекарство, что мёртвых только не воскрешает. А что ж, капитан, ведь и у тебя знатная водка. Постой, сиди, не трудись, я сам достану из шкафа, я ведь знаю, где твой графинчик стоит.

Осушив рюмку водки, премьер-майор поморщился и крякнул по форме, как будто по необходимости выпил неприятное лекарство.

— Говорят, что всех заговорщиков на днях отправят на тот свет, — продолжал он. — Набить было трубочку!... Люблю за то Бирона: отцу родному не спустить... Славный табак! Человек пятнадцать в беду попались, я слышал... Верно, у вас трубка давно не чищена, капитан: горечь в рот попадает... Вашего приятеля также грех попутал! Весьма это жалко! Удивляюсь, как с умом Валериана Ильича... Верно, у вас табак сыр: трубка погасла.

Мурашёв, сплеснув руками, взглянул на Ханькова и спросил:

— Неужели и Валериан Ильич...

— Пустые слухи! — прервал Ханькова, — мало ли что говорят!

— Как пустые! — возразил Тулупов. — Я вам говорю, что...

— Граф Миних просил за него герцога — и он прощён.

— Слава Богу! — сказал Мурашёв. — Я именно затем пришёл к вам, чтобы наведаться о Валериане Ильиче.

— Помилуйте! — закричал Тулупов. — Да я слышал от верного человека...

— Что, теперь дождь идёт? Это правда! Когда же вы мне пришлёте зверобойные настойки? Ведь давно уже обещали.

— Виноват, всё забываю! Завтра же пришлю, и вот, узелок на платке завяжу на память.

Ханьков был на иголках. Опасаясь, чтобы Ольга, без того уже ослабевшая от страданий и усталости... неожиданно не услышала ужасной вести о Валериане, он заминал речи словоохотного премьер-майора и наконец успел навести его на любимую колею, напомнить о ссоре с помещиком Дуболобовым за похищенного у премьер-майора неизвестно кем селезня. В этот раз Ханьков весьма был рад, когда началось повествование о селезне, давно ему уже известное. Рассказ начался с деда Дуболобова: кто он был, где и как служил, как попался под суд, как оправдался, на ком женился, сколько взял душ в приданое, словом сказать, истощены были все биографические известия о деду похитителя селезня, потом о сыне его, наконец, о внуке. Повествование лилось ре-

кою не хуже романтической поэмы, с явным презрением к устарелому, схоластическому требованию единства действия, времени и места, и кончилось тем, что пропавший селезень (которого не отыскали, несмотря на все старания и меры), совершенно пропал и в рассказе.

— Таким образом, изволите видеть, — заключил премьер-майор, — этот бездельник Дуболобов воображает, что он важная фигура, между тем, как я вам уже докладывал, дед его до женитьбы торговал гороховым киселём. Это не выдумка, поверьте моей совести, это сказывала мне Марeya Поликарповна, моя соседка, а она слышала от её покойной матушки, которая сама иногда кисель покупала. Я иначе и не называю Дуболобова, как гороховым кисельником. Он жаловался воеводе, и однажды, по злобе, называл Марeyю Поликарповну, за именинным обедом у помещика Губина, трещоткой. Она также жаловалась воеводе, однако ж, дело ничем не кончилось, гриб съел, разбойник!

Мурашëв, не дождавшись этого занимательного окончания премьер-майорского рас-

сказа, ушёл домой. Вскоре и повествователь, заметив, что уже десять часов вечера, взял шляпу и пожелал хозяину спокойной ночи.

Ханыков подошёл тихонько к двери комнаты, где была Ольга, и заметил, что дверь заперта. Дай Бог, чтобы бедняжка ничего не расслышала о Валериане, — подумал он, и вскоре услышал, что Ольга произносит вполголоса молитву. Вздохнув, он сел на софу и не раньше полуночи заснул. Во сне ему привиделось, что Валериану отрубили на его глазах голову. Это было на рассвете. В ужасе Ханыков вскочил и никак не мог уже потом заснуть.

В пять часов утра явился Гейер в Летний дворец с бумагами. Это были показания заговорщиков, вынужденные пыткой.

Герцог накануне ещё приказал камердинеру своему доложить ему тотчас же, как скоро явится Гейер.

Бирона немедленно разбудили, и вскоре Гейер был позван в кабинет. Там Бирон, в малиновом бархатном халате, подбитом собольим мехом, неровными шагами расхаживал вдоль и поперёк кабинета. Лицо его было бледно, глаза, от беспокойного и не вовремя прерванного сна, были мутны и красны, непричёсанные волосы его сравнил бы поэт со змеями, вьющимися на голове Медузы. Ужасный вид герцога мог окаменить всякого, как вид этой баснословной головы. Даже Гейера, давно привыкшего уже к Бирону, в этот раз проняла сильная дрожь.

— Что ты стоишь, как чурбан? — закричал Бирон, топнув ногой. — Читай!

Секретарь начал торопливо читать при-

знания заговорщиков, заикаясь от робости.

— Майор Возницын был жестоко пытан и сказал, что он вздумал сам просить князя Черкасского о подаче просьбы принцессе, сам писал просьбу, и никто другой его к тому не подговаривал. Он был зачинщиком всего заговора по злобе против вашего высочества за смерть своего брата.

— Га! — воскликнул Бирон ужасным голосом. — Колесовать его!

— Капитан Лельский не признался...

— Что ж ты не записал моего приговора, болван?

— Я полагал, что по закону суд должен прежде...

— Суд?... Ты полагал?... Ты, ты смеешь меня учить! — закричал Бирон, едва дыша от гнева. — Пиши: колесовать! Чтобы ночью в четыре часа, за городом, без огласки, приговор этот был исполнен, как скоро всё приготовлено будет для казни, слышишь ли? Ты головой отвечаешь, если одну минуту промедлишь. Чтобы ровно в четыре часа ночи все преступники были казнены. Читай далее!

— Капитан Лельский ни в чём не признал-

ся, но Маус показывает, что он хотел якобы лишить ваше высочество жизни.

Бирон онемел от ярости, губы его дрожали, глаза страшно сверкали, как у безумного, и остановились на Гейере. Он смотрел на него, как тигр, готовый броситься на свою жертву.

— Сжечь злодея! — сказал он, наконец, с усилием, ударив кулаком по столу. — Сжечь медленным огнём!

— Поручик Аргамаков признался, что он вступил в заговор только для того, чтобы спасти отца своего от костра и чтобы освободить, якобы, из рук брата вашего высочества какую-то свою невесту.

— Расстрелять, а отца его сжечь!

Таким образом, Гейер прочитал признания всех приходивших к князю Черкасскому. Все они сдержали слово, данное ими Головкину. Пытка не принудила их упомянуть даже его имя. Бирон всем назначил смертную казнь. Когда Гейер читал признание директора канцелярии принца Брауншвейгского, Граманита, показавшего, что он действовал по воле принца, то Бирон закричал:

— Отрубить обоим головы! Принц не за-

щищается тем, что он отец малолетнего императора!

Через несколько минут Бирон одумался.

— Отрубить голову одному Граманиту, — сказал он, — а к принцу сейчас послать приказание, чтобы он явился ко мне. Я сам допрошу его. О всех уже преступниках доложено?

Гейер отвечал, что осталось доложить об одном ещё, что он в тот день получил безымянный донос, где было сказано, что живущий в уезде помещик Дуболобов знаком был с Возницыным, вероятно, знал о его замыслах и однажды в пьяном виде осмелился назвать герцога медведем.

— Прикажете его допросить? — спросил Гейер.

— Не о чем допрашивать, это напрасная потеря времени! Немедленно послать за ним в уезд, схватить и в мешке бросить в воду.

Тулупов, подавший этот донос, не воображал, что дело примет такой оборот. Увлечённый ненавистью к Дуболобову, он хотел только потешиться и ввалить своего врага в хлопоты. Он был уверен, что тот легко оправдается.

— Дуболобов, живя спокойно в деревне, не знал и не заботился о том, что делается в столице. Ему и на ум прийти не могло, что за селеня, без всякой его вины пропавшего у соседа года за три перед тем, его наконец приговорят к смертной казни.

Гейер, по знаку Бирона, удалился, а герцог, одевшись и богатое платье, пошёл со свитою в залу, находившуюся в деревянном дворце покойной императрицы, который стоял на месте нынешней решётки Летнего сада.

Вскоре приехали к герцогу, один за другим, с докладами: кабинет-министры, граф Остерман, князь Черкасский и Бестужев, фельдмаршал граф Миних и несколько сенаторов. Герцог велел позвать всех в залу, не сказал никому ни слова и сел в большие бархатные кресла, сурово поглядывая от времени до времени на дубовую, украшенную золотом и резьбою дверь, через которую входили в залу. Все прочие стояли в недоумении и молчании, которого никто не осмеливался первый нарушить.

Наконец, дверь отворилась, и вошёл принц Брауншвейгский.

— Принц! — сказал Бирон, не встав с кресла и глядя прямо в глаза Антону Ульриху, — известно ли вам, что я правитель государства, и что я облечён полною властью решать все дела в империи, как внутренняя, так и внешняя?

— К чему клонится этот вопрос? — сказал спокойно принц. — Вы, без сомнения, помните, что я читал акт о регентстве?

— Но вы, вы не хотите помнить этого! — закричал гневно Бирон, топая обеими ногами. — Вы забыли, что я имею право суда над всеми, не исключая и вас, принц! Советую вам оставить ваши замыслы, а не то... страшитесь!

— Чего?... Не вас ли, герцог?

— Да! Меня!... Прошу вас воздержаться от этой презрительной улыбки, вы за неё можете заплатить очень дорого!

— Что значат эти угрозы? Я, в свою очередь, спрашиваю, помнит ли герцог Бирон акт о регентстве и по какому праву забывает предписанное ему уважение к отцу императора? Нарушая этим акт, герцог подаёт другим опасный пример!

— Не вам судить мои поступки! Вы на то права не имеете! Отвечайте мне, я вас спрашиваю как полновластный правитель государства, какие вы имели замыслы против меня?

— Замыслы?... На этот дерзкий вопрос я не обязан отвечать и не хочу.

— Я вам приказываю.

— А я вас прошу не переступить границ вашей власти.

— Не ставьте меня в необходимость поступать с вами, как с явным ослушником и мятежником!

— Остерегитесь, чтоб с вами не поступили как с нарушителем акта, без которого вы не останетесь уже правителем.

— Я знаю, что это цель ваших желаний. Вы для того готовы пролить реки крови! Вы забыли все, чем вы мне обязаны. Знайте, что Граманит ваш во всём признался, все замыслы ваши мне уже известны.

— Я не обязан отвечать за слова и поступки другого. Пыткой вы могли, без сомнения, заставить Граманита признаться, в чём вам было угодно.

— Не скроете хитрость вашего преступления: оно слишком явно, неблагодарный, кровожадный человек!

Лицо принца вспыхнуло негодованием. Дерзость Бирона его изумила. Отступив на шаг, он устремил гневный взор на герцога, и потряс шпагой, схватив эфес левой рукой. Бирон, как бешеный, вскочил с кресла.

— Я готов с вами разделаться и с этим в руках! — закричал он, ударив по своей шпаге ладонью.

— До этого дошло уже, герцог! Вы вызываете на поединок отца вашего государя?... Всё кончено между нами!... Не знаю: не унижу ли я себя, приняв ваш вызов? Впрочем, предоставляю это вашему решению, я на всё согласен.

Принц поспешно удалился. Бирон начал ходить большими шагами взад и вперёд по зале, произнося вполголоса угрозы. Все, там бывшие, в молчании смотрели на него с беспокойством.

— Я слишком расстроен! — сказал наконец Бирон. — Я не могу заниматься делами сегодня. Фельдмаршал! — продолжал он, обратясь

к графу Миниху, — я лишаю принца всех должностей, которые он занимал в войске. Объявить ему это и исполнить сегодня же.

Миних поклонился. Герцог, тяжело дыша, сел в кресла и подал знак рукою, чтобы все удалились. Все вышли тихо из залы.

XI

Вдали раздавался звук барабана: били в черную зарю. Ханыков, сидя в своей комнате с Ольгою, шутил наперекор сердцу, удрученному горестью, утешал бедную девушку, скрывая от неё участь Валериана и стараясь возбудить в ней утешительную надежду на скорый конец её бедствий, и чем более успевал в этом, тем сердце его сильнее терзалось мыслью: несчастная! Она не знает ужасной истины. Достанет ли у неё силы перенести удар, который неминуемо и скоро её постигнет? Найду ли я средство защитить её? Мудрено мне бороться с братом герцога!

Осторожный стук в дверь прервал разговор их. Ольга скрылась по-прежнему в комнату, уступленную ей капитаном. Ханыков от-

ворил двери на лестницу и удивился, увидев Мауса.

— Что надобно тебе? — спросил он сухо, не впуская его в комнаты.

— Мне нужно поговорить с вами, господин капитан, наедине, о весьма важном, как думаю, для вас деле. Нет ли кого-нибудь у вас?

— Никого нет, а если бы и был кто, то я не обязан давать тебе в том отчёта. Говори скорее, чего ты от меня хочешь? Мне пора спать.

— Дайте мне честное слово, что свидание и разговор останутся втайне.

— Вот ещё какие требования. Говори скорее без околичностей, а не то можешь открывать свои тайны кому хочешь, только не мне.

— Вы раскаетесь, капитан.

— Легко статься может, если поговорю с тобой подолее. Ступай, любезный! Желаю тебе доброй ночи.

— Чей это почерк? — спросил Маус, показывая записку и держа её крепко в руке, из опасения, чтобы Ханыков её не вырвал. Спрятав проворно записку в карман, Маус продолжал:

— Что, капитан? Дадите ли мне честное

слово, что я могу полагаться на вашу скромность?

— Честное слово!... Отдай мне записку.

— Позвольте войти прежде к вам, здесь, на лестнице, говорить о таких делах опасно.

— Войдём скорее!

Ханыков ввёл Мауса в комнату и торопливо взял поданную ему записку. Он прочитал:

«Единственный верный друг мой! Гейер уехал за город, чтобы приготовить всё к нашей казни, которая совершится завтра ночью. Я обещал отдать все деньги свои, какие со мной есть, Маусу, если он доставит тебе эту записку, последнюю записку от твоего друга. У Мауса ключи от тюрьмы, откуда выведут меня под ружья. Пользуясь отсутствием Гейера, он согласился впустить тебя на несколько минут ко мне. Поспеши к другу! Может быть, слова твои несколько облегчат мои страдания. Меня не страшит смерть, я жду с нетерпением минуты, когда свинец растерзает мне сердце, — тогда конец моим мучениям! Друг мой! Если бы ты знал, если бы ты мог вообразить, как я мучаюсь! Я строго разобрал мои поступки. Бог свидетель, что я не хотел нико-

му зла, не воображал, что родителя моего... Боже! И выговорить ужасно!... Подвергнут смертной казни!... Не могу писать более: рука дрожит, в глазах темнеет. Поспеши ко мне. Неужели я лягу в могилу отцеубийцею? О, если бы ты мог как-нибудь оправдать меня перед моею совестью. Я не могу ни чувствовать, ни размышлять. Ты мне скажешь: виновен ли я в смерти отца моего, или нет. Будь судьёю моим, судьёю строгим, беспристрастным, поклянись мне в том именем Бога. Если бы ты после того сказал мне, я невиновен, с какою радостью, с каким облегчённым сердцем пошёл бы я на казнь, как бы гораздо обнял тебя в последний раз! Поспеши ко мне. Буду тебя ждать, как ангела-утешителя, верный друг

твой В. А.».

Легко можно вообразить, что чувствовал Ханьков, читая эту записку. Руки его дрожали. Он забыл даже, что Ольга находилась в другой комнате, и горестно воскликнул: «Бедный Валериан!»

Смертельный холод пробежал по жилам

Ольги, когда она услышала эти слова. Сердце её менее бы замерло, когда бы кто-нибудь, схватив её на вершине утёса, стал держать над глубокой пропастью и готовился её туда сбросить. Побледнев, она в изнеможении опустилась на спинку кресел, в которых сидела, только одно прерывистое дыхание показывало в ней признак жизни...

— Впрочем, беда небольшая! — продолжал спокойно Ханьков, тотчас после восклицания своего вспомнив об Ольге. — Мы и все туда скоро отправимся, там гораздо будет всем нам веселее, чем в этой столице.

Ольга начала дышать свободнее. Маус, покачивая головой, возразил:

— Веселее? А почему вы это знаете? Вы не были там, капитан!

— Как не был! Я провёл там ровно три недели.

— Ага! Шутить изволите?

— Нимало!

В это время послышался шум на лестнице. Маус выбежал в переднюю и спрятался за бывшей там перегородкой. Кто-то начал стучаться в дверь. Ханьков отворил её и увидел

перед собой Мурашёва. Он был бледен, расстроен.

— Ради Бога, — сказал он дрожащим голосом, схватив Ханькова за руку, — позвольте мне скрыться эту лишь ночь у вас. Я в беде: мне должно бежать из города.

— Что случилось с вами? Войдите и успокойтесь.

Мурашёв бросился на стул и, ломая руки, воскликнул:

— Да, убегу отсюда, убегу, куда глаза глядят!... Вы меня никогда уж не увидите!... Бедная моя дочь!... Где она теперь?... Может быть, там!...

Он указал на небо.

— Рад, всем сердцем рад, если она там: там злодей Бирон не властвует, ему нет туда дороги, ему и взглянуть туда страшно!

— Тише, ради Бога, тише! — прошептал Ханьков, — вас могут подслушать.

— Пусть послушают, пусть перескажут слова мои Бирону!... Я в глаза ему скажу то же!... Сегодня утром змей Гейер пришёл ко мне и сказал, чтобы я не скрывал долее моей дочери, и что мне худо будет, если не послушаюсь.

Злодеи отняли, украли у меня дочь, и у меня же спрашивают: где она?... Вечером вдруг приехал ко мне брат Бирона, начал уговаривать меня, чтобы я выдал ему дочь мою. Я-де женюсь на ней. Не вытерпело моё отцовское сердце. — Вон отсюда! — закричал я и бросился на злодея. — Вон отсюда, грабитель! — Он оттолкнул меня, я упал навзничь. Он вышел тотчас же из комнаты, говоря угрозы. Я не мог расслышать их... Да, мне должно бежать! Кто знает!... может быть, дочь моя спаслась уж от гонителя, может быть, она убежала от него... в Неву... И я за нею убегу туда же...

— Я здесь, батюшка! — вскричала вне себя Ольга, выбежав из другой комнаты и бросаясь в объятия отца.

Мурашёв весь задрожал, крепко обнял дочь и поднял благоговейный взор к небу. По временам, опуская глаза, смотрел он на бледное лицо дочери, которая лишилась чувств, и снова устремлял глаза на небо.

— Не отнимете её у меня, злодеи! — проговорил он наконец трепещущим голосом. — Сорвите прежде с плеч мою голову. Не дам, не дам вам её, злодеи Бироны!

— По-настоящему я обязан донести обо всём этом, — сказал важно Маус, потирая руки и входя в комнату. — Я всё слышал: так чествовать герцога и его брата!... Воля ваша, я не смею не донести!

— Хорошо, доноси, — сказал спокойно Ханьков. — Меня также станут допрашивать, и я должен буду сказать: для чего ты сидел у меня в передней, за перегородкой. Записка у меня в кармане.

— Я не говорю решительно, что донесу, я сказал только, что следовало бы донести. Это большая разница!... Что же, вы идёте со мной, капитан?

— Пойдём!

Ольгу привели в чувство. Ханьков просил Мурашёва остаться с дочерью в его квартире.

— Вы будете здесь безопаснее, чем в своём доме. Я ручаюсь, что этот почтенный человек никому не откроет вашего убежища. Не правда ли, Маус?

— У меня сердце слишком доброе и чувствительное, хотя по-настоящему следовало бы донести... но, так и быть. Пойдёмте, капитан!

Через полчаса Ханыков с проводником своим был уже у обитой железом двери тюрьмы, где сидел Валериан. Маус осторожно отпер дверь, ввёл Ханыкова за руку в маленькую, совершенно тёмную комнату, запер снова дверь и, сняв крышку с принесённого им потаённого фонаря, поставил его на стол. Валериан сидел на деревянной скамье, склонив голову на грудь, как бы в усыплении. Разлившееся по кирпичному полу сияние свечи заставило его поднять глаза, но он закрыл их рукой, отвыкнув смотреть на свет?...

— Кто пришёл? — спросил он.

— Это я, Валериан.

— Друг, бесценный друг! — воскликнул несчастный, бросаясь в объятия Ханыкова. Он не мог говорить более, крепко жал друга к груди своей и плакал. Растроганный Ханыков тихо подвёл его к скамье, посадил подле себя и, держа руку его в своей руке, сказал ему:

— Не о жизни ли ты плачешь? Право, — земная жизнь не стоит того, чтобы жалеть о

ней. Нынче или через несколько лет, так или иначе, но всё неизбежно будут в том же положении, как и ты теперь: за несколько часов от смерти. Сильные и слабые, счастливые и несчастные, угнетатели и угнетённые, все будут рано или поздно на твоём месте. Ты приговорён к смерти, но не все ли люди приговорены к тому же? Успокой себя, сколько можешь, размышлением, положишься на милосердие Божье, и ты встретишь смерть с твёрдостью христианина.

— Ах, друг! Я бы отдал теперь две земные жизни, все возможные блага за сердечное спокойствие, за безукоризненную совесть, я не утратился бы тогда смерти. Но может ли спокойно умереть отцеубийца!

— Ты осуждаешь себя строго и несправедливо. Клянусь, что говорю по совести. Скажи, было ли когда-нибудь в тебе желание подвергнуть отца твоего участи, которая его ожидает?

— И ты можешь меня об этом спрашивать!... Никогда!

— Мог ли ты предвидеть несчастье отца твоего?

— Мог. От меня зависело предаться в руки Гейера и спасти моего родителя. Я и решился на это, но честное слово, данное Лельскому, меня остановило, и я стал действовать с ним заодно.

— Разбери себя строго: что побудило тебя переменить твоё намерение, ложное ли понятие о чести или твёрдая надежда на успех вашего предприятия?

— Я был уверен в успехе. Мне казалось, что, действуя с Лельским, я скорее и вернее спасу отца моего, спасу... Ольгу, но не могу дать себе отчёта, что меня более увлекло: любовь к отцу или любовь к Ольге? Трудно постигнуть и разобрать побуждения сердца. Два сильных чувства влекли его. Меня мучит сомнение, не страсть ли к Ольге меня ослепила? Если бы я не любил её, то, может быть, решаясь предаться в руки Гейера, спас бы отца моего.

— Скажи мне, если бы отец твой и Ольга упали в реку, кого бы ты бросился спасать прежде?

— Я бы с радостью пожертвовал жизнью, чтобы спасти обоих, но прежде... прежде я

спас бы отца моего. Так, я не обманываюсь.

— Не обвиняй же себя, Валериан, в гибели твоего отца. Ты видишь, что надежда спасти его влекла тебя сильнее, чем любовь к Ольге.

— Ах, друг мой! Теперешние чувства мои, на краю могилы, не те, которые обладали моим сердцем, когда я воображал ещё перед собою длинный путь жизни, когда меня обольщала ещё надежда, когда я думал, что бедствия и горести минуются, а вдали ждут меня счастье и радость по теперешним чувствам моим нельзя судить прежних.

— Вижу, что сердце твоё теперь мучится неразрешимым для совести твоей сомнением. Послушай, друг, если бы ты даже мог справедливо упрекать себя в том, что, увлечённый другим чувством, не отвратил ты гибели отца твоего, то вспомни, что одна минута истинного раскаяния может загладить перед бесконечным милосердием Божиим целую жизнь, исполненную преступлений.

Эти слова глубоко тронули Валериана и пролили в растерзанную душу его отрадное спокойствие. Растроганный, он не мог говорить, сжал крепко руку друга, и намернувши-

еся на глаза слёзы свидетельствовали об его благодарности за слова утешения.

Маус, неподвижно стоявший близ двери в продолжение этого разговора, подошёл к столу и, взяв свой потаённый фонарь, сказал:

— Мне не хотелось бы, капитан, помешать последней беседе вашей с другом, но я опасюсь, чтобы Гейер невзначай не возвратился. Благоволите проститься с вашим приятелем и удалиться до беды.

Сердце Ханькова сжалось, неизобразимая грусть объяла его. Он встал и, скрывая тревогу души, подал руку Валериану.

— Ты уже идёшь, друг? — сказал Валериан таким голосом, который растерзал бы душу самую нечувствительную. — Неужели я смотрю на тебя в последний раз? О!... Это ужасно! Да... я уже тебя никогда, никогда не увижу!

Слёзы оросили его бледные щеки. Не отирая их, он держал руки друга в своих и нежно глядел ему в лицо, как бы желая насмотреться на человека, столько ему любезного. Ханьков не плакал, с усилием подавляя скорбь, которая его терзала, он не хотел её обнаружить, зная, что этим усилил бы мучения друга.

Маус накрыл между тем крышкой свой фонарь, и по тюрьме мгновенно разлился непроницаемый мрак.

— Пойдёмте, капитан, долее медлить не смею.

— Я уже не вижу тебя друг! — продолжал Валериан. — Так будет темно в моей могиле. Теперь уже кончено, мы никогда не увидим друг друга!... По крайней мере, я ещё держу твои руки. Скажи мне что-нибудь, мне хочется в последний раз услышать голос твой. Что это, ты, кажется, плачешь?

— Нет! — отвечал трепещущим голосом Ханьков, задыхаясь от удерживаемых слез. — Не унывай, Валериан, мрак, который теперь нас окружает, не мешает нам мыслить, чувствовать и любить друг друга. Так и мрак могилы не поглотит в тебе того, что мыслит, чувствует и любит. Неужели дух наш, этот луч высшего, вечного солнца, для того только светит, чтобы наконец погаснуть, исчезнуть в земле, среди червей и тления!

— Вы себя погубите, капитан, и меня вместе с собой. Ради Бога, пойдёмте, мне послышался шум.

Маус схватил Ханыкова за руку и начал тащить его к двери.

— Прощай! — сказал отчаянным голосом узник, опустив руку друга. — Благодарю тебя! Дружба твоя усладила последние, горькие минуты моей жизни. Прощай навсегда!

— Не предавайся унынию, Валериан, призови на помощь своё мужество и иди смело навстречу смерти. Ты бесстрашно смотрел ей в глаза на полях битвы. Не прощаюсь с тобой навсегда: мы увидимся в мире лучшем.

Ключ щёлкнул два раза, шум шагов, раздавшийся по коридору, постепенно затих, и гробовая тишина настала в тюрьме Валериана. Он бросился на пол почти в беспамятстве. Отчаяние задушило его в своих леденящих объятиях. Только по временам казалось ему, что вдали он слышит ещё голос друга и последние слова его: «Мы увидимся в мире лучшем!».

Премьер-майор Тулупов собирался уже лечь в постель, как вдруг услышал, что с улицы кто-то стучит в двери его квартиры.

— Кого это нелёгкая принесла ко мне так поздно? — проворчал он, испугавшись, и, со свечой в руке, пошёл отпирать двери.

— Царь небесный! — воскликнул он, увидев Дарью Власьевну. — Что это значит? Так поздно и одна! Да вы ли это?

Надобно сказать, что Тулупов лет за восемь перед тем предлагал руку свою Дарье Власьевне, но получил отказ. Это не расстроило, однако ж, его знакомства с Мурашёвым, он продолжал по-прежнему посещать его с удовольствием, он ни в чьём доме не находил лучшей польной водки. Между тем, Дарья Власьевна, проведя несколько лет в напрасном ожидании жениха, мало-помалу начала раскаиваться в слишком поспешном отказе Тулупову. Наконец, она решилась употребить все хитрости кокетства, чтобы снова заманить в сети прежнего своего поклонника,

но он своей невнимательностью приводил её в отчаяние. «Верно, премьер-майор мстит мне за прежнюю мою холодность», — думала она и ошибалась. Чуждый мщения, он даже расположен был возобновить своё предложение, но его развлекала не известная Дарье Власьевне, опасная ей соперница — полынная водка. Премьер-майор, находя гораздо более наслаждения в жгучей горечи этого напитка, нежели в сладком нектаре любви, каждый раз, будучи в гостях у Мурашёва, стремился сердцем в шкаф, где стояла фляга, и приходил в восторг, когда Дарья Власьевна, явясь со скатертью в руке, начинала её расстилать на столе, или, лучше сказать, устилать этой узорной тканью путь из шкафа на стол для любимицы премьер-майорского сердца. Мудрено ли, что в такие минуты оставались незамеченными и нежные взоры, и значительные вздохи. Может быть, в другие минуты они бы не пропали даром.

— Полагаюсь на великодушие ваше, Клим Антипович! — сказала Дарья Власьевна, закрываясь жеманно платком. — Одна крайность заставила меня в такой поздний час ис-

кать помощи в доме холостого человека.

— Помилуйте, сударыня, нет нужды, что я холостой, можете положиться на меня, как на каменную твердыню. Чем могу служить вам?... Да пожалуйста в комнату. Вы простите меня великодушно, что я такую нежданную и дорогую гостью принимаю — не при вас будь молвлено — в халате, в туфлях и в ночном колпаке! Прошу садиться, сударыня! Вот кресла.

Дарья Власьевна снова закрылась платком, взглянув на придвинутое для неё кресло: на нём лежали панталоны премьер-майора. Он проворно схватил их, скомкал, спрятал за спину и хотел бросить искусно под стол, стараясь, чтобы гостья этого не заметила, но панталоны, пущенные наугад и притом слишком сильно, по несчастному случаю, попали на гипсовый бюст Венеры, стоявший на окошке, и повисли, как флаг на башне во время безветрия.

— Позвольте мне лучше сесть на вашу софу, — сказала между тем Мурашёва, отняв от глаз платок. Она по глазомеру сообразила, что не войдёт в кресло со своими генераль-

скими фижмами.

— На софу? С прискорбием должен доложить вам, что я не успел ещё завести софы. Впрочем, кресла весьма мягкие, — продолжал он, обтирая подушку платком. — На них ничего уже нет, сударыня. Вот я и всю пыль смахнул. А! Вы изволите смотреть на мою дубовую скамейку? Вот она, к услугам вашим.

Взяв скамью из угла, он поставил её к столу, прямо против окошка.

— А вот, не угодно ли полюбоваться моей Венерой? — продолжал он, глядя в лицо Дарье Власьевне. — Нечего сказать, люблю за морские хитрости, — страсть моя. Извольте посмотреть: словно живая. У итальянца купил.

С этими словами поднёс он свечу к окошку, продолжая глядеть в лице Дарье Власьевне. Та ахнула и снова закрылась платком.

— Что вы, сударыня, чего вы испугались? Не думаете ли, что святочная маска, или что этот гипсовый болванчик не одет прилично? Во-первых, доложу вам, что ног тут нет, он сделан только по пояс, во-вторых, и платье на нём по самую шею. Я сам терпеть не могу тех

неприличных болванчиков во весь рост, которые... Что за напасть! — воскликнул Тулупов, схватив с досадой панталоны и швырнув их под стол.

— Исполните ли просьбу мою, Клим Антипович?

— Всё готовы сделать, что прикажете!

Помогите мне, я в совершенной беде! Вам известно, что брат герцога присватался к моей племяннице. Мы обе жили уже у него в доме, и дело шло как нельзя лучше, только глупой этой девчонке вздумалось вдруг убежать. Сгибла да пропала! Искали, искали: нет как нет! Сегодня вечером брат герцога изволил воротиться домой в таком гневе, что у меня душа в пятки ушла, и на меня раскричаться изволил. А я чем виновата? Зачем, говорит, я не смотрела за нею. Словом сказать, он, несмотря на поздний вечер, выслал меня из дома и велел завтра утром представить ему мою племянницу. Как хочешь, сыщи! Господи Боже мой! Где её найдёшь к утру? Угроз-то, угроз-то сколько наговорил!... К брату идти я не рассудила, он, кажется, сердит на меня. Я и решила идти к вам, Клим Антипович, в на-

дежде, что вы одной ночью для меня пожертвуете и поможете мне отыскать эту ветреную девчонку. Уж я бы её! Из-за неё бегай тётка по городу целую ночь! А послушаться нельзя, сами посудите!

— Совершенная правда, сударыня! Как можно послушаться! Только доложу вам, что едва ли успеем мы найти вашу племянницу.

— По крайней мере, исполним приказание его превосходительства: будем искать целую ночь, а не сыщем — что ж делать? На нет и суда нет!

— Я готов в вашей приятной компании проходить всю ночь напролёт по всем улицам и закоулкам, только позвольте попросить вас выйти немножко прежде меня на крыльцо. Мне нужно одеться как следует. Я должен надеть... шубу. Я вмиг за вами.

Говоря это, он нагнулся, проворно вытащил брошенные панталоны из-под стола и вышел в другую комнату.

Дарья Власьевна, завернувшись в свой тёплый плащ, вышла между тем на крыльцо. Вскоре и Тулупов явился, в волчьей шубе и в шапке из крымского барана. Долго бродили

они понапрасну из улицы в улицу и, утомясь, решились, наконец, идти кратчайшим путём домой. Для этого пришлось им войти в Летний сад. Был уже четвёртый час за полночь. Тулупов, стараясь чем-нибудь рассеять печальную Дарью Власьевну, начал свой любимый и весьма для него занимательный рассказ о похищенном селезне и о происшедшей от того ссоре с Дуболобовым. Бедная Мурашёва, слушая это повествование чуть ли не в сотый раз, верно бы, уснула, если бы можно было ходя спать.

— Посмотрите, посмотрите! — вдруг воскликнула она, вздрогнув и схватив от страха своего спутника за рукав.

— Что такое вам чудится? Это куст, успокойтесь... Таким образом, Дуболобов, этот изверг, чучело и гороховый кисельник, вздумал...

— Ах, мои батюшки-светы! Уж не убитый ли человек лежит?

— Где? Я ничего не вижу. Вам это чудится... Этот гороховый кисельник, как я вам уже докладывал...

— Да полно-те, Клим Антипович! Провал

возьми этого Дуболобова и с вашим селезнем. Ах, батюшки, как я перепугалась! Я подумала уж, что лежит убитый, но нет: шевелится. Видно, хмельной какой-нибудь.

— Да где вы видите?

— Вот скоро подойдём к нему. Вон, вон, между двух кустов-то! Да вы не туда смотрите!

— А, теперь вижу! Ну что же! какой-нибудь пьяница. Что нам до него за дело? А вы должны в заключение доложить, что и сам воевода с этим гороховым кисельником...

— Да это, кажется, женщина лежит.

— Помилуйте, чему удивиться? Ведь не одни мужчины пьют до упаду. Ну, так женщина и есть. Пусть её лежит, а мы с вами мимо, своей дорогой пройдем.

— Поднимите меня! — закричала женщина повелительно.

— Вот ещё! — сказал Тулупов. — Сама, голубушка, встанешь! Выпила лишнее: не мы виноваты.

— Молчи, грубиян! Подними меня сейчас же. Как смеешь ты ослушаться герцогини!

Дарья Власьевна бросилась к ней и помог-

ла ей встать. Тулупов остолбенел от изумления и страха.

— Веди меня ко дворцу! — продолжала герцогиня.

Тулупов, думая, что приказ этот относился не к одной Дарье Власьевне, а и к нему, подбежал и хотел взять герцогиню под руку.

— Прочь, мерзавец! — закричала она. — Стой на одном месте и не смей смотреть на меня!

Тулупов, струсив, униженно согнул спину, отскочил и закрыл глаза рукой, а Мурашёва, поддерживая герцогиню под руку, повела её к Летнему дворцу. Она не могла прийти в себя от изумления и посматривала сбоку на жену Бирона, желая удостовериться: точно ли это она? Близ дворца Дарья Власьевна увидела перед собой Ханькова. Он почтительно приблизился к герцогине и ввёл её во дворец.

— Господи твоя воля! — шептала Мурашёва, уставив глаза на дверь, в которую вошла герцогиня с Ханьковым: — Не во сне ли мне всё это грезится?

Ханьков вскоре опять вышел из дворца в сад и сказал что-то стоявшим у двери двум

часовым. Дарья Власьевна подошла к капитану.

— Скажите, ради Бога, что за чудеса совершаются? Что всё это значит? — спросила она.

— Вы как здесь очутились?

Ханыков не сказал ей более ничего, побежал и закричал денщику своему:

— Беги за лошадью и седлай проворнее!

Дарья Власьевна, исчезая в изумлении, побрела к Тулупову. Тот всё ещё стоял в прежнем положении, как статуя, не осмеливаясь отнять руки от глаз.

— Что за диковина, Клим Антипович, уже не сила ли нечистая над нами потешается?

— Не знаю, что и подумать, Дарья Власьевна, — сказал Тулупов, взглянув на неё и подняв плечи.

— И мне кажется: это всё не что иное, как бесовское прельщение!

— С нами крестная сила! Пойдёмте скорее вон из этого сада! Кто бы мог подумать, что здесь нечистые водятся — наше место свято! Ведь не Муромский лес, прости Господи!

Прижимаясь друг к другу от страха, пошли они скорым шагом из сада. Вскоре были они

уже в квартире премьер-майора.

— Знаете ли, сударыня, что мне пришло на ум? — сказал он, снимая с себя волчью шубу и пыхтя от утомления. — Прошу сесть скорее, вы, как вижу, едва дух переводите. Я не докладывал ещё вам, что изверга Дуболобова некоторые из помещиков, моих соседей, подозревали, что он чернокнижник и колдун. Я думаю, не он ли, злодей, по вражде ко мне, вздумал напустить на нас это дьявольское наваждение. Я вам говорю: давно следовало бы сжечь этого горохового кисельника! Воля ваша! И селезень, который неведомо как, так сказать, из-под рук пропал, его дело, что ни говори!... Да подождите, авось, и до него доберутся!

— Ума не приложу! — сказала Мурашёва, — чем больше думаю, тем больше дивлюсь: ночью, одна, в саду, на земле! Непонятно! Когда бывало, чтобы герцогиня выходила из дворца на шаг без фижм! А то...

— Да, да, удивительно! Мне померещилось, что она была — не при вас буди молвлено — в одной юбке! И вам в этом же образе представилось бесовское видение!

Дарья Власьевна кивнула, в знак утвердительного ответа, головой и закрылась платком.

XIV

Ханыков, после прощания своего с другом, в глубоком унынии возвратился домой. Пробыло уже одиннадцать часов вечера. Вдруг принесли к нему от фельдмаршала графа Миниха приказ, чтобы он немедленно сменил капитана, командовавшего в тот день караулом при Летнем дворце, и вручили ему присланное вместе с приказом предписание фельдмаршала, в котором он требовал капитана к себе для важного поручения.

Ханыков поспешил исполнить все приказания. Капитан Преображенского полка, сдав караул Ханыкову, поспешил в дом графа Миниха, где ему сказали, что фельдмаршала нет дома и что он велел ему дожидаться его возвращения.

От Мауса Ханыков узнал, что казнь Валериана, отца его, Возницына и всех его сообщников назначена в четыре часа наступавшей

ночи, за городом, на окружённой лесом поляне, близ Шлиссельбургской дороги. Естественно, что Ханьков не мог спать, ходил в сильном волнении по караульной и беспрестанно смотрел на часы, висевшие на стене. Стрелка подвигалась уже к цифре: III.

«Через час страдания моего несчастного друга кончатся!» — подумал Ханьков и глубоко вздохнул.

Вдруг вошёл в комнату офицер и сказал ему, что фельдмаршал требует его к себе.

— Странно! — сказал Ханьков, посмотрев пристально в лицо пришедшему: — Фельдмаршал знает лучше меня, что мне отсюда отлучаться нельзя. Точно ли он меня требует?

— Сам граф не далее как за двести шагов отсюда, и вас ожидает, капитан, поспешите!

Ханьков вышел с офицером из караульни в сад и вскоре приблизился к графу Миниху. Он сидел на скамье, под густой липой, разговаривая со стоявшим перед ним адъютантом своим, подполковником Манштейном. Поодаль стояли три Преображенских офицера и восемьдесят солдат.

Ханьков, отдав честь фельдмаршалу, оста-

новился перед ним в ожидании его приказаний.

— Сколько человек у вас в карауле? — спросил Миних.

— Триста, ваше сиятельство.

— Мне поручено взять под стражу герцога Бирона. Выведите ваших солдат из караульни и поставьте под ружьё, только без малейшего шума, никому не трогаться с места и не говорить ни слова. Часовым прикажите, чтоб они никого не окликали. Что ж вы стоите?

— Разве акт о регентской власти уничтожен, ваше сиятельство?

— К чему этот вопрос?... Я вас всегда считал отличным офицером и именно потому назначил вас сегодня в караул.

— А я потому решился спросить об акте, чтоб оправдать вашу доверенность. Покуда акт не уничтожен, могу ли я действовать против герцога, не сделаюсь ли я виновным в нарушении моих обязанностей.

— Что вам за дело до акта? Вы должны исполнять мои приказания, а не рассуждать, — вам это известно, вы не первый день служите.

— Я служу не лицу, а Государю и отечеству, и потому в таком важном и необыкновенном деле, как настоящее, обязан наперёд всё узнать основательно, размыслить и потом действовать согласно с долгом моим к престолу и отечеству.

— Справедливо сказано!... Так знайте же, что акт о регентстве уничтожен.

— Кем? На это имеет право одна цесаревна Елизавета. Если есть на то её воля, то я готов действовать, готов жизнью пожертвовать.

— Воля на то изъявлена. В чём вы ещё сомневаетесь? Поспешите исполнить приказание.

Ханыков, не заметив двусмысленных слов Миниха, который действовал в пользу принцессы Брауншвейгской и по её воле, поспешил исполнить его приказ, радуясь, что Елизавета решилась, наконец, осчастливить отечество и вступить на престол.

Граф Миних, приблизясь к дворцовому крыльцу, послал Манштейна с двадцатью солдатами во дворец, чтобы схватить герцога.

Бирон спал. Уверенный, что ему всё известно через его лазутчиков, охраняемый тре-

мястами солдатами, мог ли он вообразить, ложась на великолепную кровать свою, что среди ночи сон его будет неожиданно прерван, что, грозный для всех, регент будет схвачен, как преступник, и что власть его, всё его могущество мгновенно улетят вместе с прерванными грёзами сна. Несмотря на ужас, которым окружил себя Бирон, несмотря на толпу лазутчиков и телохранителей, довольно было Миниху захотеть его свержения, — и через несколько часов тот, в чьих руках была судьба обширнейшего государства, принуждён был отдаться на руки двух десятков людей, недавно трепетавших от одного его взора. Достигнув высшей степени могущества, сделавшись повелителем миллионов себе подобных, он вдруг упал с высоты, — и миллионы людей, недавно его страшившихся, с радостью, с презрением глядели на павшего, ненавистного всем властелина. Ничто не могло удержать его от падения: он отогнал от себя лучшего, вернейшего охранителя: любовь народную. С одним этим стражем Пётр Великий пребывал невредим посреди крамол, заговоров, измены. Этот надёжный страж хранит и

всех великих царей, ему подобных.

Отдёрнув занавес кровати, на которой спал Бирон, Манштейн громко сказал:

— Вставайте, герцог! Я прислан за вами!

Герцог, приподнявшись, устремил дикий взор на Манштейна.

— Кто ты, дерзкий? Как смеешь ты нарушать сон мой?

— Я имею приказание взять вас под стражу.

— Меня? Регента? Меня под стражу? — воскликнул Бирон, соскочив с постели. — Люди, люди! Сюда! На помощь! Измена!

Крик его разбудил герцогиню. Она также вскочила с кровати и начала кричать.

Видя, что никто не является на крик, Бирон, до тех пор заставлявший трепетать других, предался сам малодушному страху и, бросаясь на пол, хотел спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его. Вошли солдаты, связали Бирона, надели на него плащ и, сведя вниз, посадили в карету. Миних сел с ними вместе и повёз сверженного регента к принцессе Брауншвейгской, с беспокойством ожидавшей окончания этого предприятия.

Гордая герцогиня, вне себя от страха и гнева, выбежала в сад. Манштейн велел денщику своему отвести её назад, в её комнаты.

— Вот, сударыня, — сказал денщик, ведя под руку жену Бирона, — напрасно супруг ваш давил русских, всех грешных земляков моих, наподобие. Будь он подобрее, так поживал бы подобру-поздорову, с ним бы этой притчи не случилось! Мой господин такой же иноземец, как ваш муж, да и он вышел, видно, из терпения. Недаром в церкви читают: Господь гордым противится!

Герцогиня, вспыхнув, хотела ударить моралиста, но он схватил её за руку.

— Драться не за что, сударыня! Я вам ведь правду сказал, и то любя вас.

Усиливаясь вырвать свою руку, жена Бирона споткнулась и упала на землю. Денщик хотел поднять её, но она его оттолкнула.

— Коли нравится вам эта постель, так извольте лежать, я мешать вам не стану, — сказал денщик и ушёл.

После этого ясно, как успел чародей Дуболобов напугать разными чудесами в Летнем саду Тулупова и Дарью Власьевну.

Гейер не знал, что в столице стряслось в одну ночь, в течение одного часа. Он в то время был за городом, на окружённой лесом поляне и готовил всё для казни приговорённых Бироном. Скованные, они стояли между солдатами, сомкнувшими штыки над их головами. Враг Тулупова, Дуболобов, схваченный в своей деревне и поспешно привезённый, находился в числе несчастных и горько жаловался на судьбу свою, не зная, за что и к чему он приговорён.

— Скажите, ради Бога, что со мною сделают? — спрашивал он Гейера в тоске и страхе.

— Сам увидишь, — отвечал тот хладнокровно.

При свете факелов рассмотрел он в некотором отдалении деревянные подмости, а на них отрубок толстого бревна. Подальше возвышался подобный огромному улью, срезанному сверху, деревянный сруб, в котором лежали солома и хворост. Близ сруба видно было колесо, приделанное к врытому в землю,

невысокому столбу. Около этих ужасных изобретений человеческой жестокости заботливо суетились люди. Все они были в широких плащах и нахлобученных до бровей шляпах. Некоторые держали факелы, другие — верёвки. У одного блестела в руках секира, у другого, отличавшегося ростом и широкими плечами, железная палица, третий расправлял мешок, к которому был привязан камень.

Гейер, с толпою прислужников приблизясь к осуждённым, велел вести прежде тех, которых Бирон приговорил к отсечению головы. Их было восемь. Вскоре приблизились они к деревянным подмосткам, на которых лежала плаха. Человек, державший секиру, сбросил с себя плащ и вошёл на подмости. По данному Гейером знаку ввели сперва седого старика, в молодые лета служившего с честью во флоте и прошедшего всю жизнь безукоризненно. Он живо помнил славное и правосудное царствование Петра Великого и тем сильнее ненавидел Бирона, святотатственной рукой поведшего отечество с высоты славы и счастья в бездну золы и бедствий. Произнося вполголоса молитву, он с твёрдостью подо-

шёл к плахе и, перекрестясь, положил на неё украшенную сединами голову. Эхо в лесу повторило удар секиры. Обезглавленный труп сняли с подмостков и положили на траву, подле откатившейся на несколько шагов головы.

Немедленно ввели на подмостки другого из осуждённых, и скоро вторая жертва жестокости Бирона лежала рядом с обезглавленным старцем.

Одного за другим подводили к плахе, и кровь лилась; между тем тот, чья воля, чьё мщение двигало секиру, лишённый власти и сна, окружённый стражей, как преступник, ехал в карете по дороге в Шлиссельбург, где ожидали его заточение и суд. Он уже не думал о жертвах своего мщения, обречённых им смерти, жертвы эти были уже для него не нужны и бесполезны. Он уже сам трепетал за жизнь свою, предвидя в грозной будущности плаху и секиру. Совесть, давно усыпленная среди успехов, величия и могущества, проснулась и вызвала из могилы ряд бледных, обрызганных кровью мертвецов, вставших на пути жестокого и мстительного вре-

менщика.

Держа в руках Библию, давным-давно уже не читанную, Бирон старался успокоить себя мыслью, что в слове Божьем найдёт он скорое утешение и лёгкое средство прекратит тревогу и мучение сердца, и между тем страшился раскрыть книгу: ему казалось, что в каждой строке видит он строгий приговор делам своим.

По временам лицо его, унылое и бледное, вдруг вспыхивало. Глаза его из-под нахмуренных бровей сверкали, уста судорожно двигались. Стиснув зубы, то махал он рукой грозно и повелительно, то ударял себя ею в грудь и клялся отомстить врагам своим. Но вдруг, вспомнив неожиданное, быстрое падение с высоты могущества, своё бессилие, он впадал снова в уныние. Ехавшие впереди кареты два всадника, с факелами в руках, возбуждали в сердце Бирона суеверную тоску. «Это предзнаменование моего погребения, — думал он. — И точно, я уже могу считать себя умершим. Ещё вчера всё преклонялось, всё трепетало предо мною, а сегодня я ничто! Наяву ли всё это совершается? Не страшный ли сон я ви-

жу?»

Вдруг карета остановилась. Бирон услышал, что начальник стражи, которая его сопровождала, спорил с какими-то людьми, помешавшими карете ехать далее. Они тащили что-то через дорогу.

— Как смели вы остановить нас? — кричал начальник стражи. — Кто вы таковы и что тащите? Отвечайте, не то велю всех вас схватить, бездельники!

— Тащим, как видишь, мешок, — отвечал один из толпы, — а что такое в мешке, не скажем, это не твоё дело.

— Сейчас же говори! — закричал рассерженный начальник стражи, соскочив с лошади и схватив упрямца за ворот.

В это время послышался жалобный голос Дуболобова. Его тащили в мешке, к берегу Невы, чтобы утопить.

— Что это значит? — воскликнул начальник. — Тут человек? Говори, бездельник, что это значит? Ребята, схватите всех их! — закричал он страже.

— Советую тебе, любезный, не горячиться и ехать своей дорогой. Не вели своим нас тро-

гать: худо будет! Мы исполняем повеление герцога!... Что, любезный? Вся твоя храбрость лопнула, как мыльный пузырь? Садись-ка на свою лошадь, да отправляйся, куда ехал. А вы тащите мешок. Ну, ну, проворнее! Нева уж недалеко.

Начальник стражи стоял, как истукан, глядя вслед поспешавшей к берегу толпе. По данному ему приказанию, он должен был доставить герцога в Шлиссельбург, в величайшей тайне. С одной стороны, сострадание побуждало его остановить казнь несчастного, совершавшуюся по воле Бирона, который уже и сам ожидал казни и лишён уже был власти казнить других. С другой стороны, он не осмелится объявить этого, опасаясь нарушить данный ему приказ. Между тем, толпа за деревьями и кустарниками скрылась у него из вида.

— Что значит эта остановка? — спросил Бирон, опустив стекло в дверцах кареты. — Где начальник стражи?

— А вот он скачет сюда. Он за чем-то слезал с лошади, — отвечал кучер.

— Для чего мы остановились?

— Вы сами себя остановили, — отвечал грубо начальник. — Вас везут в крепость, под стражей, а вы все продолжаете ещё губить ближних. Может быть, вы теперь и приказали бы помиловать этого несчастного, которого потащили топить, да жаль, что уж вы приказывать не можете!

— А если бы и мог, то не отменил бы своего приказания! — возразил гордо Бирон. — Что однажды я повелел, то должно быть исполнено!

Карета поехала далее. Между тем, Возницына привязали к колесу, и широкоплечий палач, размахивая железной палицей, готовился раздробить ему руки и ноги, одну за другой, и нанести наконец *удар милости* в голову. Старика Аргамакова и Лельского, связанных, втащили по приставленной к срубам лестнице, опустили на наложенные в нём хворост и солому, и вложили в отверстие, сделанное внизу, горящий факел. Густой дым от вспыхнувшей соломы повалил изо всех щелей сруба, и сухой хворост затрещал. Валериану завязали глаза и поставили перед двенадцатью солдатами. Он слышал, как звенели

шомполы, прибывая пули в дулах ружей. Скоро звук этот затих, и раздался громкий голос командовавшего капрала.

В эту минуту сердце Валериана, до тех пор мужественно ожидавшего смерти, мгновенно оледенело от ужаса, в это сердце целились двенадцать ружей, двенадцать пуль при слове — пали! — должны были растерзать грудь Валериана. Он ждал с нетерпением, чтобы ужасный залп грянул скорее и перебросил его с границы мучительной, стеснённой жизни в спокойную, беспредельную область вечности. Один миг — и я уже там, там, где будут неизменно все! Но миг этот невыразимо ужасен!

Так думал, так чувствовал Валериан. Вдруг... раздаётся конский топот.

— Стой! — крикнул громкий голос. Кто-то побежал к Валериану, торопливо снял повязку с глаз его.

Кого же видит пред собою изумлённый, воскресший страдалец? — Ханькова, хладнокровного Ханькова, у которого бегут радостные слёзы по пылающим щекам.

— Ребята! — крикнул он солдатам, не переставая обнимать с жаром друга, — бегите, спа-

сайте прочих: Бирон пал! На русском престоле дочь Петра Великого, кроткая Елизавета!

Единодушное, радостное «ура!» заглушило голос капитана.

— *Матушка наша!* Наконец дождались мы тебя, наше красное солнышко. Отдохнут теперь русские, заживут все православные по-прежнему, как при великом царе, твоём ба-тюшке.

Так восклицали солдаты, ломая вдребезги колесо, с которого сняли Возницына, разбрасывая подмостки с плахой и осыпая остолбевшего Гейера и его прислужников ударами ружейных прикладов. Двое из солдат бросились к срубам, окружённым густым облаком дыма, вмиг приставили лестницу, ощупью нашли лежавших без чувств на хворосте старика Аргамакова и Лельского, стащили их вниз и положили на траву. Огонь, обнявший нижние слои хвороста, не успел ещё проникнуть до верхних, но густой дым задушил бывших в срубе.

Через несколько времени старика Аргамакова с трудом привели в чувство, но в Лельском не было заметно никаких признаков

жизни. Он спал уже сном беспробудным. Его положили рядом с обезглавленными трупами.

— Поспешите спасти несчастного Дуболобова! — воскликнул Возницын. — Его понесли к Неве, ради Бога, бегите за мной скорее!

Несколько солдат кинулись за Возницыным. Навстречу попались им возвращавшиеся прислужники Гейера.

— Куда вы его девали, душегубцы? — воскликнул Возницын, вне себя бросаясь на одного из прислужников. — Говори — или смерть!

Один из солдат приставил штык к боку прислужника, прочие товарищи последнего, провожаемые ударами ружейных прикладов, рассыпались в разные стороны.

— Умилосердитесь надо мной! — пропещал, заикаясь, прислужник, — не я опустил мешок в воду.

— Веди нас, злодей! Покажи место, где вы несчастного бросили.

Схватив за воротник прислужника, Возницын потащил его к берегу Невы. Когда место было указано, он, сбросив с себя платье,

несколько раз нырял, опускаясь на дно реки. Некоторые из солдат сделали то же, но всё напрасно: несчастного не нашли, он погиб, жертвой мелочной ненависти и безымянного доноса, погиб за то, что у соседа его пропал селезень и что он когда-то за приятельским обедом, развеселённый вином, имел неосторожность в кругу друзей назвать в шутку Бирона медведем.

XVI

На утро общая радость, возбуждённая разнёсшимся слухом о вступлении Елизаветы на престол, уменьшилась, когда узнали, что принцесса Брауншвейгская, с помощью графа Миниха, нарушив акт о регентстве и низвергнув Бирона, объявила себя правительницей. С нарушением акта права Елизаветы на престол делались ещё неоспоримее. Через год, когда принцесса Брауншвейгская, подстрекаемая окружавшими её иноземцами, решила объявить себя императрицей и отдалить навсегда ветвь Петра I от престола России, им возвеличенной и прославленной, ко-

гда Елизавете грозил брак против воли или заточение в монастырь, она решилась действовать, — и обрадованное отечество вскоре увидело на престоле дочь Петра Великого. Законы, о которых Пётр изрёк: *всуге законы писать, когда их не хранить*, утвердились в силе, судьба граждан не зависела уже от произвола и своекорыстия иноземного пришельца, вредные интриги честолюбцев, стремившихся для личных выгод своих располагать делами государства и даже престолом, прекратились, мужи государственные и любящие отечество, по воле мудрой монархини, начали трудиться над выполнением великой мысли державного просветителя России, мысли о своде отечественных законов. Уничтожение Елизаветой смертной казни, донныне существующей в просвещённейших странах Европы, явило им достойный подражания пример кротости и человеколюбия правительства даже к преступникам, тайные доносы прекратились, одни злодеи и лихоимцы, к общей радости и счастью всех честных и добрых граждан, стали бояться обличения их тайных преступлений, и явной, открыто и неминуемо ка-

рающей силы законов. Науки, искусства, словесность, эти нежные растения, насаждённые рукой преобразователя России и притоптанные Бироном, снова оживились лучами, ниспавшими с престола.

Вечером, накануне 1 января 1742 года (это было через месяц по вступлении на престол Елизаветы), Мурашёв пригласил к себе родственников и приятелей встречать новый год. Старик Аргамаков сидел подле хозяина, на софе. Валериан ходил взад и вперёд по комнате, держа за руку молодую, прелестную жену свою, Ольгу. Дарья Власьева, поместившись у окна, в креслах, посматривала на премьер-майора Тулупова, сидевшего в углу на скамейке, махала на себя веером и вздыхала. Премьер-майор, казалось, не обращал ни на кого внимания и погружен был в уныние.

— Вот уже скоро, я думаю, пробьёт полночь, — сказал Мурашёв, — скоро поздравим друг друга с новым годом. Бывало, при Бироне...

— Не поминай об нём, любезный сват! — прервал старик Аргамаков.

— А для чего не поминать? И в «Советах

премудрости» сказано: «Человек разумной должен приводить себе в память то, что не всегда одинаково бывает время». Это значит, что утешительно для сердца в такое благополучное, как нынче, время вспомнить иногда прежние, чёрные годы. Как сравнишь прошлое с настоящим, так невольно почувствуешь благодарность к милосердному Богу!

— Что и говорить, любезный сват! Дай, Господи, царице нашей долголетнее царствование! Добрая, ангельская душа! Когда моего сына хотел Бирон казнить, помнишь ли, как она прислала мне с своей руки перстень и велела утешить меня, горемычного старика, своим словом ласковым? Я этим перстнем украсил образ Спасителя, и всякий день, во время молитвы, взгляну на перстень и молюсь, долго молюсь, чтобы Он ниспослал здравие и счастье доброй царице.

— Слышали вы, батюшка, — сказал Валериан, — что она даже Бирона простить хочет?

— А где он теперь? Всё в Шлиссельбурге?

— Нет. Его приговорили к смерти, но помиловали и отправили со всеми его родственниками в дальний городок Пельымь[69].

В это время отворилась дверь, и вошёл Ханыков. Поздоровавшись со всеми, он сел к столу и вынул из кармана бумагу.

— В прежнее время, — сказал Мурашёв, — верно, у всех бы сердце заныло, все бы подумали, что это какой-нибудь донос или приговор, нынче, слава Богу, уже не те времена! Что это, капитан, за грамотка? Чай, что-нибудь радостное, хорошее?

— Это стихи, да такие, каких на Руси ещё с сотворения мира не бывало. Теперь во всём Петербурге их читают: все чуть за них не дерутся. Я с большим трудом список достал у приятеля.

— Ах, батюшка, отец родной! — воскликнул Мурашёв: — Дай списать. Неужто эти стихи лучше написаны, чем «Советы премудрости» или «Приклады, како пишутся комплементы»? Кто их написал?

— Адъютант академии наук, Михаил Васильевич Ломоносов, тот самый, который недавно из-за границы возвратился.

— Сын холмогорского рыбака?... Спасибо Михаилу Васильевичу! Знай наших! Вот как-вы рыбаки-то! Недаром я с малолетства лю-

бил этот промысел. Молчи же ты теперь, Бирон, не говори, что русские ни к чему не способны! Когда за всякое слово тянули их в пытку да на плаху, так было не до писанья, поневоле молчали все, как глупые рыбы. А вот нынче, при матушке царице, достойной приемнице Петра Великого, то ли ещё сделают русские! Прочти-ка, сделай милость, стихи Михайла Васильевича, отведи душу!

Ханыков начал читать оду Ломоносова, написанную им при восшествии на престол императрицы Елизаветы. По окончании каждой строфы все приходило в движение, а Мурашёв вскакивал с софы от восторга и восклицал:

— Голубчик ты мой, Михайло Васильевич! Расцелую твою ручку и золотое твоё пёрышко! Где ты таких красных слов наудил? По живой стерляди, по двухаршинному осётру дам за каждое!

Особенно сильное действие произвела на слушателей последняя строфа:

*Но если гордость ослеплена
Дерзнёт на нас воздвигнуть рог,*

*Тебе, в жёнах благословена,
Против неё помощник — Бог,
Он верх небес к тебе преклонит,
И тучи страшные нагонит
В сретенье врагам твоим.
Лишь только ополчишься к бою.
Предвидеть ужас перед тобою,
И следом воскурится дым!*

Нынче стихи Ломоносова, уже устаревшие, без сомнения, не могут ни на кого так подействовать, как на слушателей Ханькова, но тогда не мудрено было прийти от них в восторг. Новый размер, новый язык, звучный и сильный — всё это пленяло и поражало удивлением.

Только на Дарью Власьевну и на Тулупова стихи Ломоносова не произвели почти никакого действия. Первая не расслушала их, мечта о замужестве и широких фижмах, а премьер-майор не мог находить ни в чём отрады с тех пор, как узнал о смерти Дуболобова: раскаяние беспрестанно его мучило. Другу и недругу закажу, часто думал он, подавать на ближнего безымянные доносы. Бог свидетель, что я не хотел смерти Дуболобову, однако ж, я

убил его, убил, хотя и не нарочно, камнем из-за угла, как ночной вор, и погубил свою душу.

Чего бы не дал премьер-майор, чтобы воскресить прежнего, непримиримого врага своего! Он пожертвовал бы всеми селезнями в свете за жизнь горохового кисельника, и даже решился бы не пить никогда водки и не курить табаку, если б этой ценой можно было поправить сделанное зло.

— Что вы так пригорюнились, Клим. Антипович? — спросил Мурашёв. — Скоро новый год наступит. Надобно встретить его с весельем в сердце, а не то целый год будете печалиться.

— Раздумался я о Бироне, Фёдор Власьич. Как вспомнишь его время, так поневоле тоска возьмёт. Ввек не забыть мне, что этот нехристь всем государством русским правил.

— Да много ли он правил: всего три недели!

— Конечно, однако ж... ох уж эти мне три недели!

— И, полно, любезнейший майор, есть ли о чём горевать? Пожалуйста, развеселись. Подумай, как теперь все русские зажили, припе-

ваючи. Старики говорят: то непременно сбудется, что в первый миг нового года пожелаешь. Новый год, чай, скоро уж наступит. Пожелай же вместе со мной, чтобы за три чёрные недели Бог послал нашей родной стороне три века светлые, счастливые!

— Видно, сбудется желание ваше, — сказал Ханьков. — Слышите ли: часы на адмиралтейском шпице бьют полночь? Вот и пушка грянула! Старый год улетел туда же, куда безвозвратно скрылись три чёрные недели и регентство Бирона.

Примечания

1

Указанные страницы, здесь и ниже, относятся к бумажной книге (прим. bookdesigner'a)

[^^^]

Часы разделялись тогда на дневные и ночные. С восходом солнца начинался 1-й час дня. Счисление дневных часов продолжалось до захождения солнца. После солнечного заката начинался 1-й час ночи. Счисление ночных часов продолжалось до восхода солнца. См. Мейерберга «Путешествие по России». С. 269. (Здесь и далее примечания, кроме перевода иноязычных текстов, К. П. Масальского).

[^^^]

3

27 апреля солнце восходит в Москве в 4 часа 12 минут, а заходит в 7 часов 48 минут. Следовательно, царь Феодор умер, по нынешнему счислению часов, в 4 часа 27 минут пополудни, за 3 часа 21 минуту до захождения солнца.

[^^^]

Купечество разделялось тогда: 1) на гостей, 2) на купцов Гостиной сотни, 3) Суконной и 4) чёрных сотен и слобод. Гостям особыми царскими грамотами давались разные преимущества. Они, по свидетельству Кильбургера, были царские коммерции советники. Торговлю производили оптовую, как внутри государства, так и за границу, особенно в Персии. Место, где складывались их товары, называлось Гостиным двором. Купцы Гостиной сотни производили торговлю разными товарами внутреннюю и имели дело с иностранными купцами в Архангельске. Купцы Суконной сотни торговали сукнами и другими шерстяными товарами. Оба сив разряда по особым дозволениям правительства имели право ездить и за границу. Купцы чёрных сотен и слобод производили внутреннюю мелочную торговлю, нередко собственными своими изделиями.

5

7190 от сотв. мира. / 1682 по Рожд. Христове.

[^^^]

6

До патриарха Иоакима было в России 5 митрополитов. Он умножил число их до 12.

[^^^]

7

Так называли себя патриархи.

[^^^]

Стольники были придворные чиновники, прислуживавшие при царском столе. В столыники обыкновенно жаловали дворян, стрелецких полковников, которые сохраняли притом и военную свою должность, и детей знатных отцов. Стряпчие были также придворные чиновники, заведовавшие платьем царя и имевшие смотрение за съестными припасами, заготовлявшимися для царского стола. Они одевали государя, ходили и ездили за ним, и исполняли разные мелочные его поручения. Звание дворянина жаловалось особыми царскими указами, лично, а не потомственно. Жалованья дворяне не получали, а содержались доходами с поместий. Обязанность их была являться ко двору в праздничные дни в светлом платье, для умножения придворного великолепия. Они употреблялись также для военной и гражданской службы. Московские дворяне считались выше городовых. Последними имели право распоряжаться в мирное время главные городские начальники. Дьяки были секретари разных

приказов. Жильцами назывались молодые люди из детей боярских, детей дворян, стряпчих и стольников, служившие по наряду в столице. Они составляли московское охранное войско, развозили указы царские и употреблялись для разных посылок. Во время мира они жили в Москве по три месяца и потом сменялись другими своими товарищами. Дети боярские составляли конное земское войско. Для содержания их жаловались им от казны поместья. Название своё получили они от того, что в походах и сражениях находились при боярах и их охраняли.

[^^^]

Бергман называет его Самбуловым, вероятно, следуя Голикову; Галем Сумбуловым, а Сумароков Сунбуловым. Сия последняя фамилия встречается в XII томе «Истории Государства Российского». В разных летописях, описывающих бунты стрельцов, означенный дворянин назван Сунбуловым.

[^^^]

Площадные подьячие были чиновники, которые записывали и свидетельствовали разные акты, частных лиц. Они помещались, обыкновенно на площадях и оттого получили своё название.

[^^^]

Объезжих можно сравнить с нынешними полицеймейстерами, а решёточных приказчиков с квартальными надзирателями. В Кремле, в Китай-городе и в Белом было по два объезжих. Они ездили день и ночь по городу с несколькими решёточными приказчиками, взятыми с Земского Двора, и стрельцами. С каждых 10 дворов и 10 лавок объезжие назначали по человеку в десятники и в уличные сторожа. Зажиточные люди и каждые 5 дворов, принадлежащих людям небогатым, должны были иметь кадки с водою, ведра, рогатины, топоры и водоливные трубы. Во всех улицах и переулках расписаны были объезжими решёточные приказчики, десятники и уличные сторожа. Они ходили день и ночь и смотрели, чтобы зажигательства, бою, грабежу, корчмы, табаку и инаго какого воровства не было; чтобы никто весною, летом и осенью в тёплые и ясные дни домов и мылен не топил и поздно вечером с огнём не сидел. Печь хлеб и готовить кушанье позволялось с 1-го часа дня до 4-го, в особых поварнях или в пе-

чах, устроенных на огородах или на дворах не близко домов, и прикрытых от ветра лубьём. Для больных и родильниц позволялось топить печи в домах с разрешения объезжих один раз в неделю, равно позволялось всем топить печи в воскресенье и четверток в холодную и ненастную, но не ветреную погоду. Тот, по чьей оплошности или небрежению происходил пожар, наказывался смертью. Священнослужители и причётники церковные состояли в ведомстве особых объезжих, назначавшихся с патриаршего двора. Вот полная картина тогдашнего устройства полиции в Москве.

[^^^]

Ефимками платили иностранцы таможенную пошлину. На них ставили рублёвое клеймо и пускали в обращение внутри государства.

[^^^]

Оправдаться присягою от обвинения в каком-нибудь преступлении называлось отцеловаться.

[^^^]

Кабаки в Москве были ещё при царе Алексие Михайловиче уничтожены. Вино продавалось на казённом Кружечном Дворе, который в 1681 году переименован был Московским Отдаточным Двором. Пойманные с купленным корчёмным вином платили в первый раз пеню (1/4 рубля), во второй раз вносили двойную пеню, а им отсчитывали батоги; в третий раз взыскивалась с них пеня вчетверо, и наказывали их кнутом.

[^^^]

Многие в то время давали на себя кабалы за 3 и даже за 2 рубля и, не заплатив в срок денег, делались холопами заимодавцев. Цена рубля равнялась тогда голландскому червонцу. В рубле содержалось 20 серебряных денег или 100 серебряных копеек.

[^^^]

Плащ с длинными рукавами.

[^^^]

Царь Феодор Алексеевич 28 декабря 1681 года указал боярам, окольниковым и думным дворянам ездить летом в каретах а зимой в санях, на двух лошадях; боярам в праздники на 4 лошадах, а на сговоры и свадьбы на шести; спальникам, стольникам, стряпчим и дворянам зимой в санях на одной лошади, а летом верхом.

[^^^]

Таков был обыкновенный наряд боярских слуг.

[^^^]

Кормовыми иноземцами называли тех из иностранцев, которые, вступив в русскую службу и не получив поместий, содержались жалованьем, производившимся им от казны. Должно полагать, что Озеров был иностранец и поступил в русскую службу, в новгородские дворяне. Что значило в то время сие звание — объяснено выше в примечании на стр. 21. Настоящая фамилия его, без сомнения, была другая. Озеровым он, вероятно, был назван уже в России; тогда все иностранные фамилии переделывали на русский лад. Циклера называют наши летописи: Цыкляр. Даже имена посланников были изменяемы. Например: в записках государственного московского архива Горацій Кальвуччи назван Горацыуш Калюцыуш.

[^^^]

Спасские.

[^^^]

С то время во всей Москве были только две аптеки: одна называлась Старою, другая Новою. Первая находилась в Кремле и назначена была исключительно для двора; вторая помещалась в гостином дворе, выстроенном по приказанию царя Алексея Михайловича.

[^^^]

Так в старину называли иностранные вероисповедования, Выражение сие встречается даже в Уложении.

[^^^]

Правежом назывался утверждённый старинными законами нашими татарский обычай взыскания долгов. Должник, присуждённый к платежу долга и не имеющий чем оный заплатить, был выводим разутый перед приказ в то время, как судьи собирались. Пристав во всё время заседания приказа бил должника прутом по ноге, не причиняя ему боли, если получал от него какой-нибудь подарок. В противном случае должник подвергался ужасному истязанию, в особенности когда пристав получал подарок от истца. За долг в 100 рублей должно было стоять на правеже месяц. От сего не освобождались и дворяне. Пётр Великий отменил сей варварский обычай.

[^^^]

Стрельцы, по данным им преимуществам, а нередко и против закона, занимались торговлею и разными промыслами, имели лавки, бани и т.п.

[^^^]

Бутырский полк принадлежал к числу так называвшихся Солдатских полков. Они состояли из русских солдат и были образованы по-европейски иностранцами. Полковники, подполковники и майоры этих полков были иностранцы, а все прочие офицеры русские. При царе Алексее Михайловиче было семь таких полков. В царствование преемника его, царя Феодора Алексеевича, число их постепенно уменьшилось.

[^^^]

Старинная народная песня.

[^^^]

Даниил фон Гаден, из польских евреев. В 1657 году он приехал в Москву, поступил в 1659 году в царскую службу цирюльником и перекрестился в греческую веру. В 1672 году царь Алексей Михайлович произвёл его в докторы медицины. Он пользовался доверенностию двора и был любим боярином Матвеевым, который в письмах и челобитных своих называет его доктором Стефаном. Сие имя дано было ему при крещении в греческую веру.

[^^^]

В сём состояли главные преступления, за которые Матвеев был лишён боярства и всего имения и отправлен в ссылку. В челобитной его, посланной в 1677 году к царю Феодору Алексеевичу из Пустозерска, он оправдывается, говоря, между прочим: 1) что карло его, Захар, не мог слышать его разговора с Гаденом, так как, по его собственному показанию, он в то время спал за печкой и храпел; 2) что он во время сна не мог слышать: храпел ли он или нет; да и спать не мог за печкой, потому что она поставлена у него, боярина, в комнате, где он разговаривал с доктором, у самой стены; 3) что карло не мог видеть нечистых духов, потому что духи, добрые и злые, невидимы; 4) что доносчики, лекарь Давид Берлов и холоп его, Матвеева, карло Захар, сбились в показаниях, потому что сначала говорили, что в комнате был во время явления духов боярин, Гаден и карло, а потом показывали, что был ещё в комнате Николай Спафарий (переводчик Посольского Приказа, родом из Молдавии, отправленный в 1657 году посланни-

ком в Китай); 5) что два ребра переломил карлу не он, Матвеев, а посадский Иван Соловцев во время игры с карлом и несколькими ребятами; 6) что нечистые духи кричали, по показаниям лекаря и карла: есть у вас в избе третий человек, и 7) что поэтому неизвестно, кто из них очёлся, или в Счёте помешался, и палаты с избою не узнали, духи ль проклятые и низверженные, или воры Давыдко и карло четырёх человек считают за три, а палату называют избою.

[^^^]

Комнатными стольниками назывались те из стольников, которые служили при столе царском не только в торжественные, но и в обыкновенные дни. Вообще название комнатный прибавлялось к разным тогдашним чинам для отличия и для значения особенной милости и доверенности государя.

[^^^]

Табак запрещено было курить даже и иностранцам. Полковник фон Деллен, по обвинению патриарха Никона, был наказан кнутом за употребление табака.

[^^^]

Английское восклицание, соответствующее французскому «*merbleu!*».

[^^^]

Впоследствии пруд сей был назван Чистым.

[^^^]

Гудменш, приехавший в Россию при царе Алексее Михайловиче из Голландии. О нём пишет Scheltema. Рихтер неправильно называет его: Гутменш.

[^^^]

Указом 17 декабря 1682 года они были опять переименованы стрельцами. Надворною пехотою назывались они менее пяти месяцев.

[^^^]

Каждому стрельцу дано было 10 рублей. Выше замечено, что цена рубля равнялась в то время голландскому червонцу.

[^^^]

В Москве были в то время два главных сада: Государев сад подле Кремлёвской стены, близ Боровицких ворот, и Царёв сад, на Васильевском лугу, в Белом городе, подле окружавшей этот город стены, неподалёку от Яузских ворот.

[^^^]

Царь Феодор Алексеевич в 1681 году указал в Китай-городе и Белом строить непременно дома каменные и вместо деревянных заборов по большим улицам ставить также каменные.

[^^^]

Так называли в то время арестантов.

[^^^]

Читатели прочтут далее выписки, без переменны слога, из собрания старообрядческих рукописей, которое принадлежало предку автора.

[^^^]

В сей грамоте было сказано: «Божиею милостию Мы Великие Государи Цари и проч. (Имя Софии не упомянуто). В нынешнем 190 году Мая в 15 день изволением Всемилоственного Бога и Его Богоматери Пресвятыя Богородицы в Московском Российском Государстве учинилося побиение за дом Пресвятыя Богородицы, и за Нас, Великих Государей, и за всё Наше Царское Величество, от великих к ним налог и обид и от неправды в царствующем граде Москве Бояром...» (Следует перечисление убитых мятежниками). Далее в грамоте запрещено называть стрельцов бунтовщиками и изменниками и их наказывать без царских именных указов. Потом сказано, что они никакого злого умышления не имели и никого не грабили; сверх того, освобождались они от разных служб и повинностей, предоставлялись им разные денежные пособия и льготы, равным образом право судиться с кем бы то ни было в стрелецком приказе и приводить в этот приказ всякого, кто в каком-нибудь воровстве объявится. Велено было во всех при-

казах дела их вершить безволокитно, и наконец поставить на Красной площади столб, и кто за что побит подписать. Столб этот поставлен был у лобного места с четырьмя по сторонам жестяными (в другой летописи сказано: медными, в третьей: железными) досками. На них написана была означенная грамота и имена убитых, стрельцами. Так как доски сии впоследствии, по разрушении столба, были брошены в огонь, то и представляется важный и трудный вопрос антиквариям: из какого металла они были сделаны.

[^^^]

Бергман, Галем, Голиков и другие пишут ошибочно, что венчание царей было 23 июня. Оно совершено 25 июня 16812 года.

[^^^]

Патриарх Никон в Воскресенском монастыре, им построенном в 1654 году, за 40 вёрст от Москвы, на реке Истре, и названном царём Алексеем Михайловичем за красоту здания и местоположения Иерусалимом, соорудил соборную церковь по подобию Иерусалимской.

[^^^]

Сын боярина Артемона Матвеева, граф Андрей Матвеев, в своей летописи между прочим пишет о Хованском, что отец человек трусливый, а сын легкомысленный и высокомерный. Раулах в прекрасной трагедии «Die Fursten Chawansky» описал князя Андрея героем; но трагедия его основана большею частью на вымысле. Из наших летописей видно, что главное действующее лицо во время мятежа раскольников был старый Хованский. Сын боярина Матвеева оправдывает обоих князей, говоря, что обвинение их в умысле против царского дома, патриарха и бояр было следствием львиной злобы и коварства боярина Милославского. Он ссылается в том на догадку старожилых людей, тогдашних политиков московских. Но догадка эта весьма сомнительна, хотя ей и поверил Бергман. Означенные выше политики полагали, что Милославский решился погубить Хованских посредством клеветы по двум причинам: первая, по их мнению, состояла в боязни его, чтобы чрез Хованских, приобретших особенную

любовь стрельцов, не открылось участие его, Милославского, в бунте 15 мая; вторая — в опасении, чтобы Хованские, пользуясь влиянием своим на стрельцов, не приобрели слишком большой силы. Чтобы оценить достоверность этих причин в повествования Матвеева, должно не упустить из виду: 1) что Милославский погубил боярина Матвеева, отца летописца; 2) что посему нельзя вполне полагаться на беспристрастие последнего, когда он все возможные злодеяния приписывает Милославскому, которого называет скорпионом; 3) что Милославский был друг старого Хованского, и по его стараниям последний сделан был начальником Стрелецкого приказа; 4) что Милославскому нечего было опасаться, чтобы Хованский не открыл участия его в бунте 15 мая; потому что Софья очень хорошо знала об этом участии, которое послужило к возведению её в правительницы государства. По всем этим причинам мы решились следовать в описании мятежа раскольников не столько повествованию Матвеева, сколько летописи монаха Медведева и другим источникам, с этою летописью соглас-

НЫМ.

[^^^]

В общем гербовнике Российской империи сказано, что род князей Хованских происходит от Гедимины, великого князя литовского, а род сего последнего от великого князя Владимира.

[^^^]

Описанные в сей главе происшествия изображены Голиковым и другими неполно и неверно. Он ввёл в ошибку не только своих читателей, но и гравёра, который вырезал на меди большой эстамп, изображающий прение духовенства с раскольниками в Грановитой палате и геройский поступок юного Петра (который вовсе не был в то время в этой палате). Голиковым принята была в основании «Летопись российская и последование царств от Рюрика до кончины Петра Великого». Бергман (часть 1, стр. 120) сомневается в справедливости описания Голикова, говоря, между прочим, о речи, сказанной будто бы при сом случае с (Петром: «Так как мы не знаем, сколько принадлежит из сей речи юному царю и сколько его историку (на немецком сказано: *Bewunderer*) «восхищающий. А. Р., Д. С), то лучше согласиться, что царь ничего при сём случае не сказал». Неверность описания Голикова доказывается многими неопровержимыми историческими источниками, которыми мы воспользовались. Вот они: 1) Увет

Духовный, сочинение патриарха Иоакима, который был одним из главных действующих лиц во время описанных Голиковым событий; 2) летопись монаха Сильвестра Медведева, также современника и очевидца происшествий; 3) Третье послание митрополита Игнатия; 4) Розыск св. Димитрия Ростовского; 5) Полное историческое известие о старообрядцах протоиерея Андрея Иоаннова и 6) старообрядческие рукописи, о коих сказано в конце четвертой части, в показаниях источников, на коих роман основан.

[^^^]

Для любителей старины выписываем содержание сей челобитной. Раскольники писали следующее: 1) В новой книге «Скрижаль» иподиакон Дамаскин повелевает православным христианам ходить без крестов, по-татарски, и пишет: какая польза или добродетель носить крест на раме своём? 2) Он же именует безгрешного Сына Божия Грешным. 3) В книге Иоанна Дамаскина, называемой «Небеса», сказано: «Всяк убо не исповедуя Сына Божияго и Бога воплоти пришествовати, Антихрист есть». Слова эти означают, что Сын Божий не приходил ещё, а придёт. 4) Новые книги во многих местах не проповедуют воскресенья Сына Божия, как-то: в служебниках на литургии, в триодях в Великую субботу, в тропаре «Благообразный Иосиф», в тропаре Жёнам Мироносицам и в кондаке «Иже бездну затворивый», 5) В новом Требнике помещено моление лукавому духу. 6) Над умершими вместо помазания святого масла велено сыпать пеплом. Это срамно не только творити, но и глаголати. 7) Нововводители животворящий

крест, из певга, кедра и кипариса делаемый, оставили и возлюбили крыж латинский. 8) В новых книгах велено креститься не двумя, а тремя перстами, против предания святых отцов, 9) В нынешние последние времена проповедники новой веры стали очень горды и немилосердны: за одно неугодное им о вере слово мучат и хотят предать смерти. 10) В новых книгах велено говорить аллилуйя трижды. Но это латинская ересь, ибо должно говорить дважды, по преданию цареградского патриарха Иосифа, И) Нововводители неизвестно для чего в молитве Иисусовой «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас!» сделали перемену и велют говорить: «Господи Иисусе Христе Боже наш» и проч. 12) В новых книгах в Симдоле Веры вместо несть конца сказано: не будет конца. Так поступили униаты, присоединясь к Риму. 13) В тех же книгах напечатано: «И в Духа Святаго Господа животворяшаго». В старых же книгах после, слова Господа сказано ещё истиннаго. 14) В новых книгах Символ Веры изменён ещё тем, что в слове Иса (Иисуса) прибавлена буква «и». Нововводители отделяют этим Сына Божия во

ин состав от Божества. 15) В новых книгах на Троицкой вечерне отменена эктения большая и молитва Святому Духу. Притом ныне молятся стоя, по-римски, на коленях и глав не преклоняют. 16) В новых книгах на отпуске Троицкой вечерни напечатано: «иже от отчих и божественных недр истощивый себе», а в старых сказано: «излив себе». 17) В новых служебниках архиерейские молитвы пред литургиею отменены, а в Соловецкой обители находятся служебники, писанные за 500, за 600 лет и более, в них есть архиерейские молитвы. Эти древние служебники с Никоновыми разнятся. 18) В старых служебниках велено служить над семью просвирами, а не над пятью, да и на просвирах нововводители ставят вместо прежнего истинного осьмиконечного креста четвероконечный крыж латинский. 19) В новых книгах напечатано в тропаре «Во гробе плотски и на престоле был еси», а в старых сказано беяше, а не был еси. 20) Никон завёл вместо жезла святителя Петра Чудотворца святительские жезлы со змеями, заняв сие от жидов. 21) Новые учителя иноческий чин совершенно исказили: ходят в церковь и по

площадям без мантий, как иноземцы; клобуки переменяли и носят подклейки, как женщины, поверх лба, не по преданию святых отцов. 22) В новом Требнике не велено возлагать мантий на постригаемых в иноки. 23) Новые учителя в Московском государстве греческими книгами православную веру истребили до того, что и следа нет православия, и учат нас новой вере как мордву и черемису, будто бы совсем не знающих Бога и истинной православной веры 24) По установлению Никона архиереи благословляют, осеняя народ обеими руками, по-римски.

В сочинении патриарха Иоакима «Увет Духовный» содержится полное опровержение сей челобитной.

[^^^]

28 июля 1682 года.

[^^^]

В древности считали в России новый год с весны, от первого новолуния по равноденствию. После принятия христианской веры начали счислять время с сотворения мира и праздновать церковный год 1-го марта, а гражданский 1-го сентября. При митрополите Феофане собор, бывший в Москве, решил как церковный, так и гражданский год начинать 1-го сентября. В 1700 году Пётр Великий указал праздновать новый год 1-го января и счислять время от Рождества Христова.

[^^^]

Прозвище, которое было присвоено простым народом Милославскому.

[^^^]

Копейщики составляли небольшое пехотное войско, размещённое по городам для охранения внутренней безопасности. Они вооружены были только копьями и оттого получили своё название. Рейтарами назывались конные полки, утверждённые царём Алексеем Михайловичем вместе с солдатскими.

[^^^]

Летописи наши называют иногда солдатские полк стройными. Слово это хорошо выражает иностранное название регулярный.

[^^^]

Полки назывались также приказами.

[^^^]

Так сказано во II томе Полного собрания законов Российской Империи на стр. 467. В 6-й части Записок Туманского на стр. 95 в напечатанной летописи село сие названо Городец.

[^^^]

Арсенал.

[^^^]

Холопы разделялись на полных, или старинных, и кабальных. Первые по смерти господина доставались его наследникам, а вторые получали свободу с обязанностью закабалить себя в холопство кому-нибудь другому, по их избранию, или же наследникам умершего.

[^^^]

Ничему не следует удивляться... и так далее.

[^^^]

В сём монастыре, находившемся в то время за городом, на Москве-реке, положено было при царе Алексее Михайловиче в 1665 году основание Славяно-Греко-Латинской академии, стараниями окольного Фёдора Михайловича Ртищева. Царь Фёдор Алексеевич в 1679 году перевёл эту академию в Китай-город, в Заиконо-спасский монастырь, называвшийся Старый Спас, и дал академии в 1682 году привилегию, которою, между прочим, был пожалован Андреевский монастырь того училища блюстителю и учителем на довольное и лепотствующее пропитание и нужных исполнение. Ещё прежде того при царе Михаиле Фёдоровиче заведена была Греко-Латино-Славянская школа на Патриаршем дворе. Олеарий осматривал её в 1639 году. Он пишет, что патриарх Филарет с согласия царя хотел устроить подобные училища во многих местах.

Из этого видно, сколь несправедливо мнение, что стремление к просвещению в России началось со времён Петра Великого и что до

сего государя русские не радели об оном. Первый государь из дома Романовых покровительствовал уже просвещению.

[^^^]

Боярин Милославский умер в 1686 году. С 22 мая 1680 года управлял он Приказом Большия Казны, Московскою Таможнею, Померною и Мытною избою, городовыми таможнями и всякими денежными доходами. Пред кончиною стал он удаляться от дел и жил большею частию в своих вотчинах.

[^^^]

Слова Кемпфера, который во время аудиенции видел Петра Великого, когда сему государю было 16 лет от роду.

[^^^]

При Петре Великом все достаточные жители Петербурга обязаны были в воскресные дни плавать на этих судах по Неве под командой Невского адмирала.

[^^^]

61

Стих Панкратия Сумарокова.

[^^^]

При слове «пытка» нельзя не вспомнить с чувством народной гордости, что наше отечество опередило на пути человеколюбия просвещённейшие государства Европы, и что Екатериною Великой уничтожена была пытка ещё тогда, когда в Европе считали её необходимой принадлежностью судопроизводства.

[^^^]

Так называли они всех не отделившихся от православной Церкви после исправления церковных книг патриархом Никоном.

[^^^]

В 1751 гаду 1 октября были сочинены раскольниками феодосьевского толка сорок шесть правил Феодосьевского собора. За нарушение их положены в наказание большею, частью поклоны, которых в сложности определено 13 600. Раскол этот основан в 1706 году дьячком Крестецкого яма Феодосием Васильевым, который, по переkreщении в раскол, назвался Дионисием.

[^^^]

По правилам феодосиан наказывались сотнею поклонов те, которые не стригли волос по всей голове кругло, и даже отлучались от их сообщества.

[^^^]

Феодосиане утверждали, что у них один Бог, а у не принадлежащих к их расколу — другой.

[^^^]

Слободы эти начали строиться после ужасных пожаров 1736 к 1737 годов, когда дома адмиралтейских и морских служителей, занимавшие нынешние морские улицы, превращены были в пепел. Новое место для постройки им домов отведённое, называли Колонией. Это слово превратилось в простонародном употреблении в Коломну.

[^^^]

Супруга Царя Иоанна Алексеевича, царица Прасковья Феодоровна (мать Императрицы Анны Иоанновны) происходила из рода Салтыковых. Сестра Царицы, Наталья Феодоровна была в замужестве за князем Ромодановским. От них родилась дочь, княжна Екатерина Ивановна, вступившая в брак с графом Головкиным.

[^^^]

Указом 17 января 1742 года Елизавета повеле-
ла возвратить Бирона с семейством и братьев
его из ссылки, и считать уволенными из рус-
ской службы. Потом повелело было Бирону
жить в Ярославле, где он и пробыл до вступ-
ления на престол Петра III. Карл Бирон, по
возвращении из ссылки, уехал в Курляндию и
умер в своём поместье.

[^^^]